

М. ВЕЛЛЕР

РАЗБИВАТЕЛЬ СЕРДЕЦ



М. ВЕЛМЕР

**РАЗБИВАТЕЛЬ
СЕРДЕЦ**

Книга рассказов



Санкт-Петербург

2002

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
В27

Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.09.02.
Формат 84×108^{1/32}. Печать высокая с ФПФ.
Бумага типографская. Усл. печ. л. 20,16.
Тираж 10 000 экз. Заказ 4107.

Жесткие и отточенные рассказы этой книги принадлежат к лучшим образцам русской новеллистики XX века. В две страницы порой вмещается целый роман о причудливой и драматичной человеческой судьбе. Изобретательная и ироничная авторская фантазия рисует мир изменчивым и красочным, как калейдоскоп, в котором мелькают шаманы и кентавры, легионеры и скотогоны, и все они — «испытатели счастья».

ISBN 5-94966-008-0

© М. Веллер, 2002
© Художественное оформление.
В. Медведев, 2002

МИМОХОДОМ

ПАУК

Беззаботность.

Он был обречен: мальчик заметил его.

С перил веранды он пошуршал через расчерченный солнцем стол. Крупный: серая шершавая вишня на членистых ножках.

Мальчик взял спички.

Он всходил на стенку: сверху напали! Он сжался и упал: умер.

Удар мощного жала — он вскочил и понесся.

Мальчик чиркнул еще спичку, отрезая бегство.

Он метался, спасаясь.

Мальчик не выпускал его из угла перил и стены. Брезгливо поджимался.

Противный.

Враг убивал отовсюду. Иногда кидались двое, он еле ускользал.

Укус смял. Он дернулся, припадая. Стена была рядом; он срывался.

Не успел увернуться. Тело слушалось плохо. Оно было уже не все.

Яркий шар вздулся и прыгнул снова.

Ухода нет.

В угрожающей позе он изготовился драться.

Мальчик увидел: две передние ножки сложились пополам, открыв из суставов когти поменьше воробьиных.

И когда враг надвинулся вновь, он прынул вперед и ударил.

Враг исчез.

Мальчик отдернул руку. Спичка погасла.

Ты смотри...

Он бросался еще, и враг не мог приблизиться.

Два сразу: один спереди пятился от ударов — второй сверху целил в голову. Он забил когтями, завертелся. Им было не справиться с ним.

Коробок опустел.

Жало жгло. Била белая боль. Коготь исчез.

Он выставил уцелевший коготь к бою.

Стена огня.

Мир горел и сжимался.

Жало врезалось в мозг и выело его. Жизнь кончилась. Обугленные шпеньки лап еще двигались: он дрался.

...Холодная струна вибрировала в позвоночнике мальчика. Рот в кислой слюне. Двумя щепочками он взял пепельный катышок и выбросил на клумбу.

Пространство там прониклось его значением, словно серовато-прозрачная сфера. Долго не сводил глаз с незаметного шарика между травинок, взрослея.

Его трясло.

Он чувствовал себя ничтожеством.

ЛЕГИОНЕР

Его родители эмигрировали во Францию перед первой мировой войной. В сороковом году, когда немцы вошли в Париж, ему было четырнадцать. Он был рослый и крепкий подросток.

Родители были взяты заложниками при облаве в квартале. Он прочитал на стене объявление о расстреле.

Он бежал в маки. Цель, смысл жизни — мстить. Было абсолютное бесстрашие отпетого мальчишки: отчаяние и ненависть.

Всей мальчишеской страстью он предался оружию и войне. Он лез на рожон. В пятнадцать лет он был равным в отряде. Он вел зарубки на ложе английского автомата. В сорок четвертом, когда партизаны вступили в Париж прежде авангардов генерала Леклерка, ему было восемнадцать лет и он командовал батальоном франтиреров.

Он праздновал победу в рукоплесканиях и цветах. Но война кончилась, и ценности сменились. Герой остался нищим мальчишкой без профессии. Он пил в долг, поминал заслуги и поносил приспособленцев. Был скандал, драка, а стрелять он умел. Замаячила гильотина.

...Он записался в Иностранный легион. Вербовочный пункт отсекал слезку, прошлое исчезало, кончался закон: называл любое имя.

Он умел воевать, а больше ничего не умел: любить и ненавидеть. Любить было некого, а ненавидел он всех. Капралом был румын. Взводным немец. Власовцы, итальянцы, усташи, четники, уголовники и нищие крестьяне.

На себе стоял крест: десятилетний контракт не сулил выжить. Он дрался в Северной и Экваториальной Африке, в Индокитае. Легион был надежнейшей частью: не сдавались — прикончат, не бежали — некуда, не отступали — пристрелят свои. Держались, сколько были живы и имели патроны.

Он узнал, что такое легионерская тоска — «кяфар». Пронзительная пустота, безысходность в чужом мире (джунгли, пустыня), бессмысленность усилий, — безразличие к жизни настолько полное, что именно оно и становилось основным ощущением жизни.

Разум и совесть закуклились. Отребье суперменов, «солдаты удачи», наемное зверье — они были вне всех законов. Жгли. Вырезали. Добивали раненых. Выполняли приказ и отводили душу. Личный состав взвода менялся раз за разом. Он был отчаян и везуч — выжил.

По окончании контракта он получил счет в банке и чистые документы: шепетильная Франция одаряла легионеров всеми правами гражданства. Лысый, простреленный, в тридцать лет выглядящий на сорок, он жил на скромные проценты. Гулял по бульварам. Молодость прошла; проходила жизнь.

Кончались пятидесятые годы. Запахло алжирской войной. Только не воевать: его трясли кошмары. Русские эмигранты говорили о родине и тянулись в Союз. Он вспомнил свое происхождение. Родители рассказывали ему об Одессе. Он пошел в советское посольство.

...В тридцать три он начал новую жизнь. Аппетит к жизни всколыхнулся в нем: здесь все было иначе.

Он поступил в электротехнический институт. Влюбился и женился. Родился ребенок; защитили дипломы; получили комнату. Он уже говорил по-русски без акцента, зато акцент появился во французском.

Нормальный инженер вставал на ноги. Терзаясь и веря, он рассказал жене о себе. Она плакала в ужасе и восхищении. Не верила, пока не свыклась.

Всех забот у него казалось — что подарить жене и детям. Лысенький, очкастенький, небольшой, а — крепок, как дубовый бочонок.

Авантюристическая жилка ожила в нем и заиграла. Он занялся альпинизмом, горными лыжами, отпуск работал спасателем в горах. Потом увлекся дельтапланером. Парил под белым парусом в синем небе и хохотал.

ЭХО

Похороны прошли пристойно. Из крематория возвращались на поминки в двух автобусах, поначалу с осторожностью, а потом все свободнее говорили о своем, о детях, работе, об отпусках.

Квартира заполнилась деловито. Мужчины курили на лестнице; появились улыбки. Еда, закуски были приготовлены заранее и принесены из кулинарии, оживленное бутылками застолье по-житейски поднимало дух.

После первых рюмок уравнился приглушенный гомон. Как часто ведется, многочисленная родня собиралась вместе лишь по подобным поводам. Некоторые не виделись по нескольку лет. Мелкие междоусобицы отходили в этой атмосфере (покачивание голов, вздохи), царили приязнь и дружелюбие, действительно возникало некоторое ощущение родства; отношения возобновлялись.

Две дочери, обеим под пятьдесят, являлись как бы двумя основными центрами притяжения в этом не-сильном и приятном движении общения, в разговорах на родственные, наезженные темы. В последние годы отношения между ними держались натянутые (из-за семей), — тем вернее хотелось сейчас каждой выказать любовь к другой, получая то же в ответ...

Разошлись в начале вечера, закусив, выпив, усталые, но не слишком, чуть печальные, чуть довольные

тем, что все прошло по-человечески, что все были приятны всем, а впереди еще целый вечер — отдохнуть дома и обсудить прошедшее, — с уговорами «не забывать», куда вкладывалась подобающая доза братской укоризны и покаяния, с поцелуями и мужественными рукопожатиями, сопровождающимися короткими прочувственными взглядами в глаза; с удовлетворением.

Остались ближайшие: дочери с мужьями, сестра. Помыли посуду, выкинули мусор, расставили на места столы. Решили, сев спокойно, что вся мебель останется пока на местах, «пусть все будет как было», может быть квартиру удастся отхлопотать.

Назавтра дочери делили имущество: немногочисленный фарфор и хрусталь, книги, напитанные нафталином отрезки. Вздохали, пожимали плечами, печально улыбались, неловко предлагая друг другу; много вытаскивалось устаревшего, ненужного, того, что сейчас, уже не принадлежащее хозяину, следовало именовать хламом — а когда-то вкладывались деньги... «Вот так живешь-живешь...» «Кому это теперь все нужно...» И все же — присутствовало некоторое радостное возбуждение.

Увязали коробки. Разобрали фотографии. Пакеты со старыми письмами и т. п. сожгли не открывая на заднем дворе. Помыли руки. Попили чаю...

Договорились в ЖЭКе, подарив коробку конфет. В квартире стал жить старший внук, иногородний студент. Прописать его не удалось. Дом шел на капитальный ремонт, через два года жильцов расселили; студент уехал по распределению тогда же. Перед отъездом продал за гроши мебель — когда-то дорогую, сейчас вышедшую из моды, разохшуюся. Сдал макулатуру, раздарил ничего не стоящие мелочи. Среди прочего была старая, каких давно не выпускают, общая тетрадь в черном коленкоре, с пожелтевшими, очень плотной гладкой бумаги страницами, на первой из них значилось стариковскими прыгающими крючками:

«Костер из новогодних елок в углу вечернего двора. Жгут две дворничихи в ватниках и платках. Столб искр исчезает в черном бархатном небе. Погода снежная,

воздух вкусный. Гуляя, я с тротуара увидел за аркой огонь и, подумав, подошел. Стоял рядом минут двадцать; очень было хорошо, приятно: мороз, снег в хвое, запах смолы и пламени, отсветы на обшарпанной стене. Что-то отпустило, растаяло внутри: я ощутил какое-то единение с жизнью, природой, бытием, если угодно. Давно не было у меня этого действительно высокого; очищающего чувства всеприемлемости жизни: счастья.

«Сегодня, сидя за столом с газетой, заметил на стене паука. Паучок был небольшой, серый, он неторопливо шел куда-то. Вместо того, чтобы убить его, смахнуть со стены, я наблюдал — пока не поймал себя на чувстве симпатии к нему; и понял, насколько я одинок.

«Ходи по путям сердца своего...

«Решительно не помню сопутствующих подробностей, осталось лишь впечатление, ощущение: белая ночь, тихий залив, серый и гладкий, дюны в клочковатой траве, изломанный силуэт северной сосны и рядом — береза. И под ветром костерок, догорающий...

«Почему так часто вспоминается костер, огонь?..

«Еще костер — на лесозаготовках в двадцать шестом году. Нам не нам подвезли тогда хлеб, лежали у костерка на поляне, последние цыгарки на круг курили, усталые, небритые, смеркалось, дождик заморосил; и вдруг бесконечным вдохом вошло счастье — подлинности жизни, единения и братства присутствующих... век бы не кончалось... черт его знает как выразить...

«Дождь — дождь тоже... после конференции в Одессе, в шестьдесят третьем, в октябре, видимо. Я улетал наутро, домой и хотелось и не хотелось, Ани не было уже, а весь день и вечер бродил по городу, моросил дождь, все было серое и блекнувшее, буровато-зеленое, печально было, и впереди уже оставалось мало что, да ничего почти не оставалось, пил кофе, я курил еще тогда, и дома, улицы, море, деревья, дождь, серая пелена... а как хорошо, покойно как и ясно на душе было.

«Иногда мне думается, что каждый имеет именно то, чего ему больше всего хочется (обычно неосознан-

но). Может быть, если каждый это поймет, то будет счастлив? Или это спекуляция, утешительство?

«Я всегда был эгоистом. Гедонистом.

«Степь, жара, сопки, поезд швыряет между ними, солнце скачет слева направо, опять встали, кузнечики трещат, цветы пестрят, кружат коршуны, дурман и ма-рево, снова движение, лязг и ветер в открытые двери тамбура, я аж приплясывал и пел «Полным-полна ко-робушка», не слыша своего голоса!..

«Решительно надо пошить новый костюм.

«Я боюсь. Господи, я боюсь!!

«До 20 необходимо: 1. Отослать статью в энцикло-педию. 2. Отреферировать Т. К. 3. Уплатить за кварти-ру за лето.

«Охота. Утренняя зорька, сизый лес, прель и ды-мок, холодок ожидания и воздух, воздух...

«Облака. Сегодня сидел в сквере и долго смотрел. Низкие, темные, слоистые, их какое-то вселенское вечное движение в бескрайности, — сколько их было в жизни моей, в разные времена и в разных местах, все было под ними, облака...

«В самом конце утра или перед вечером случается редко странное и жутковатое освещение: зеленовато-желтое, разреженное, воздух исчезает из пространства, тени резкие и глухие, — словно нависла всемирная ка-тастрофа...

«Печали мои. Ерунда. Память. Истина».

Аспирант закрыл тетрадь, попавшую к нему со стоп-кой никому не понадобившихся записей и книг, — за-крыл с почтением, пренебрежением, превосходством. Аспиранту было двадцать четыре года. Он строил карьер-у. Смерть научного руководителя его раздосадовала. Она влекла за собой ряд сложностей. Аспирант разме-ривал время на профессию к сорока годам. Он был пер-спективный мужик, пробивной, знал, где что сказать и с кем как себя вести. Он счел признаком комфорта и пресыщенности позволять себе элегические вздохи, когда главная цель жизни благополучно достигнута. «И далеко не самым нравственно безупречным обра-зом», — добавил он про себя.

Шеф его имел в прошлом известность одного из ведущих специалистов страны по кишечнорастворимой хирургии крупного скота. Часто делился с грустью, что ныне эта отрасль практически не нужна: лошади свое значение в хозяйстве утратили, коров дешевле пустить на мясо, чем лечить; когда-то обстояло иначе... Последние годы почти не работал, отошел от дел кафедры, чувствовал себя скверно; после смерти жены жил один; был добр, но в глубине души высокомерен и нрава был крутого, «кремень».

Крупный, грузный, с мясистым римским лицом, орлиным носом, лысина в полукружии седины, носил черный с поясом плащ и широкополую шляпу, походил на Амундсена, или старого гангстера, или профессора, кем и был.

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

Полковник сидел у окна и наблюдал ландшафт в разрывах облаков. Капитан подремывал под гул моторов.

Полковник почитал, решил кроссворд, написал письмо и достал коробку конфет:

— Угошайтесь.

Они были одного возраста: капитан стар, а полковник молод. Сукно формы разнилось качеством: полковник выглядел одетым лучше.

— Где служишь, капитан?

В дыре. Служба не пошла. Застрял на роте. Что так? Всякое... Солдатик в самоходе начудил. ЧП на учениях... Заклинило.

Полковник наставлял с командных высот состоявшейся судьбы. Недавно он принял дивизию — «пришел на лампасы». В колодках значилось Красное Знамя.

— Афган. — Он кивнул.

Отвинтил бутылку. Приложились. Полковник живописал курсантские каверзы — счастливые годки:

— ...и проиграл ему шесть кирпичей — в мешке марш-бросок тащить. И — р-рухнул через километр. А старшина приказывает ему... ха-ха-ха! возьмите его вещмешок! Мы все попадали. И он сам пер... ох-ха! девять километров! Стал их вынимать, а старшина... ха-ха!

Капитан соблюдал веселье по субординации. Его училище было скучноватей; серьезнее. Наряды, экзамены:

— ...матчасть ему по четыре раза сдавали. И — без увольнений.

Полковник расправился с аэрофлотовским «обедом». Капитан ковырялся.

— ...приводит на танцы: знакомьтесь, говорит, — моя невеста. А он так посмотрел: э, говорит, невеста, — а хотите быть моей женой! А она — в глаза: а что? да! И — все! Потом майор Тутов, душа, ему месяц все объяснял отдельно — ничего не соображал.

— А у нас один развелся прямо в день выпуска — ехать с ним отказалась, — привел капитан.

Долго вспоминали всякое... Оба летели на юбилейную встречу.

— Сколько лет? И у меня пятнадцать. Ты какое кончал?

— Первое имени Щорса.

— Ка-ак?! — не поверил полковник. — Да ведь я — Первое Щорса.

Оба сильно удивились.

— А рота?

— Седьмая.

— Ну и дела! И я седьмая! А взвод?

— Семьсот тридцать четвертый.

— Т-ты что! точно? Я — семьсот тридцать четвертый! Стой... — полковник просиял: — как же я тебя сразу не узнал! Шаскольский!

— Никак нет, товарищ полковник, я...

— Да кончай, однокашник: без званий и на ты... Луговкин!

— Да нет, я...

— Стой, не говори! Худолей?.. нет... Бочкарев!!

— Власов я, — извиняющийся представился капитан.

— Власов! Власов... Надо же, сколько лет... даже не припомню, понимаешь... А-а! это у тебя в лагерях танкисты шинель пристроили?

— У меня? шинель?..

— Ну а меня, меня-то помнишь теперь? Узнал?

— Теперь узнал. М-мм... Германчук.

— Смотри лучше! Сеницын! Сеницын я, Андрей! Ну? На винтполигоне всегда макеты поправлял — по столярке возиться нравилось.

— Извините... Гм. Вообще этим полигонная команда занимается.

— Ну — за встречу! Ах, хорошо. А как Худолей на штурмполозе выступал? в ров — в воду плюх, мокрый по песку ползком, под шитом застрял — и смотрит вверх жалобно: умора! А на фасад его двое втащили, он постоял-постоял на бревне — и ме-едленно стал падать... ха-ха-ха! на руки поймали: цирк! А стал отличный офицер.

— Отличник был такой — Худолей, — усомнился капитан. — Не... А помните, Нестеров, из студентов, в личное время повести писал?

— Нестеров? Повести? Это который гимнаст, что ли? Он еще шит гранатой проломил, помнишь?

— Ши-ит? Может, у меня тогда освобождение от полевой было... А помните, как Вара перед соревнованиями команду гонял?

— Кто?! Вара?! Да он через коня ласточкой — носом в дорожку летал. А майора Турбинского с ПХР помнишь?

— Турбинского?.. Не было такого майора. Вот майор Ростовцев — он нам шаг на плацу в три такта ставил, это точно.

— Какой Ростовцев, строевую Гвоздев вел! А майор Соломатин — стрелковую. А Бондарьков — разведку.

— Только не Соломатин, а Соломин. И он подполковник был. А вел тактику. Седоватый такой.

Оба уставились друг на друга подозрительно.

— Слушай, — задумчиво сказал полковник, — а ты где спал?

— У прохода, третья от стены. Под Иоаннисяном.

— Под Иоаннисяном Андреев спал, не свисти. Пианист.

— Какой пианист?! он и в строю-то петь не мог. А все время тратил на конспекты — лучшие в роте, по ним еще все готовились.

— Андреев, что я, не помню. А я спал у среднего окна.

— У среднего окна Германчук спал.

— Ну правильно. А я рядом.

— Рядом Богданов. Они двое сержанты были.

— Я! Я ефрейтор был.

— Ефрейтором Водопьянов был.

— А я кем был?! — завопил полковник. — А я где спал?! Развелось вас! историки! Тебе только мемуары писать!..

Капитан виновато выпрямился в кресле.

— Ты скажи точно — ты в каком году кончал?..

Самолет пошел на посадку.

— А Гришу, замкомвзвода, пилотку всегда ушивал, чтобы углами стояла, помнишь?

— Никак нет, не помню. А старшего лейтенанта Бойцова помните?

— Какого Бойцова?!

Полковник был раздражен. Капитан растерян.

— Что же это за белиберда получается, — недоумевал полковник. — Ничего не понимаю...

В аэропорту он взял капитана в такси. Приехали к подъезду с вывеской бронзой по алому.

— Вот оно! — сказал полковник.

— Оно, — подтвердил капитан.

ИДИЛЛИЯ

Ветер нес по пляжу песок. Они долго искали укрытое место, и чтоб солнце падало правильно. Лучшие места были все заняты.

У поросшей травой дюны женщина постелила махровую простыню.

— Хорошо быть аристократом, — сказал мужчина, и женщина улыбнулась.

— Я пойду поброжу немножко, — сказала она...

— Холодно на ветру.

— Ты подожди меня. Я недолго.

— Хм, — он согласился.

Он смотрел, как она идет к берегу в своем оранжевом купальнике, потом лег на простыню и закрыл глаза.

Она пришла минут через сорок и тихо опустилась рядом.

— Ты меня искал?

Он играл с муравьем, загораживая ему путь травинкой.

— Конечно. Но не нашел и вот только вернулся. Муравей ушел.

— Не отирая влажных глаз, с маленьким играю крабом, — сказала женщина.

— Что?

— Это Такубоку.

Мальчишки, пыля, играли в футбол.

— Хочешь есть? — она достала из замшевой сумки-торбы хлеб, колбасу, помидоры и три бутылки пива.

Он закурил после еды. Деревья шумели.

— Я, кажется, сгорела. Пошли купаться.

Он поднялся.

— Если не хочешь — не надо, — сказала она.

— Пошли.

Зайдя на шаг в воду, она побежала вдоль берега.

Она бежала, смеясь и оглядываясь.

— Догоняй! — крикнула она.

Он затрусил следом.

Вода была холодная. Женщина плавала плохо.

Они вернулись быстро. Он лег и смотрел, как она вытирает свое тело.

Она легла рядом и поцеловала его.

— Это тебе за хорошее поведение, — дала из своей сумочки апельсин.

ДУМЫ

Подумать хотелось.

Мысль эта — подумать — всплыла осенью, после дня рождения.

Женился Иванов после армии. За восемнадцать лет вырос до пятого разряда. А в этом году в армию пошел его сын. А дочка перешла в седьмой класс.

Какая жизнь? — обычная жизнь. Семья-работа. То-сё, круговерть. Вечером поклюешь носом в телик — и голову до подушки донести: будильник на шесть.

Дача тоже. Думали — отдых, природа, а вышла барщина. Будка о шести сотках — и вычеркивай выходные.

Весь год отпуска ждешь. А он — спица в той же колеснице: жена-дети, сборы-споры, билеты, очереди, покупки... — уж на работу бы: там спокойней; привычней.

Ну, бухнешь. А все разговоры — об этом же. Или про баб врут.

Хоп — и сороковник.

Как же все так... быстро, да не в том даже дело... бездумно?..

И всплыла эта вечная неудовлетворенность, оформилась: подумать спокойно об всем — вот чего ему не хватало все эти годы. Спокойно подумать.

Давно хотелось. Некогда просто остановиться было на этой мысли. А теперь остановился. Зациклился даже.

— Свет, ты о жизни хоть думала за все эти годы? — спросил он. Жена обиделась.

Мысль прорастала конкретными очертаниями.

Лето. Обрыв над рекой. Раскидистое дерево. Сквозь крону — облака в небе. Покой. Лежать и тихо думать обо всем...

Отрешиться. Он нашел слово — отрешиться.

Зимой мысль оформилась в план.

— Охренел — в июле тебе отпуск?! — Мастер крыл гул формовки. — Прошлый год летом гулял! — Иванов швырнул рукавицы, высморкал цемент и пошагал к начальнику смены. После цехкома дошел до замдиректора. Писал заявления об уходе. Качал права, клянчил и носил справки из поликлиники.

— Исхудал-то... — Жена заботливо подкладывала в тарелку.

Потом (вырвал отпуск) жена плакала. Не верила. Вызнавала у друзей, не завел ли он связь: с кем едет? Они ссорились. Он страдал.

Страдал и мечтал.

Дочка решила, что они разводятся, и тоже выступила. Показала характер. Завал.

Жена стукнула условие: путевку дочке в пионерский лагерь. Он стыдливо сновал с цветами и комплиментами к ведьмам в профком. Повезло: выложил одной кафелем ванную, бесплатно. Принес — пропуск в рай.

В мае жена потребовала ремонт. Иванов клеил обои и мурлыкал: «Ван вэй тикет!» — «Билет в один конец». Еще и новую мойку приволок.

Счастье круглилось, как яблоко — еще нетронутое, нерастраченное в богатстве всех возможностей.

Просыпаясь, он отрывал листок календаря. Потом стал отрывать с вечера.

Вместо телевизора изучал теперь атлас. Жена прониклась: советовала. Дочка читала из учебника географии.

Лето шло в зенит.

Когда осталась неделя, он посчитал: сто шестьдесят восемь часов.

Врубая вибратор, Иванов пел (благо грохот глушит). По утрам он приплясывал в ванной.

Чемодан собирал три дня. Захватил старое одеяло — лежать.

Прощание получилось праздничное. На вокзале оркестр провожал студенческие отряды. Жена и дочка улыбались с перрона.

Один, свободен, совсем, целый месяц — впервые за сорок лет.

В вагон-ресторане он баловался вином и улыбался мельканию столбов. Поезд летел, но одновременно и полз.

У пыльного базарчика он расспросил колхозничков и затрясся в автобусе.

Кривая деревенька укрылась духовитой от жары зеленью. Иванов подмигнул уткам в луже, переступил коровью лепешку и стукнул в калитку.

За комнату говорливый дедусь испросил двадцатку. Иванов принес продуктов и две бутылки. Выпили.

Оттягивал. Дурманился предвкушением.

Излучина реки желтела песчаной кручей. Иванов приценивался к лесу. Толкнуло: раскидистая сосна у края.

Завтра.

...Петухи прогорланили восход. Иванов сунул в сумку одеяло и еды. Выбрился. У колодца набрал воды в термос.

Кусты стряхивали росу. Позавтракал на берегу, подалее от мычания, переключки и тракторного треска. Воздух густел; припекало.

Приблизился к своей сосне. Он волновался. Расстелил одеяло меж корней. Лег в тени, так, чтоб видеть небо и берег. Закурил и закинул руку под голову.

И стал думать.

Облака. Речной плеск. Хвоинка покалывала.

Снова закурил. И растерянно прислушался к себе.

Не думалось.

Иванов напрягся. Как же... ведь столько всего было.

Вертелся поудобней на бугристой земле. Сел. Лег.

Ни одной мысли не было в голове.

Попробовал жизнь свою вспомнить. Ну и что. Нормально все.

Нормально.

— Вот ведь черт, а. — Иванов аж пот вытер оторопело. Ведь так замечательно все. И — нехорошо...

Никак не думалось. Ни о чем.

И хоть бы тоска какая пришла, печаль там о чем — так ведь и не чувствовалось ничего почему-то. Но ведь не чурбан же он, он и нервничал часто, и грустил, и задумывался. А тут — ну ничего.

Как же это так, а?

Еще помучался. Плюнул и двинул в магазин. Врезать.

Не думалось. Хоть ты тресни.

МИМОХОДОМ

— Здравствуй, — не сразу сказал он.

— Мы не виделись тысячу лет, — она улыбнулась. —

Здравствуй.

— Как дела?

— Ничего. А ты?

— Нормально. Да...

Люди проходили по длинному коридору, смотрели.

— Ты торопишься?

Она взглянула на его часы:

— У тебя есть сигареты?

— А тебе можно?

Махнула рукой:

— Можно.

Они отошли к окну. Закурили.

— Хочешь кофе? — спросил он.

— Нет.

Стряхивали пепел за батарею.

— Так кто у тебя? — спросил он.

— Девочка.

— Сколько?

— Четыре месяца.

— Как звать?

— Ольга. Ольга Александровна.

— Вот так вот... Послушай, может быть ты все-таки хочешь кофе?

— Нет, — она вздохнула. — Не хочу.

На ней была белая вязаная шапочка.

— А рыжая ты была лучше.

Она пожала плечами:

— А мужу больше нравится так.

Он отвернулся. Заснеженный двор и низкое зимнее солнце над крышами.

— Сашка мой так хотел сына, — сказала она. — Он был в экспедиции, когда Оленька родилась, так даже на телеграмму мне не ответил.

— Ну, есть еще время.

— Нет уж, хватит пока.

По коридору, вспушив поднятый хвост, гуляла беременная кошка.

— Ты бы отказался от аспирантуры?

— На что мне она?..

— Я думала, мой Сашка один такой дурак.

— Я второй, — сказал он. — Или первый?

— Он обогатитель... Он хочет ехать в Мирный. А я хочу жить в Ленинграде.

— Что ж. Выходи замуж за меня.

— Тоже идея, — сказала она. — Только ведь ты все будешь пропивать.

— Ну что ты. Было бы кому нести. А мне некому нести. А если б было кому нести, я бы и принес.

— Ты-то?

— Конечно.

— Пойдем на площадку, — она взяла его за руку...

На лестничной площадке сели в ободранные кресла у перил.

— А с тобой, наверно, было бы легко, — улыбнулась она. — Мой Сашка точно так же: есть деньги — спустит, нет — выкрутится. И всегда веселый.

— Вот и дивно.

— Жениться тебе нужно.

— На ком?

— Ну! найдешь.

— Я бреюсь на ошупь, а то смотреть противно.

— Не напрашивайся на комплименты.

— Да серьезно.

- Брось.
- А за что ей, бедной, такую жизнь со мной.
- Это дело другое.
- Бродяга я, понимаешь?
- Это точно, — сказала она.

Зажглось электричество.

- Ты гони меня, — попросила она.

— Сейчас.

— Верно; мне пора.

— Посиди.

— Я не могу больше.

— Когда еще будет следующий раз.

— Я не могу больше!

Одетые люди спускались мимо по лестнице.

— Дай тогда две копейки — позвонить, — она смотрела перед собой.

— Ну конечно, — он достал кошелек. — Держи.

КОТЛЕТКА

Сидорков зашел в котлетную перекусить побыстрому. Очередь пропускалась без проволочек.

За человека впереди котлеты кончились, и буфетчица отправилась с противнем на кухню.

Сидорков так и ожидал, и почувствовал одновременно с досадой и слабое удовлетворение, что ожидание подтвердилось и неприятная задержка, осуществившись, перестала нервировать неопределенностью своей возможности. Ему не везло в очередях, — что за пивом, что на поезд: либо кончалось под носом, либо из нескольких его очередь двигалась медленней, как бы ни выбирал, а если переходил в другую, что-нибудь случалось в ней; возможно, ему нравилось считать так, чтобы не относиться всерьез.

Время поджимало. Очередь выросла, начала солидарно пошумливать. Выражали безопасное неудовольствие отсутствующей буфетчицей, и возникало отчасти подобие взаимной симпатии; каждый отпускаявший вполголоса замечание хотел полагать в соседе союзника, который если и не поддакнет, то примет благосклонно, — и в то же время не рисковал нарваться на профессиональную огрызню работника обслуживания и вообще задеть ее, для чего требуется определенная твердость и уверенность внутреннего «я», большее внутреннее напряжение, некоторое даже мужество —

выразить человеку, чужому и от тебя не зависящему, претензию в лицо — если вы не склочник.

Перепало безответной бабке, убиравшей столы.

Сидорков сдерживал раздражение. Время срывалось. Опыт подсказывал настроиться на обычную длительность паузы, но желание, сочетаясь с арифметической логикой, вызывало надежду, что буфетчица вернется тут же, сейчас вот, поскольку оставить пустой противень и взять другой с готовыми котлетами — полминуты, и это противоречие делало ожидание беспокойным. Он представлял, как буфетчица сидит за дверью и курит, расслабившись, вытянув усталые ноги, переговариваясь с поварами. Он мог войти в ее положение и посочувствовать: работа тяжелая, только стоя, в напряженном темпе, давай-давай, поворачивайся — нагибайся — наливай — отпускай — отсчитывай сдачу — не ошибись, — не имеющий конца людской конвейер, да некоторые с норомом, с кухни жар и чад, с улицы холод, и изо дня в день, и зарплата не самая большая... Сидорков отдавал себе отчет, что на ее месте точно так же использовал бы возможность перекурить минут десять.

Естественный ход вещей, да, философствуя рассуждал он. Во всякой профессии свои проблемы, накладки, минусы, и неверно чрезмерно уповать и напирать на борьбу с недостатками, гладко только на бумаге, в жизни неизбежно действует закон трения. И каждый стремится уменьшить трение относительно себя, это просто необходимо до каких-то пределов, иначе невозможно, иначе полетим все с инфарктами, как выплавленные подшипники из обоймы, и всю машину залихорадит. А далее получается, что профессионализм (то есть — делать хорошо свое дело, обращая уже в следующую очередь внимание на подчиняющиеся цели и изначальные абстрагирующиеся задачи) постепенно превращается подчас в наплевательство на все мешающее тебе жить поспокойнее на своем месте. И получается, вроде, — никто ни в чем не виноват. Работа есть работа, деньги даром никому не платят, у каждого трудности, в положение каждого можно войти... Но

если ты при столкновении своих интересов с чьими-то будешь добросовестно и чистосердечно входить в положение другого — останешься при пиковом интересе. Тоже не жизнь.

В конце концов, у нее рабочее время, она обязана обслужить меня, не заставляя ждать, я имею право, следует настоять на своем, — явилась примерная формула итогом размышлений.

Подбив базу для законного раздражения, он тупо уставился в пространство за прилавком.

Минутная стрелка двигалась, и Сидорков распался тихой, неопасной и однако сильной злобой. Очередь роптала.

Пойти позвать ее. Но все стояли, и он стоял.

Он уже почти опаздывал, но и выстоянного времени было жаль, буфетчица могла выйти каждую секунду, а бежать все равно придется, чего ж голодным и с подпорченным настроением, надо было сразу уйти, но упрямство появилось, и злился на себя за это неразумное упрямство, и от этого еще больше злился на буфетчицу. И злился, что не может вот так, свободно, взять и постучать по прилавку, крикнуть ее громко. В подобных положениях всегда: сразу не сделаешь, а позже неловко уже, робость какая-то, скованность, черт его знает, связанность какую-то внутреннюю не одолеть, неловкость и раздражение растут, и все труднее перестроиться на другое поведение, во власти инерции ждешь как баран, в себе заводясь без толку, пока раздражение не перейдет меру, и тогда срываешься на скандал, не соответствующий малости причины, — если все же срываешься; а все оттого, что перетерпел, не последовал сразу желанию, пока был практически спокоен. Особенно в ресторане: сначала сидишь в приятном ожидании, потом близится и длится время, когда официанту полагалось бы и материализоваться, еще сохраняешь приятную мину — а желудок руководствуется условным рефлексом и выделяет желудочный сок, и там начинает тянуче посасывать, жрать охота, халдеи ходят мимо, и не знаешь который обслуживает твой столик, они не откликаются, возни-

кает неуверенность, неловкость, смущение, будто что-то не так делаешь, чувствуешь себя вне царящей во-круг приятной атмосферы, бедным родственником, незванным гостем, нежелательным, несостоятельным, неуместным и чужим здесь — при этом имея полное право здесь быть, да не очень-то тут права покачаешь, сидишь тоскливо, ущемленный, злой, голодный, буквально оплеванный из-за такой ерунды, проклинаящий собственное неумение держаться с весом и достоинством, ненавидящий официанта, представляющий: грохнуть сейчас вазу об пол — сей момент мушкой подлетит, ну и что, мол нечаянно, поставьте в счет, так ведь не грохнешь, в лучшем случае отправляешься искать администратора, заикаясь от унижения и злости, с уже испорченным настроением.

Сидорков растравлялся памятью о нескольких совершенно напрасно не разбитых вот так вазах, пепельницах и тарелках, и в поле его зрения пребывала тарелка на прилавке, служащая для передачи денег. Дешевая мелкая тарелка с клеймом общепита. Треснуть ею по кафельному полу — живо небось прибежит.

Искушение стало сильным. И последовать ему ничем ведь, в сущности, не грозит.

Он понял, что сейчас разобьет тарелку об пол.

Отчего нельзя? Сколько можно в жизни сдерживаться?! Неужели никогда в жизни он не даст выход своему желанию, раздражению, порыву?! В морду кому надо не плюнуть, хулиганам в автобусе поперек не встрять, боишься за место и стаж, боишься побоев или милиции, и каждый раз после погано на душе и остается осадок, разъедающий личность и лишаящий уверенности и самоуважения. Что же, никогда в жизни?.. Да жив будет, что случится-то?! Неужели никогда!.. Что случится!!

Он перестал сдерживаться, позволил приотпуститься внутреннему напряжению, бешенство поднялось превращаясь в легкую холодноватую сладко-отчаянную готовность, зрение на момент расфокусировалось, сбилась ориентировка, кровь отлила, затаилась дрожь пальцев... внешне спокойным и даже быстрым движением

он взял тарелку и пустил за прилавок на кафельный пол.

Тарелка пролетела, чуть косо коснулась пола и с громким звонким звуком расплюснулась, растрескиваясь, и осколки порскнули по кафелю кругом от места удара.

Ближние в очереди глянули молча, тихо.

Сидорков стоял бледный, руки в карманах тряслись, вроде и легко на душе стало, взял и сделал, но какое-то непомерное волнение медлило отпускать, трудно с ним было сладить, даже странно.

Буфетчица вышла секунд через пятнадцать. Ничего не сказав, с замкнутым лицом, она установила поднос с котлетами и ногой отодвинула к стене обломки покрывала. Быстрые движения были нечетко координированы; она смотрела мимо глаз; отпуская первому в очереди, она придралась ни с чего зло, но коротко и тихо. Судя по признакам, эта тарелка подчинила волю ее, сознающей неправомерную затянутость задержки, враждебной молчаливой очереди. Сейчас неуверенность, скованность, сдерживаемая злость чувствовалась в ней.

Только через несколько минут, стоя за высоким столиком в углу, доев вторую котлету и принимаясь за булочку с кофе, Сидорков уравнивал дыхание и унял подрагивание пальцев, и то не до конца. Он испытывал в утихающем волнении некоторую счастливую гордость, и презирал себя за это волнение и гордость, презирал свою слабость, когда такое незначительное событие, микропобедочка, заставляет прикладывать еще какие-то усилия и вызывает постыдное волнение... недостойное мужчины... и все-таки была гордость.

СВЯТОЙ ИЗ ДЕСАНТА

Солдаты пьют водку в поезде.

— За дембель!

Жаркий сентябрь. Густой дух общего вагона.

Заглядывает девка с тупым накрашенным лицом.

— О, Тонечка! Садись...

Кокетливая улыбка.

— Входи, — разрешает рослый в тельняшке — десантник, и она садится рядом.

— За вас, мальчики, — берет стакан и ломоть оплывшей колбасы.

— А пацан где?

— Спит.

— Сколько тебе лет, Тонечка?

— Восемнадцать!..

— От кого ребенок-то, Тонечка?

— Не помню!.. — невзначай касается бедра десантника. Тот не смотрит.

— Сама же родила, и сама же как со щенком...

— Тю! Твой ли...

— Не мой...

Ухмыляясь, коротко раскрывает про ночь: что, где и как.

— Гад!.. — говорит девка и не уходит.

Десантник и коротыш-танкист идут в тамбур курить.

Белое небо палит. Орлы следят со столбов не взлетая.

— Прочти, — дает танкисту из бумажника письмо.

Юля выходит замуж и просит простить; он обязательно встретит лучшую; а ее забудет; а может быть, они останутся добрыми друзьями.

Десантник тоже читает, складывает и плачет.

— За две недели до дембеля получил. Два года ждала! За две недели!

Показывает фотографию: беленькая девушка у перил моста, в руке газовый шарфик.

— Красивая... — он плачет, пьян.

— И на ...! Пусть! — кричит. — Еще десять найду! Так! Еще десять найду!

Приятели на верхних полках трудно дышат ртами во сне. Тонечка ждет у окна.

Десантник приносит ребенка.

— Мам-ма, — сын тянется к ней.

Она шлепает его по рукам.

— Мам-ма!.. — лепечет он.

— Сердитая мамка, — утешает десантник, качая его на колене. — Ничего, Толенька, скоро вырастешь, большой станешь. В армию пойдешь, — вздыхает. — А солдату плакать не положено.

— Плозено, — кивает тот.

— Давай-ка закурим с тобой, — шелкает портсигаром, осторожно вставляет ему в рот незажженную папиросу.

— У-лю-лю! — радуется Толька.

— Внешний вид, брат, у тебя... Наденем-ка головные уборы, — нахлобучивает на голову голубой берет с крабом и звездочкой.

— Па-а машинам! — кричит. — Десант готов. Вв-ву-у!

— Вв-ву-у-у! — ликует Толька, взлетая на его колене, и машет ручонками¹.

¹ О названии: просто он часто пел мне анчаровскую «Балладу о парашютистах»:

Он грешниц любил, а они его,
и грешником был он сам, —
а где ж ты святого найдешь одного,
чтобы пошел в десант.

АПЕЛЬСИНЫ

Ему был свойствен тот неподдельный романтизм, который заставляет с восхищением — порой тайным, бессознательным даже, — жадно переживать новизну любого события. Такой романтизм, по существу, делает жизнь счастливой — если только в один прекрасный день вам не надоест все на свете. Тогда обнаруживается, что все вещи не имеют смысла, и вселенское это бессмыслие убивает; но, скорее, это происходит просто от душевной усталости. Нельзя слишком долго натягивать до предела все нити своего бытия безнаказанно. Паруса с треском лопаются, лохмотья свисают на месте тугих полотнищ, и ничемно стынет корабль в бескрайних волнах.

Он искренне полагал, что только молодость, пренебрегая деньгами — которых еще нет, — и здоровьем — которое еще есть; — способна создать шедевры.

Он безумствовал ночами; неродившаяся слава сжигала его; руки его тряслись. Фразы сочными мазками плепались на листы. Глубины мира яснили; ошеломительные, сверкали сокровища на острие его мысли.

Сведущий в тайнах, он не замечал явного...

Реальность отковывала его взгляды, круша идеализм; совесть корчилась поверженным, но бессмертным драконом; характер его не твердел.

Он грезил любовью ко всем; спасение не шло; он истязался в бессилии.

Неотвратимо — он близился к ней. ОНА — стала для него — все: любовь, избавление, жизнь, истина.

Жаждающе взбухли его губы на иссушенном лице. Опушенный полумесяц ее рта тлел ему в сознании; увядшие лепестки век трепетали.

Он вышел под вечер.

Разноцветные здания рвались в умопомрачительную синь, где серебрились и таяли облачные миражи.

На самом высоком здании было написано: «Театр комедии».

Императрица вздымалась напротив в бронзовом своем величии. У несокрушимого гранитного поста-мента, греясь на солнышке, играли в шахматы дряхлеющие пенсионеры.

— Ваши отцы вернулись с величайшей из войн, — сказал ему старичок.

— Кровь победителей рвет ваши жилы! — закричал старичок, голова его дрожала, шахматы рассыпались.

Чугунные кони дыбились вечно над взрыбленной мутью и рвали удила.

Регулировщик с красной повязкой тут же штрафовал мотоциклиста, нарушившего правила.

Солнце заходило над Дворцом пионеров им. Жданова, бывшим Аничковым.

На углу продавали белые пачки сигарет — и красные гвоздики.

У лоточницы оставался единственный лимон. Лимон был похож на гранату-лимонку.

Человечек схватил его за рукав. Человечек был мал ростом, непреклонен и доброжелателен. Человечек потребовал сигарету; на листе записной книжки нарисовал зубастого нестрашного волка в воротничке и галстуке, и удалился, загадочно улыбаясь.

Он зашел выпить кофе. За кофе стояла длинная очередь. Кофе был горек.

Колдовски прекрасная девушка умоляла о чем-то мятого верзилу; верзила жевал резинку.

Он перешел на солнечную сторону улицы. Но вечернее солнце не грело его.

Пока он размышлял об этом, кто-то занял телефонную будку.

Дороги он не знал. Ему подсказали.

В автобусе юноша с измученным лицом спал на тряском заднем сидении; модные дорогие часы блестели на руке.

На улице Некрасова сел милиционер, такой молодой и добродушный, что кругом заулыбались. Милиционер ехал до Салтыкова-Щедрина.

Девчонки, в головокружительном обаянии юности, смеясь, спешили к подъезду вечерней школы. Напротив каменел Дворец бракосочетаний.

Приятнейший аромат горячего хлеба (хлебозавод стоял за углом) перебивал дыхание взбухших почек.

«Весна...», — подумал он.

ЕЕ не оказалось дома.

Никто не отворил дверь.

Он ждал.

Темнело.

Серым покрасил улицу тягостный дождь. Пряча лица в поднятые воротники, проскальзывали прохожие вдоль закопченных стен. Проносились автобусы, исчеза в пелене.

Оранжевые бомбы апельсинов твердели на лотках, на всех углах тлели тугие их пирамиды.

НЕ ДУМАЮ О НЕЙ

Тучи истончались, всплывая. Белесые разводья голубели. Луч закрытого солнца перескользнул облачный скос. Море вспыхнуло.

Воробьи встреснули тишину по сигналу.

Троллейбус с шелестом вскрыл зеленоглянцевый пейзаж по черте шоссе.

Прошла девушка в шортах, отсвечивали линии загорелых ног. Он долго смотрел вслед. Девушка уменьшилась в его глазах, исчезла в их глубине за поворотом.

— Паша, как дела, дорогой? — аджарец изящно помахал со скамейки.

Паша приблизил сияние белых брюк и джемпера.

— В Одессу еду, — пригладил волосы. — В университет поступил, на юридический.

— Как это говорится? — аджарец дрогнул усами. — С Богом, Паша, — сердечно потрепал по плечу.

Они со вкусом прощались.

Он следил за ними, улыбался, курил.

Кончался сентябрь. Воздух был свеж, но влажный, с прелью, и лиловый мыс за бухтой прорисовывался нечетко.

Сквер спускался к пляжу. Никто не купался. Море тускнело и врезалось зубчатой пеной.

Капля прозвучала по гальке и, выждав паузу, достигли остальные.

Он встал и направился в город.

Дождь мыл неровности бульжников. Волнистые мостовые яснили. Улочки раскрывались изгибами.

В полутемной кофейне стеклянные водяные стебли с карнизов приплясывали за окном. Под сурдинку кавказцы с летучим азартом растасовывали новости. Хвосты табачного дыма наматывались лопастями вентиляторов.

Величественные старцы воссели на стулья, скребнувшие по каменному полу. Они откидывали головы, вещая гортанно и скорбно. Коричневые их сухошавые руки покоились на посохах, узлы суставов вздрагивали.

Подошла официантка с неопрятностью в походке. Запах кухни тянулся за ней. Она стерла звякнувший в поднос двугривенный вместе с крошками.

На плите за барьером калились джезвы. Аромат точился из медных жерл. Усач щеголевато разводил лаковую струю по чашечкам, и их фарфоровые фары светили черно и горячо.

Он глотнул расплав кофе по-турецки и следом воды из запотевшего стакана. Сердце стукнуло с перерывом.

Старики разглядывали блестящую тубу из-под французской помады. Один подрезал ее складным ножом, пристраивая на суковатую палку. Глаза под складчатыми веками любопытствовали ребячески.

Остаток кофе остыл, а вода нагрелась, когда дождь перестал. Просветлело, и дым в кофейне загустел слоями.

Он пошел по улице направо.

Базар был буен, пахуч, ряды конкурировали свежей рыбой, мандаринами и мокрыми цветами. Теряясь в уговорах наперебой и призывах рук, он купил бусы жареных каштанов. Вскрывая их ломкие надкрылья, с интересом пожевал сладковатую мучнистую мякоть.

Серполицый грузин ощупал рукав его кожаной куртки:

- Продай, дорогой. Сколько хочешь за нее?
- Не продаю, дорогой.
- Хочешь пятьдесят рублей? Шестьдесят хочешь?
- Спасибо, дорогой; не продаю.

Грузин любовно следил за игрушечной сувенирной финкой, которой он чистил каштаны. Лезвие было хорошо хромировано, рукоятка из пупырчатого козьего рога.

— Подарок, — предупредил он. — Друг подарил.

Тогда он гостил у друга в домике вулканологов. Расстояние слизнуло вуаль повседневности с главного. Они посмеивались над выдохшимся лекарством географии. Вечерние фразы за спиртом и консервами рвались. Им было о чем молчать. Дождь штриховал паузы, шуршал до утра в высокой траве на склоне сопки.

...Допотопный вокзальчик белел под магнолиями в центре города. Пустые рельсы станции выглядели нетронутыми. Казалось, свистнет сейчас паровозик с самоварной трубой, подкатывая бутафорские вагоны с медными поручнями. В безлюдном зале сквозило влажным кафелем и мазутом. Древоточцы тикали в сыплющихся панелях. Расписания сулили бессрочные путешествия, превозмогающие терпение.

— Вам куда? — полуусопшая в стоялом времени кассирша клюнула приманку разнообразия.

— ...

Сумерки привели его к саду. Чугунные копыя ворот были скованы крепостным замком. Скрип калитки звучал из давно прошедшего. Шаги раскалывались по плитам дорожки.

Листья лип чутко пошевеливались. Купол церкви стерегся за вершинами. Грузинские надписи вились по древним стенам. Смирившаяся Мария обнимала младенца.

...В кассах Аэрофлота потели в ярких лампах среди реклам и вазонов, проталкивались плечом, спотыкаясь о чемоданы, объясняли и упрашивали, просовывая лица к окошечкам, вывертывались из сумятицы, выгребая одной рукой и подняв другую с зажатыми билетами; он включился в движение, через час купил билет домой на утренний самолет.

Прокалывали небосвод созвездия и одиночки.

Пары мечтали на набережной. Он спустился к воде. Волна легла у ног, как добрая умная собака.

Сухогрузы у пирсов светились по-домашнему. Иллюминаторы приоткрывали малое движение их ночной жизни. Изнутри распространялось мягкое металлическое сопение машины.

Облака, закрывая звезды, шли на юг, в Турцию.

Ему представились носатые картинные турки в малиновых фесках, дымящие кальянами под навесом кофеен на солнечном берегу.

За портом прибой усилился; он поднялся за парапет. Водяная пыль распахивалась радужными веерами в луче прожектора.

Защелкал слитно в неразличимой листве дождь.

В тихом холле гостиницы швейцар читал роман, облущенный от переплетов и оглавлений. Неловкие глаза его не поспевали за торопящейся перелистывать рукой.

Коридорная сняла ключ с пустой доски и уснула на кушетке.

Номер был зябок, простыни влажноваты. Он открыл окно, свет не включал.

Не скоро слетит в рассвете желтизна фонарей.

И — такси, аэропорт, самолет, и все это время до дома и еще какие-то мгновения после привычно кажется, что там, куда стремишься, будешь иным.

Он расчеркнулся окурком в темноте.

НАС ГОРЮ НЕ СОСТАРИТЬ

Слова к попутчику

Солнце, сгусток космического огня в бесконечности, так жутко живописен закат за черным полем и бегущим лесом в окнах вагона, что матери показывали его детям.

* * *

— Я жизнь — люблю! Жить люблю. Это же, ох елки зеленые, счастье какое; это понять надо.

И когда услышу если: жить, мол, не хочется, жизнь плохая, — не могу прямо... в глотку готов вцепиться! Что ты, думаю, тля, понимал бы! Куда торопишься!..

...Я не очень о таком задумывался до времени.

В армии я монтажником был, высотником. И после дембеля тоже — в монтажники. Специальность нравится мне, еще ребята отличные подобрались в бригаде, заработки — хорошие заработки.

Поначалу же как? — трясешься. Я в первый раз на высоту влез — влип, как муха, и не двинуться. Ну, потом перекурил, — шаг, другой, — пошел... Месяца через четыре — бегал — только так!

Заметить надо — салаги не срываются; перестраховается всегда — салага. Случается что — с асами уже. Однако — не старики, опыта настоящего нет, — но вроде постигли, умеют — им все по колено.

И вот — работаю я на сорока метрах. Три метра на два площадка — танцплощадка для меня! Я и не за-

креплялся, куда я денусь? И — сделал назад шагок лишней...

Внизу тяга была, трос натянут над землей. Я спиной летел. Попал на тягу, она самортизировала, и от нее уже я упал на землю. Удар помню.

Ну, ключица там, ребра, нога поломанная. Главное — позвоночник повредил. Шок там, тошнит, черт, дьявол, лежу поленом в гипсе, как в гробу, а жить хочется — ну спасу нет как, за окном снежинки, воробьи на подоконнике крошки клюют, и так жить хочу... аж дышать затрудняюсь от усилия.

Месяцы идут...

...Короче, когда выписывался, доктора меня здорово поздравляли.

По комиссиям я оттопал... будьте-нате. Добился — обратно в монтажники.

Теперь я на риск фиг зря пойду. Такое счастье чемпионам по везению через раз выпадает.

А сейчас вот к брату на свадьбу еду. Ребята мне, понимаешь, триста ре на дорогу скинулись с получки. У нас так: если там праздник у кого или еще что — мы скидываемся всегда. И правильно, верно же?

* * *

«Возлюби ближнего...» Душа жаждет счастья в братстве. И несовершенство окружающих ранит.

* * *

Вражда безответна не чаще, чем любовь — взаимна.

* * *

«Все мы — экипаж одного корабля»; да. Но как порой успевает переругаться команда к концу рейса!..

* * *

— Любил он ее, понял? Со школы еще. А она хвостом крутила.

Ну, он — вопрос ребром. И свалил на Камчатку.

Из резерва его на наш СРТ определили.

В район пока шли, болтало нормально. Он, салага, зеленым листом прилипнет к койке или наверху тра-

вит, глотает брызги. Но треску стали брать — оклемался, ничего; держится.

Пахарь оказался, свой парень. К концу рейса ребята уважали его.

Пришли мы с планом тогда; загудели. Как-то он и выложил жизнь-то свою. Мы, значит: да пошли ты ее, шкуру, отрежь и забудь, ты ж мореман, понял? Конечно, сочувствуем сами тоже.

Я сразу снова в рейс, деньжат подкопить, у стариков в Брянске пять лет не был. Он со мной: чего на берегу; и верно...

Неудачно сходили, тайфун нас захватил. Течь открылась, аврал, шлюпку одну сорвало. А его смыло, когда крепил. Море, бывает, что ж...

...Родственников официально извещают, как положено. А я швабре этой написать решил: адрес в записной книжке нашел. И написал, не так чтобы нецензурно, но, однако, все, что есть.

С полмесяца после лежу раз по утрянке в общежитии, башка муторная, скука. Стук в дверь — входит девушка. Красивая!.. по сердцу бьет... Вы, говорит, такой-то? И слезы сразу. На пол опустилась и рыдает так, не остановить девчонку. Дела...

До меня — доходит. Такая я сякая, говорит, из-за меня он сюда приехал, один он меня любил, и прочее... И теперь я всю жизнь с ним буду, замуж не выйду никогда, сюда институт кончу работать приеду, где он погиб, и... Эх, переживания бабские, обеты!.. Молодая, — пройдет.

Так — вот тебе... она третий год у нас в Петропавловске, в областной больнице работает. И не замужем. Мужики льнут — на дистанции держит. Что? Точно; я знаю...

Люблю я ее, понял?

* * *

Отказываясь от прихотей настроения, мы лишь следуем желанию, которое продленнее настроения.

* * *

Коммуникативная функция курения.

* * *

— Акцент?.. да. Нет, не из Прибалтики. Я немец. За тридцать лет выучишь язык хорошо. С войны, да плен. Я пришел сам.

Я воевал. Все воевали. Я был солдат. Я сражался за родину. Я так считал. Нам так говорили. Мы считали так. Война.

У меня была семья. Жена, сын и дочка. И старые родители. И брат.

Брат погиб в сорок первом. И я воевал со злом. Я хотел мстить. Я хотел скорее кончить войну, и чтобы моя семья жила хорошо, и я вернулся к ней. Я думал правильно — нам так говорили.

В сорок втором они погибли все. Бомбежка. Город Киль.

Я не хотел умирать. Умерли все, кого я любил. Их не было больше. За кого мне воевать?

Мы наступали; какая победа? родина — фотография в кармане. Нет смысла.

Идеи? Я не был национал-социалист. Фюрер? Он высоко, Бог; человеку надо тепло людей. Только мальчики и фанатики могут думать иначе. Бога нет, когда нет тех, кого любишь.

Был долг солдата, присяга; им легче следовать, чем нарушить... легко умирать, когда терять некого... я не боялся, но зачем; я не хотел. Они умерли и не будут счастливы! мне говорят: теперь умри ты! — нет!

Даже — я хотел смерть, но воевать — нет! Я дезертир — не трус, нет. Долг, присяга, — я был солдат, — я пошел против — я был храбр! Да! Я был готов умереть, в плен, в Сибирь, — я не хотел воевать.

Оказалось — не страшно... Потом... Я остался в России. Это долго говорить... Мне лучше здесь. Да.

* * *

Он был блестящий преподаватель — школьный учитель математики. Он ревностно следил, как его ученики поступали в центральные вузы и защищали диссертации. У него не было ноги, он ходил в железном корсе-

те. Последний раз он водил свою роту в рукопашный в июне сорок четвертого года под Осиповичами.

* * *

Мое окно выходит на восток; на старости лет я встречаю рассветы. О память, упрямая спекулянтка, все более скарденая.

* * *

Для большинства горожан соловей — метафора.

* * *

— Мы почему за водкой разговариваем? — душа отмякает. Теряешь с возрастом нежность, так сказать, чувств. Предлагаешь: «Выпьем!» — а на деле это: «Давай поговорим...»

Заброшенный город мне снился. Стены сиреневым отсвечивают, полуобвалившиеся лестницы деревьями затенены. И щемяще — наяву не передать. Просыпаясь — в памяти все как слезами омыто блестит. Утро пойдет — словно роса высыхает, ощущение только остается, выветривается со временем.

В жизни — привычка; но во сне случится — самым нутром позабытым чему-то касается.

Девчонка снилась. С семнадцати не видел. Влюблен был — юность. Уж и не помнил начисто сколько лет. А тут — сидит печальная, ждет, старая сама — и все одно девчонка. Мать честная, взяла меня за руку — ввек я такого не испытывал... не пережил того, что в лицо ее забытое глядя. Уж и внук у меня есть, с женой хорошо жил всегда.

Раньше не было, последние годы привязалось лишь, дьявол дерит.

В школе я архитектором стать мечтал. Дома строить, города. Война свое сказала. Взрывник я; вот какой поворот. Взрывать оно тоже — одно дело со строителями; конечно...

* * *

Странно узнавать о смерти знакомого много спустя.

* * *

— Причесочка-то. «Нет...» Ладно, не темни. Я понимаю.

Завязал я давно. Ты молодой совсем, советую: кончай с этим делом. Верно.

Я после войны, понимаешь, без отца рос. Озоровал, и понятно... С ерунды — дальше больше... Полагал — кранты; четыре судимости. Молодость за проволокой осталась. Специальность: тyani-толкай. Мать умерла, я и на похоронах не был... сидел опять. Выходишь — кореша встретят вроде, поддержат; отметить, погулять хорошо — ан и деньги занадобились!.. Круг известный.

...Последний раз, в Саратове, следовательно мне попался, майор Никифоров... Так он мне, понимаешь, по-человечески... Я: знакомо, добротой берет; выкуси!.. Он — свое. И ни разу — голос ни разу не повысил! Веру в тебя, растолковывает, имею, не конченный ты человек, стоящий. Перед судом о скидке все хлопотал... Такое отношение, понимаешь.

Все годы в лагерь мне писал. Помочь с работой обещал, с пропиской, вообще насчет жизни. Задумаешься, конечно.

Освободился я, — ну вот только из ворот шагнул! — он меня встречает.

.....
Прописался я, на завод оформился, все путем. Он зайдет иногда, по-дружески: как живешь. Посидим, бывает выпьем. Приглашает, у него бывали.

Сейчас я в Кирове живу, жена сама оттуда. В отпуске на теплоходе познакомились.

Переписываемся с ним.

Вот на день рождения еду к нему. Звал очень. Он на пенсию тот год вышел.

Слушай меня, паренек. Завязывай.

* * *

Июнь, бульвар, людно, два юноши пересчитывают на ходу купленные букеты (экзамены? защита дипломов?). Один вручают встречной старушке.

Они читали в детстве Андерсена?..

* * *

Если завтра исчезнут все шедевры — послезавтра мы откроем другие.

* * *

Искусство — и для того, чтобы каждый осознал, что он всемогущ. Дело в том, чтобы открыть тот аспект жизни, где ты непобедим.

* * *

— Хрен его знает, как вышло. Главное — он ноги, видать, из стремян не вынул. Да и — Катунь; иди выплыви...

К берегу подошли, значит, с гуртом, пасти стали. Он пас, на коне, остальные лагерь делают, кто что.

А она с того берега на байдарке переправлялась. За хлебом хотела в деревню, туристы их потом говорили.

И опрокинуло ее. Тонет — на середине. Вода кружит, затягивает.

Он с конем — в реку. Телогрейку не скинул даже. Хотел доплыть на коне.

Ее совсем скрывает. Он доплыл почти!.. Пороги... вода, видать, коню в уши попала, или что... Закрутило тоже... И все.

Через год друзья ее, туристы вернулись, памятник поставили; красивый, стоит над Катунью. Молодая была.

Он тоже молодой был.

* * *

Я поднимался на Мариинский перевал. Конь шел шагом. Колеса таратайки вращались мягко. На склоне, метрах в восьмистах, алтаец пас овечий гурт. Качаясь в седле, он высвистывал «Белла, чао». Серый сырой воздух был отточенно чист — звучен, как бокал. В тишине я продолжил мотив. Он помахал рукой. У поворота я сделал прощальный жест.

**ИСПЫТАТЕЛИ
СЧАСТЬЯ**

ПРАВИЛА ВСЕМОГУЩЕСТВА

«Что бы я сделал, если бы все мог».

— А вы?

Мефистофель с хрустом ввернул точку:

— А я могу больше: одарить этим вас. — Он отер мел и обернулся к ученикам: — Соблазняет? Прошу дерзать!..

Тема была дана.

Здесь надо пояснить, что Мефистофеля вообще звали Петром Мефодиевичем. Или Петра Мефодиевича звали Мефистофелем? как правильно? Велик и могуч русский язык; не всегда и сообразишь, что в нем к чему. Валерьянка вот не всегда соображал, и скорбные последствия... простите, не Валерьянка, а Вагнер Валериан. «Школьные годы чудесные» для слабых и тихих ох не безбедны, а еще дразнить — за какие ж грехи невинному человеку десять лет такой каторги.

Но — о Петре Мефодиевиче: он здесь главный — он директор средней школы № 3 г. Могилева. А по специальности — физик. Но любит замещать по чужим предметам.

Прозвище ему, как костюм по мерке: черен, тош, нос орлом, лицо лезвием — и борода: типичный этот... чертик с трубки «Ява». Но это бы ерунда: он все знает и все может. Поколения множили легенду: как он выкинул с вечера трех хулиганов из Луполова;

как на картошке лично выполнил три нормы; как по-английски разговаривал с иностранной делегацией; а некогда на Байконуре доказал свою правоту самому Королеву и уволился, не уступив крутизной характера.

Петр Мефодиевич непредсказуем в действиях и нестандартен в результатах. Когда Ленька Мацилевич нахамил химозе, Петр Мефодиевич сделал ему подарок — книгу о хорошем тоне, приказав ежедневно после уроков сдавать страницу. К весне измученный, смирившийся Мацьль взмолил, что жизнь среди невежд губительна, а станет он метрдотелем в московском ресторане.

После его урока географии Мишку Романова вынули в порту из мешка с мукой: он бежал в Австралию. Замещал историчку — и Валерьянка всю ночь рубился с римскими легионами; проснулся изнеможенный — и с шишкой на голове!

На Морозова только полыхнул угольными глазами, и Мороз зачарованно выложил помрачающие ум карты; он клялся, что действовал под гипнозом, оправдываясь дырой на том самом кармане, прожженной испепеляющим взглядом Петра Мефодиевича.

А однажды у стола выронил фотографию, а Геньчик Богданов подал: так Геньчик уверял, что на фотке молодой Петр Мефодиевич в форме офицера-десантника и с медалью.

Вследствие вышеизложенного Петр Мефодиевич титуловался заслуженным работником просвещения и писал кандидатскую по педагогике с социологическим уклоном; ныне модно. И ему необходимо набирать материал и личные контакты по статистике. (Опять я, кажется, неправильно выражаюсь.)

Теперь понятно, почему Мефисто... простите, Петр Мефодиевич обломал кайф классу, праздновавшему болезнь русачки срывом с пятого-шестого сдвоенных русск. яз-а и лит-ры. Петр Мефодиевич нагрязнул лично, пресек жажду свободы и дал взамен свободу воображаемую в рамках педагогики: ход, высеченный мелом на влажном коричневом линолеуме доски.

— Почему нерешительность? М? Чего боимся? — подтолкнул Петр Мефодиевич.

Класс вперился в доску. Сочинение на свободную тему: искус и подвох... Школа — она приучит соображать, прежде чем раскрывать рот, будьте спокойны. С этой задачей она справляется неплохо. Некоторые так вышколены, что потом всю жизнь... но мы отвлекаемся.

«Что сделал, если б все мог», — хо-хо! Эх-хе-хе... Так им все и скажи: нашел дурных. А потом кому диссертация, а кому колония для малолетних? Класс поджался и замкнул души.

— Писать донос на себя самого? вот спасибо, — суммировал общественное подозрение скептик Горявин. — Милые идеи у вас, Петр Мефодиевич.

«Я еще мал для душевного стриптиза», — пробурчал коротышка Мороз. А Олежка Шпаков успокоительно поведаль:

— Я, если б мог, вообще бы ничего не делал.

Свалившаяся вседозволенность озадачивала неясностью цели: одно — стать отличником, чтоб они все отцепились, а другое — превратить недостатки настоящего в цветущее будущее.

— Тяжкая стезя? — ехидно посочувствовал Петр Мефодиевич. — Морально не готовы? Или — не хочется?..

— Все — это сколько? В каких пределах? — осведомился вдумчивый Валерьянка, Вагнер Валериан, и показал руками, как рыбак сорвавшуюся рыбу: широко, еще шире, и вот рук уже не хватает.

— Все — это все, — кратко разъяснил Петр Мефодиевич, взмахнув рукой вкруговую. — Ни-ка-ких ограничений. — Он гордо выпрямился: — Я освобождаю вас от химеры, именуемой невозможностью.

Освобожденный от химеры класс забродил, как закваска.

— Напишем чего думаем, а потом ваша наука не туда пойдет, — посочувствовала пышка-Смелякова.

— А отметки ставить будете?..

— А без этого нельзя, — соболезнующе сказал Петр Мефодиевич.

— Э-э... — укорил Курочков, прославленный изобретатель самопадающих в двери устройств. — Удобная позиция: не ограничивать нас ни в чем, чтоб мы себя сами ограничивали во всем.

— Отметки пойдут не в журнал, а в мою личную тетрадку, — обнадежил Петр Мефодиевич, улыбаясь провокаторски.

— Час от часу не легче, — отозвался из-за спин спортсмен Гордеев.

— А фамилий можете вообще не ставить, — последовал сюрприз. — Это для меня роли не играет...

О?! Класс взревел, словно у него отлетел глушитель. Отчетливо запахло счастьем, свободой; возмездием.

А Петр Мефодиевич, погружаясь в огромную черную книгу с иностранным названием и физическими формулами на обложке, подтолкнул:

— Вы всемогущи! То, о чем всегда мечтали люди — дано вам!

Дотошный Валерьянка снова потянул руку:

— А это всемогущество — предоставляется нам всем? Или как будто мне одному?

— Только тебе, одному на свете за всю историю. Решайся! — второй такой возможности не представится никогда.

А не писать можно, опасливо хотел спросить Валерьянка... но жалко упускать такую возможность... И только поинтересовался:

— А — как же все? Остальные?

— Этого вопроса не существует, — отмел Петр Мефодиевич. — Нет остальных, — вскричал он. — Есть только ты, всемогущий, который сам все делает и сам за все отвечает.

Он потряс черной книжкой, извил пасс худыми руками, кольнул бородкой. «Гипнотизирует», — суеверно подумал Валерьянка и успел сравнить угольные глаза с пылесосом, всасывающим его.

И неожиданно улыбнулся, принимая условия игры — как бы открывая их в себе: да, он всемогущ. Он: один. Здесь и сейчас.

И очень просто.

Он покачнулся и сел.

И посмотрел на белый прямоугольник — раскрытый лист...

Лист был чист и бел. И в то же время неким внутренним зрением он словно провидел на нем абсолютно все. Ему оставалось только сделать это. В смысле написать. В смысле — это означало одно и то же.

1). Начнем с яйца (вареного или жареного?): прежде всего Валерьянка элементарно хотел есть. Последние уроки, вот и подсасывало. Аж желудок скрипел, как ботинок (кстати, их тоже ели, только варить долго).

На обед предполагались котлеты с картошкой и борщ, но тут уж Валерьянка щадить себя не стал. Он угостился шоколадным тортом и закусил его ананасом (интересно, каковы на вкус эти ананасы?). Желудок застонал в экстазе, и голодный чародей охладил его дрожь двумя порциями пломбира. Какое легкомыслие — две! Двенадцать! А если бефстроганов смешать с вишнями и залить какао, что выйдет? — блюдо богов! Жаль, что их нет и они этого не знают.

Нет грез слаще, чем гастрономические грезы голодающего. Как говорится, жизнь крепко меня ударила, но сейчас я ударю по жратве еще крепче. Валерьянка зарылся в яства, как роторный канавокопатель: он давал сеанс одновременной жратвы.

Черствая жизнь обернулась своей съедобной стороной. Вместо супов и каш были семечки. В полях самовыкапывался картофель фри в масле, а на лугах паслись бифштексы. Конфетные города шумели лимонадными фонтанами. С домов отваливались балконы из пирогов, водопровод плевался компотом, а в унитазе... э, стоп, это чересчур.

В газетных киосках давали варенье. Школьный буфет награждал пирожным в компенсацию за каждый отсиженный срок урока. Арбузы и персики катились по улицам, тормозя перед светофорами. Мармеладный милиционер в шоколадной будке махал копченой колбасой.

— Дорогу жиртресту! — скомандовал милиционер, и Валерьянка обмер и провалился. Верно — он стал «плечист в животе»: он был просто приделан к этому дирижаблю, а где застегивались брюки, торчало опорное колесико, как у самолета. Где-то внизу переступали, с натугой толкая вес, нечищенные (не достать!) ботинки... Правда, мороженое вызвало хроническую ангину, избавившую от школы, но не такой же ценой... а если вместо этого гланды вырежут?..

Его дразнили на улице и лупили во дворе. Спасибо вам за такие возможности!

2). Прожорливый волшебник закручинился. Мочь все — занятие не для слабых: шагнул шаг — и последствий не оберешься...

Скажем, еда: возьмется ниоткуда — или все же откуда-то? Если да — то откуда? А вдруг там после этого голодают? и ОБХСС ищет... Тень тюремной решетки пала на веер кошмарных картин:

Арбузная бахча укатилась на север, и сторож продает свое имущество — шалаш, берданку и пугало, покрывая убытки. Продукция кондитерской фабрики испарилась в неизвестном направлении, но клятвам директора вторит саркастический смех прокурора. Магазин пуст, и денег в кассе, естественно, не прибавилось: ревизия вызывает конвой.

Ничего себе закусили. Теперь требуется какое-то сверхмогущество, чтобы вызволить невинных из скверных ситуаций...

Может, лучше всем за все платить? Но тогда — кому, сколько, а главное — чем?.. на такую диету мама с папойотреагируют касторкой и клизмой в лучшем случае, но не карманными деньгами — на его аппетит их зарплат не хватит.

Еда должна браться ниоткуда — это решит массу трудностей. Порядок возможен при одном условии: чтобы все делалось из ничего.

А есть явно или тайно? Тайно — нехорошо, явно — еще хуже: могут занести в Красную книгу и в зоопарк, как достопримечательность.

Ясно одно: толстеть отменяется. Проблему питания лучше всего решить таким образом, чтобы вообще не есть, но всегда быть сытым. А на фига такое всемогущество, если даже не поест толком?..

А если потечет пироговая крыша? Вода-то ладно, подставил таз и порядок, а варенье потечет? это замучишься потолок облизывать.

Благое предприятие рушилось девятым валом проблем. Всемогущество требовало продуманности и организации. И оно было организовано: Валерьянка придумал

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ВСЕМОГУЩЕСТВА

*Что бы ни делалось —
это хорошо, и ничего плохого не будет.*

И, упорядочив этим всеобщий хаос, переключился на следующую страницу славных деяний, где

3). в подъезде его по обычаю приветствовал падла Колька Сдориков из 88 квартиры: в зад пинок, в лоб щелбан: «Привет, Валидол!».

Пусть победит достойный (хоть раз в жизни)! Изящная поза, легкое движение, и — поет победная труба, воеет «скорая», спешат санитары, связку гипсовых чурок задвигают в машину: поправляйся, Коля, уроки я тебе буду носить.

— Всех не перебьешь! — доносится мстительно из-под гипса.

— Перебью, — холодно парирует Валерьянка. — Рубите мебель на гробы.

Вендетта раскручивается, как гремучая змея: в карательную экспедицию выходят, загребая пыль, дворовые террористы — жать из Валерьянки масло, искать ему пятый угол, снимать портфель с проводов. Трепещет двор и жаждет зрелищ: балконы усеяны, как в Колизее (девочки опускают большой палец: не щадить!).

— Открываем долгожданный субботник по искоренению хулиганства, — возвещает Валерьянка. — Концерт по заявкам жертв проходит под девизом «За од-

ного битого двух небитых бьют». Соло на костях врагов!

Страшный восьмиклассник Никита-башня рушится, как небоскреб (длинного бить интереснее — он дольше падает). Похабщик Шурка висит на дереве: во фрукт поспел, пора и падать. Дурной Рог перепахивает клумбу: жуткая рожа среди цветов. А обзывала-Чеснок влетел в песочницу, одни ноги дрыгаются (и те кривые).

С балконов летят цветы и рукоплескания: «Свободу храброму Спарт... тьфу, — Валерьянке! Освободить его от физкультуры до конца школы!»

Поигрывая сталью мускулов, Валерьянка превращает поверженных в тимуровскую команду и гонит носить воду бабуле Никодимовой. (А на черта ей вода, у нее ж водопровод?.. Его прорвало! Чем меньше удобств, тем больше можно заботиться о человеке.) И под гром оваций...

4). Ага: вот заявятся родители этих битых обалдуев — будет гром оваций...

Толпа ярилась в прихожей, разрывая рубахи и тряся кулаками в жажде крови. А впереди сурово качал гербовой фуражкой участковый, предлагая пройти в милицию — и далее, лет на... сколько влепят?..

Что бы ни сделал — одновременно получается и противоположное... Отпадет всякая охота действовать, если в итоге неприятности вечно забивают удовольствие. Нет худа без добра — а вот есть ли добро без худа?.. Тоже нет?..

Да где же справедливость?! Сейчас будет. И Валерьянка ввел

ВТОРОЕ ПРАВИЛО ВСЕМОГУЩЕСТВА

*Что бы ни делалось —
справедливость ненаказуема.*

Но один считает справедливым одно, другой — другое... туманная вещь эта справедливость: рехнешься мозги ломать в каждом отдельном случае. Помногу думать над всем — вообще ничего сделать невозможно,

разозлился он. И в окончательной, исправленной и дополненной редакции

ВТОРОЕ ПРАВИЛО ВСЕМОГУЩЕСТВА

звучало так:

Что бы ни делалось — все довольны.

Это означало то же самое, но было гораздо проще и удобнее.

О! Сияющие родители в очередь жали ему руку, благодаря за чудесное перевоспитание их бандитов. «У вас огромные педагогические способности», — позавидовал доцент пединститута Малинович. Участковый отдал честь и пригласил возглавить детскую комнату милиции: «Только вы в состоянии исправить современную молодежь». А тренер Лепендин из 25 дома восхитился: «Бойцовский характер! Вы — феномен атлетики! Бокс по тебе плачет: жду завтра на тренировку».

5). В зале Валерьянка сделал заявление — исключительно в целях славы спорта — о включении его в сборную Союза. Тренер имел предложить сборную по нахальству и украситься скромностью. Непонятливый (по голове, видать, много били).

Валерьянка украсился скромностью и на построении нокаутировал неверующую секцию одним боковым ударом. Шеренга сложилась, как веер, и хлопнулась со стуком, как кегли. В заключение тренировки он нокаутировал тренера, что было квалифицировано как действие, заслуживающее минимум звания мастера спорта.

...На чемпионате мира сборная была представлена во всех одиннадцати весовых категориях одним человеком (так зато это ж был человек!). Что позволило значительно сократить расходы на содержание команды и тренеров. Экономилось и время: бои кончались досрочно — на тринадцатой секунде: две тратились на сближение с противником, одна на удар, и десять — счет рефери над поверженным.

— Чего считать: снимай шкуру, пока теплый, — добродушно шутил чемпион; публика восхищалась его

обаятельным остроумием. Восторженным репортерам Валерьянка охотно открыл свой спортивный секрет победы:

— Я бью только два раза: второй — по крышке гроба.

Сэкономленное в боях время он уделял пропаганде спорта:

— Было бы здоровье, — говорил он, — а остальное купим. Сила есть — ум найдут. Плюс утренняя зарядка!

Триумф был заслуженный и сокрушительный. Фотография: Валерьянка на пьедестале весь в лентах и венках, как юбилейный монумент — сияла со всех изданий от «Пионерской правды» до «Курьера ЮНЕСКО». Одиннадцать золотых медалей положили начало музею наград, в который ЖЭК переоборудовал его комнату.

По утрам подъезжал грузовик с цветами, кубками и выпелами. Сантехник Вася сидел у дверей и выдавал посетителям тапочки, а физрук Пал Иванович проводил экскурсии, рассказывая о школьных годах героя и первых успехах, бессовестно приписывая их себе (или наоборот — каясь в близорукости: эх, не сумел разглядеть...).

Председатель спорткомитета отдавал Валерьянке рапорт и благодарил за облегчение и образцовую организацию работы: весь спорткомитет руководил теперь одним человеком — им; а он неизменно оправдывал, поддерживал, защищал, не срамил, умножал, поднимал и радовал, побеждая всех, везде и во всем, на воде, в небесах и на суше.

Он вывел в чемпионы мира футболистов, уронил в воду судей результатами плавания, сломал штангу взятием веса и метнул молот из Лужников на стадион Кирова. Он обыграл Карпова, дав ему ферзя форы; Карпов похудел на десять кило.

Большой спорт превратился в физкультуру, потому что смысл рекордов исчез: все они принадлежали Валерьянке. Бывшие чемпионы вытерли слезы спортивной злости и возглавили группы здоровья. Самые от-

чаянные и честолюбивые смотрели кино, анализируя его приемы и оспаривая вторые места.

Международная федерация присвоила ему почетное звание супермастера по всеборью, а в награду остальным отлила его золотую статуэтку с крылышками и надписью: «Валерьянка — бог победы».

Уфф!..

б). Зинка, по глупости родителей — старшая сестра, а по нудной натуре — придира, отреагировала на это так (завидует):

— Вырос-таки спортсменом. Лоботряс. Предупреждала я. У тебя ум в пятках, а образование в кулаках. Не стыдно, неуч?..

— Балеты долго я терпел, — сказал Валерьянка и превратил ее в кобру, предусмотрительно лишенную ядовитых зубов. Кобра в отчаянии раскачивалась над задачником по алгебре, не имея рук записать решение. В крохотном мозгу с трудом умещалась лишь та мысль, что один плюс один — это много; иногда даже слишком. На капюшоне у кобры блестели очки во французской пятидесятирублевой оправе — Зинкина гордость. Пока кобра пыталась сквозь эти очки учить «Луч света в темном царстве», Валерьянка развратил ее обратно, а сам —

познал все и стал президентом Академии наук. Был большой академический праздник. Академики от радости прямо давились друг на друга, поздравляя его. Премию за открытие всего он отдал на... на что лучше?.. на то, что государству нужнее, оно само определит. (Личный автомобиль — инвалиду Яну Лукичу, шофера — на стройку кирпичи возить.)

— Пора нам изобрести все и оторваться от всех еще дальше, — напомнил Валерьянка во вступительной речи.

— Пора, — обрадовались старенькие академики, не чаявшие дожить до полного торжества науки над природой.

— Неучи, — укорил Валерьянка, качая головой размер 65. — У вас ум в пятках, а образование в кулаках!

Пристыженные академики покраснели. Самые сознательные сложили с себя звание и пошли работать в

школу. Даже почин такой объявили: «Узнал сам — научи других!».

Валерьянка подарил Академии стадион для бега трусцой и диетическую столовую, а саму Академию упразднил за ненадобностью. Чего надо — он сам откроет. Они же все такие старенькие — просто зверство гонять их на работу: куда смотрит общественность?.. Пусть отдохнут на заслуженной пенсии. Как поется, старикам везде у нас почет. Все равно они уже плохо соображают.

Хотя у академиков, наверно, мозги устроены иначе, чем у других: чем старше, тем умней? Тогда Валерьянка вывел на Кавказе вид академиков-долгожителей, а самого старшего, двухсотлетнего, назначил своим вице-президентом.

— В каком фраке вы полетите на конгресс в Париж, коллега? — осведомился вице-президент. — Вам пойдет алое с золотом.

7). Путь славы уперся в благосостояние. Ум умом, а пожить хочется.

По городу Валерьянка раскатывал в белом мерседесе, а на природе — в желтом лендровере. Он облачился в белые кроссовки, синие джинсы, клетчатую сорочку, алый пуссер и черный вельветовый пиджак. На руке тикали и звонили часы «Ролекс», палец охватывал золотой перстень с печаткой, а на груди блестел орден. Он невзятяжку курил сигареты «Ява-100» и жевал земляничную резинку. Он поражал взор и слепил воображение.

Фарцовщики льстиво здоровались, а прохожие рыдали от зависти. Они б еще не так зарыдали, если б знали, что джинсов у него целый чемодан, а кроссовок три пары.

Видеомагнитофон услаждал его «Белым солнцем пустыни», стереомаг гремел «Машину времени», а с проигрывателя забрасывала юного набоба миллионом алых роз Алла Пугачева.

— Мой сын — барахольщик, — презрительно отвернулся папа. — Оброс рухлядью, жалкий потребитель — в доме шагу ступить негде!

Сами обростете — другое запоете! Валерьянка подарил родителям четырехкомнатную квартиру — чтоб они не возникали. Начальник чего-то главного перерезал ленточку в подъезде. Сборная штангистов затащила новую мебель. Сводный оркестр вышиб из труб «Взвейтесь кострами». Родители просили у крутого сына прощения и разных хороших вещей.

8). И вот тогда — к нему робко приблизилась Люба Рогольская... Она потеряла передник, в раскаянии заплакала и прошептала:

— Прости меня, Валерьян, что я не пошла с тобой на каток... Меня родители не пустили...

Валерьянка знал, что она врет, но простил. Благородства в нем было еще больше, чем ума.

Они посетили каток, кино, цирк и буфет, а потом... все так делают... может, не надо?.. Валерьянка покраснел, оглянулся и женился.

Свадьбы, конечно, не было — чувствам реклама противопоказана: задразнили бы на фиг. Идиоты. В гробу он их всех видал. (Траурная вереница влачилась по проспекту. Рупора рвали рокот из «Последнего дюйма»: «Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня». На балконе стоял Валерьянка — весь в белом: и показывал гробам фигу.) (Но он не зверь же был: на завтра всех оживил. Пусть живут и помнят. Рыцари еще есть, просто возможностей у них нет.)

Любовь пропела свою журавлиную (соловьиную? лебединую? жавороночью? а от птицы горлицы как будет прилагательное?) песнь: они жили счастливо — выходили из подъезда вместе, при всех держась за руки. А дома имели супружеское счастье целоваться. Без света тоже. Летом ходили в походы и купались в речке, а на обед Люба варила компот и пекла пирожки. Все остальное время она слушала, что он ей рассказывает, и ждала его с чемпионатов и конгрессов: она оказалась идеальной женой.

(Все это здорово, — но что же дальше с ней делать?..)

9). Как, однако, быстро разнообразие семейной жизни исчерпывается до однообразия. А настоящему

мужчине хочется решительно всего — испытать, совершить, попробовать: какая к чертям семья, пожили и хватит, — дел невпроворот! время летит!..

Чтоб успешней выполнить все намеченное, Валерьянка раздвоился: один открывал звезды, другой валил лес. Мало! И он размножился до полного покрытия потребностей:

Он варил сталь и суп, рыл каналы и золото, сеял пшеницу и добро, разведывал нефть и вражеские секреты, сдавал кровь и рапорты, спускался в шахты и поднимался до мировых проблем; он успевал везде и делал все.

Деятельность завершилась космосом. Пульс был отличный, и особенно аппетит. Все бортовые системы функционировали лучше нормального. Он проявил отъявленное мужество в критических ситуациях, предусмотренных заранее, а годовую программу выполнил полностью за неделю: в невесомости-то легко, не устанешь, это не металлолом таскать. Пролетая над всеми, он наблюдал их в подзорную трубу: поприветствовал всех, кого надо приветствовать, и послал им в поддержку свой привет. А кому надо — тем он прямо сказал что надо сверху. Без дипломатии. Не стеснясь. На агрессоров он плевал из открытого космоса. На каждого лично. На главных — по два раза. А на базы еще не то, эти поджигатели потом замутились дезинфекцию проводить.

Один из... них? (или надо сказать — один из его?) забил блатное место: служил моделью для фото-, теле- и кинорепортеров, избавленных от метаний по миру: снимай себе спокойно всю жизнь его одного, и подписывай что хочешь. Благодарные за такой технический переворот в репортерстве, фотошники провозгласили своего кормильца лучшей моделью столетия и мистером Солнечная система. (Если на других планетах и обнаружат марсианина, вряд ли он окажется красавцем.)

10). Мистер Система выглядел всем мистерам мистер. Так что девочки краснели, а мужчины бледнели, и и те и другие предлагали дружить, — понимая под

дружбой вещи несколько разные, но безусловно приятные.

Валерьянка перевел классические ковбойские шесть футов два дюйма в метрические меры и получил сто восемьдесят восемь: отличный рост, и на кровати помещаешься. Вес его равнялся, согласно занимательной математике Перельмана, весу рослого римского легионера: восьмидесяти килограммам. Окружность бицепса — шестьдесят сантиметров, талии — пятьдесят: кинозвезды матерились, культуристы плакали.

Волосы вились черные, глаза синие, подбородок квадратный, нос перебитый. Ровные белоснежные зубы ему вставили в Голливуде. Нет, на «Мосфильме». Что у нас, своих зубов мало?

Легкая походка, тяжелый бас, мягкая улыбка, твердый характер. И все что надо тоже будь здоров.

А возраст ему пришелся, в котором Александр Македонский дрался на Ганге, а Наполеон стал первым консулом: тридцать лет.

Конечно — таким и жить можно!..

11). Расправившись с первоочередными задачами, он вдарил по культуре. Культура взлетела вверх, и больше оттуда не спускалась.

Он написал тысячу книг, и их перевели на тысячу языков. Эта сокровищница мысли и стиля венчала мировую литературу, а заодно и философию с прочей гуманитарной ерундой, для понимания которой много знать не надо.

От прозы Валерьянка перешел к поэзии, и тогда Пушкин перешел на второе место, а Евтушенко и Данте спорили за третье.

Наконец с литературой было покончено. После его гениального вклада сказать уже было нечего: прозаики создавали его биографию, а поэты ее воспевали.

Очередь в Эрмитаж, где поражали его картины, тянулась от Русского музея, где потрясали его скульптуры; нетленным шедевром высилась мраморная статуя Любы Рогольской в закрытом купальнике и с веслом. Под веслом плакал Хаммер, сидя на мешке с доллара-

ми, и пытался всучить миллион. Куда мне твои доллары? получи фотографию бесплатно.

О нем пели песни, а он сочинял симфонии, как Моцарт, и дирижировал ими, как Сальери (кажется, они дружили?). За билет на его концерт отдавали Пиккуля или тонну макулатуры. Зал в экстазе скандировал: «Ва-лерь-ян-ку!». (Походило на праздник мартовских котов или съезд сердечных больных.) «Ла Скала» вылетел в трубу и на стажировку к нам.

Он достиг всего и был похоронен на... э, стоп, давай назад. Еще есть время. Трудился-трудился — и что же? пожалуйста закапываться? дудки. Кто все может — может обождать умирать. Э?

12). Что ценно во всемогуществе — трудись сколько хочешь, отдыхай сколько влезет. Валерьянка слегка устал.

Он посетил дискотеку и карнавал в Рио-де-Жанейро, гульнул в настоящем ресторане, уволил официантов и заменил дружинниками. В весеннем лесу пил кокосовый сок и охотился в джунглях на царей природы — браконьеров. На кинофестивалях в Каннах и Венеции запретил за безобразие «детям до шестнадцати», а главного приза удостоил «Отроков во Вселенной». Он просветил Феллини, и тот стал снимать вполне понятные подросткам фильмы. После чего сел в надувную лодку (он, а не Феллини, понятно) и отбыл в кругосветное путешествие, наказав Сенкевичу в «Клубе кинопутешествий» не перевернуть:

(тем более что акулы грызлись с рыбнадзором в Днепре, неприхотливые верблюды ели пираний на Амазонке, а пингвины преодолевали пустыню в сумках кенгуру: географию Валерьянка смутно полагал превратившейся из науки для извозчиков в науку для дипломатов, и вместе с зоологией изучал творчески: он не ждал милостей от природы, и ей не приходилось ждать их от него).

13). Путешествие в одиночку имеет тот плюс, что о нем можно рассказывать что угодно, и тот минус, что рассказывать это некому — пока не вернешься. Валерьянка сменил лодку на пиратский бриг, здраво рас-

судив, что возможности к перемещению во времени и в пространстве у него совершенно равные, но первое куда легче из-за массы замечательных книг: воображаемое путешествие требует и действительности воображаемой.

Восемнадцатый век затрещал под напором жизненной активности хроникера; хрустнули и времена соседние.

Благородные индейцы во главе с Оцеолой, вождем семинолов, вышибли колонизаторов в Гренландию: не успевших смыться захватчиков пристрелил Зверобой-Соколиный глаз. Сын Чингачгука оказался далеко не последним из могикан, а переодетой дочерью, которая вышла замуж за Зверобоя, и они произвели такой демографический взрыв — заселили материк гуще японцев.

Ветер великих перемен достиг парусов капитана Блада: он сказал Арабелле, что она дура и второго такого фиг найдет, дядю-плантатора повесил, из пиратов организовал трудолюбивый коллектив, рабов объединил в республику хлопкоробов, а сам вообще плюнул на эти вшивые острова и стал королем Англии, дав Ирландии свободу, а власть народу, и, получив персональную пенсию, сделался профессором медицины.

Тем самым д'Артаньяну отпала надобность переться в Лондон, а мушкетерам проливать кровь за реакционную королеву. Атос заколол кардинала на дуэли и простил миледи, ставшую начальником разведки; д'Артаньян получил маршала в двадцать лет и женился на мадам Бонасье и Кэти сразу, чтоб никого не обидеть; Арамис додумался до атеизма и, как человек интеллигентный и со связями, был назначен министром культуры; все деньги и ордена отдал Портосу — много ли у него еще радостей в жизни; с Испанией заключили мир, испанцы тоже люди, и Сервантес посетил Париж в рамках культурной программы.

Адмирал Клуба отважных капитанов, Валерьянка направил капитанскую отвагу в русло прогресса:

Капитан Гаттерас кончил мореходку, покряхтел на экзаменах и пробился к полюсу на атомоходе «Си-

бирь». Капитан Грант выучил морзянку, вызвал яхту по радио, и по семейной профсоюзной путевке поплыл в Сочи: отвага отвагой, а здоровье беречь надо; не пройдешь комиссию — и визу закроют. Пятнадцатилетний капитан организовал в команде контрразведку и благодаря бдительности избежал приключений с лишениями.

А Робинзон держал в пещере вертолет, и Пятница, кончив аэроклуб, раз в год возил его домой в отпуск; а иначе это зверство.

14). Что за прекрасное поле для фантазии — история! Вот где раздолье. Валерьянка недоумевал: сколько трагических несправедливостей и прямого вздора — и как еще бедная история умудрялась двигаться куда надо... пора поспособствовать ее движению! Надо торопиться переделать историю! — времени до звонка все меньше. И:

Спартак установил в Риме народную власть, а гладиаторы стали вести секции каратэ. Кстати, о Риме. Папа Римский при всем народе сознался, что бога нет. Можно себе представить радость римлян.

Монастыри были преобразованы в гостиницы и институты. Мрачное средневековье стало светлым. Джордано Бруно сам сжег всех инквизиторов. Магеллан дружил с туземцами и стал Заслуженным путешественником Португалии. Наполеон протянул руку помощи Робеспьеру и установил мир и братство в Европе.

Вещий Олег присоединил Царьград к Руси и сделал прививку от змеиного яда. Батые от волнений хватил инфаркт, а татаро-монголы перешли к прогрессивному оседлому образу жизни на целинных и залежных землях.

Стрельцы помогали Петру чем могли. Петр жил сто лет и прорубил окна во все стороны. Крепостного права не существовало, народовольцев не вешали, декабристы победили.

История была прополота, как ухоженная грядка. Валерьянка беспощадно корчевал сорняки и закрашивал позорные пятна.

15). Прошлое стало не хуже будущего, а в настоящем наступил порядок. Все оружие было уничтожено,

войны запрещены, и счастье торжествовало на всех пяти континентах. Безработица ликвидировалась заодно с самим капитализмом: капиталисты понурились в очереди на раздачу цветной капусты и кефира (полезно-то полезно, но как мерзко!).

Болезни искоренили, а кстати и докторов, — довольно этих убийц в белых халатах с их шприцами, всем и так хорошо. Население сплошь стало стройным и умным. Расовые и национальные различия исчезли (половые пока на всякий случай остались): все смуглые и высокие. Женщины в основном блондинки.

За добро платили добром, потому что зла нигде не было. Военных преступников переработали на мирные нужды, а милитаристы перевоспитались и охраняли мир. У всех все было, поэтому никто ничего не воровал, и тем не менее все работали. Не дрались, не пили, не курили, не ругались, а врали только из гуманизма.

Умерщвлять таких людей рука не поднимается, и Валерьянка даровал человечеству бессмертие. И процветание — чтоб умереть не хотелось.

16). Он растопил Антарктиду, пресек экологическую катастрофу и извлек энергию из космических лучей. Зима радовала снегом, лето — солнцем, а дожди для сельского хозяйства лили ночью.

В степях паслись мамонты и бизоны. Волки и тигры питались концентратами морской капусты. Ружье и рогатка украшали Музей пережитков прошлого.

Меж прозрачных зданий и шумящих сосен ездили велосипеды и лошади. Труд стал умственным, а все остальное — техническим. В семь часов двадцать минут все делали зарядку. А детей в семьях была куча, и растить их помогали восьмирукие хозяйственные роботы и идеальные няньки — овчарки-колли.

17). Дети мигом устроили скачки на овчарках, а за ними в панике гнались хозяйственные роботы, роняя из восьми рук кошелки и веники. Валерьянка ужаснулся своему созидательному гению:

Воды растаявшей Антарктиды захлестнули ароматные сосны и прозрачные здания. Степи и вовсе не осталось: расплодившиеся мамонты и тупые жвачные би-

зоны сожрали всю траву, — черные бури сметали тигров и волков, захиревших на капустной диете, как привидения. И среди всего этого кошмара полчища старцев делали утреннюю зарядку — они были бессмертны.

Валерьянка допускал отклонения от идеала: времени нет детально обдумать, какое ж дело застраховано от ошибок? — на подобные неприятности он заблаговременно заготовил

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО ВСЕМОГУЩЕСТВА

*Что бы ни делалось —
все можно будет переделать.*

Дамбы, санитарный отстрел и вечная молодость. Это нам раз плюнуть.

18). Бессмертных людей прибывало, и Земля завесилась табличкой: «Свободных мест нет». Вот и звезды пригодились. Всем взлет!

Братья по разуму выкарабкивались из «летающих тарелок», маша флагом дружбы и сотрудничества. А где вы раньше были, граждане? Теперь мы сами с усами, над вами шефство оформим.

Звездолеты бороздили обжитую Вселенную: колпаки над планетами, искусственная атмосфера, синтетика и кибернетика: счастье...

Так. А что же дальше?.. Все? Жаль... Еще осталось время. И чистое место в тетради.

— Сашка, ты что делаешь? — прошептал он через проход.

— Д'Артаньяна королем, — трудолюбиво просопел Гарявин.

Иванов играл в баскетбол за сборную мира. Лалаева уничтожала все болезни. Генка Курочков строил двигатель вечный универсальный на космическом питании. Новые идеи отсутствовали...

— Петр Мефодьч, я все, — сообщил Валерьянка. — Можно сдать?

— Как так — все? — изумился Петр Мефодиевич. — Раньше срока сдавать нельзя. Ты должен сделать все, что только можешь.

— А зачем? — скучно спросил Валерьянка. Он устал. Надоело.

— Задание такое, — веско объяснил Петр Мефодиевич.

Валерьянка вздохнул и задумался.

— А вдруг я сделаю что-то не то? — усомнился он.

— Это не мое дело, — отмежевался Петр Мефодиевич, вновь прикрываясь своей черной физикой с формулами. — Решай сам. «То», не «то»... Все — «то»! Всемогущество и безделье несовместимы. (Безделье — частный случай всемогущества.)

...И под чарующим дурманом личной безответственности — коли фамилий и отметок не будет — в Валерьянке зашевелилось искушение, выкинуло длинный хамелеоновский язык, излучило радугу... Где и когда же, если не здесь и сейчас?..

19). «Если нельзя, но очень хочется — то можно». Валерьянка казнил себя безнравственностью и оправдывался желанием, подозревая его у всех.

...Он правил в хрустальном дворце. Пенилось море о мраморную ступень, и шептали пальмы. Под сенью фонтанов, истому оркестра, он отведывал яств и напитков. Дворец ломился золотом, личные яхты и самолеты ждали сигнала. Толпа повиновалась движенью его бровей. Он был Султан Всего.

Султан воровато оглянулся, прикрыл тетрадь локтями и проследовал в гарем. В гареме цвели все красавицы мира, проводя время в драках за очередь на его внимание. Гарем представлял собою среднеарифметическое между спортивным лагерем «Буревестник» и римскими банями периода упадка, и упадок там был такой — кто хочешь упадет. Кинозвезды по его команде показывали такое кино, куда даже киномехаников не допускают.

Он мгновенно удовлетворял любые свои прихоти — и мгновенно удовлетворять стало нечего... Скука краслась к незадачливому султану.

— Друг мой, железный граф, — плакал он на груди Ато́са. — Я чудовище. Я погряз в пороках.

— Жизнь — обман с чарующей тоскою, — вздыхал Атос. — Вы еще молоды, и ваши горестные воспоминания успеют смениться отрадными.

— Жизнь пуста, — разбито говорил Валерьянка.

— Выпейте этого превосходного испанского вина, — меланхолично предлагал Атос.

Валерьянка запивал виски ромом, купался в шампанском и сплевывал коньяком. Крутилась рулетка, трещали карты, рассыпались кости: он сорвал все банки Монте-Карло, опустошенный Лас-Вегас играл в классики и ножички. Тьфу...

20). В каждом холодильнике отогревался водочкой Дед-Мороз с подарками. Канарейки пели строевые песни с присвистом. Животные заговорили и высказали людям все, что о них думают. Обезьяны наконец-то превратились, посредством упорного труда, в людей и влились в братскую семью народов Вселенной...

Всемогущество начало тяготить, как пресловутый чемодан без ручки: тащить тяжело, бросить жалко...

Валерьянка попробовал ввести для интереса ограничения и препятствия своим возможностям, но самообман с поддавками не прошел: преодолевать искусственные трудности, созданные себе самим, — занятие для идиотов.

— Петр Мефодиевич, а отказаться от всемогущества можно?

— Нельзя.

Учитель-мучитель... Ну, чего еще не было? Пробуксовка...

На одной планете обезьяны посадили людей в зоопарк. По будильнику кровать стряхивала спящего в холодную ванну. Ветчина охотилась на мясников. Девочки, вечно желающие быть мальчишками, стали ими — различия между мужчинами и женщинами исчезли: ну и физиономии были у некоторых, когда они обнаружили это отсутствие различий!.. Детей не будет? — зато никто не вякает, алиментов не платить, стрессов меньше; а народу и так полно.

21). Он слонялся по ночному Парижу (шпага бьет по ногам) и затевал дуэли, коротая время. Время

еле ползло. Мертвый якорь. Непобедимый бретер был прикован к всемогуществу, как каторжник к ядру. Раздраженный неодолимым грузом, он трахнул этим ядром наотмашь.

«Веселый Роджер» застил солнце, и теплые моря похолодели от ужаса: пиратский флот точил клинки. Не масштаб: Валерьянка спихнул Чингиз-хана с белой кошмы и нарек Великим Каганом себя. Пылали и рушились города, выжженная пустыня ложилась за спиной.

От его имени с деревьев падали дятлы. Он ехал на вороном, как ночь, коне, — весь в черном, с золотым мечом. При виде его люди теряли сознание, имущество и жизнь. Зловещий палач следовал за ним — Тристан-Отшельник из «Собора Парижской богородицы».

Прах и пепел. Бич народов — Валерьянка, так его и прозвали.

Черный звездолет «Хана всему» вспарывал космос, и обреченно металась на своих курортных планетах бестолковые красавцы.

22). Зачем он дал себе волю?! Может, вырвать эту страницу? Но выпадет и еще одна — из другой половины тетради: слишком заметно, и бессвязно получится...

Не видно никакого смысла в его последних действиях! Хм...

— Петр Мефодиевич... в чем смысл жизни? — решил Валерьянка.

— Сделать все, что можешь! — захохотал настырный пастырь.

Академию наук мобилизовали искать смысл жизни. Академики рвали седины, валясь с книжных гор. Пожарники заливали пеногонами дымящиеся ЭВМ. Смысл!

Творить добро? Для этого надо, во-первых, знать, что это такое, во-вторых, уметь отличать его от зла, в-третьих, — уметь вовремя остановиться. Хоть с бессмертием: чего ценить жизнь, если от нее все равно не избавишься? Или со Спартаком — а что тогда делать Гарибальди? И Возрождения не будет — чего возрож-

дать-то? Если всюду натворить добра, то в жизни не останется места подвигу, потому что подвиг — когда легче отдать жизнь, чем добиться справедливости. Исчезнет профессия героя — это не простят!

Несостоявшиеся герои всех эпох и народов гнались за Валерьянкой, потрясая мечами и оралами. Бежали полярники, тоскующие без льдов, доктора, разъяренные всеобщим здоровьем, строители, спившиеся без новостроек, — весь бессмертный безработный мир, кипящий ненавистью и местью к нему, своему благодетелю...

А навстречу неслись, смыкая окружение, спортсмены, лишённые рекордов, топыря могучие руки, и красавицы, озверевшие в гареме от одиночества.

— За что?.. — задыхался удирающий Валерьянка. — Я же вам... для вас!.. А если нечаянно... стойте — ведь есть

ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО ВСЕМОГУЩЕСТВА

Что бы ни делалось — я не виноват.

Камнем, бесчувственным камнем надо быть, чтоб сердце не разбилось людской неблагодарностью!

23). Валерьянка стал камнем.

Тверд и холоден: покой. Все нипочем. Века, тысячелетия.

Когда надоело, он пророс травинкой. Зелененькой такой, мягкой. Чуть корова не сожрала.

Фигушки! Он сам превратился в корову. Во жизнь, ноу проблем: жуй да отрывивай. Только рога и вымя мешают. И молоко, гм... доить?.. Лучше быть собакой. А если на цепь? Улетим птицей. А совы?

Утек он рекой в океан. Так прожил себе жизнью, наверное, семьсот, и...

24). — Заканчивайте, — предупредил Петр Мефодиевич. — Пора.

Ах, кончить бы чуть раньше — на том, как все было хорошо! И пихнула его нелегкая вылезти со своей готовностью: сидел бы тихо. А теперь ерунда какая-то вышла... все под конец испортил.

В тетрадке оставалась одна страница. Хоть у него почерк размашистый, но — сколько успел накатать! Наверно, потому, что не задумывался подолгу, а — без остановки.

Переписать бы... Уж снова-то он не наворотил бы этих глупостей, сначала обдумал бы как следует толком. Вообще нельзя задавать такое сочинение без подготовки. Предупредили бы заранее: обсудить, посоветоваться...

Он перелистал тетрадь в задумчивости. Словно бы раздвоился: один, единый во всех лицах, суетился в созданной им, благоустроенной до идеала (или до ошибки?) и испорченной Вселенной, а второй — как будто рассматривал некую стеклянную банку, внутри которой мельтешили все эти мошки, — эдакий аквариум, где он поставил опыт...

— Всё! — приказал Петр Мефодиевич. — Ошибки проверять не надо.

...и опыт, подошедший к концу, его удручает. И Валерьянка, повинувшись сложному искушению — подготавливаемый командой, влекомый этим последним чистым листом, втянувшийся в дело, раздосадованный напоротой чувшью: уж либо усугубить ее до конца, либо как-то перечеркнуть, и вообще — играть так уж играть, на всю катушку! — грохнул к чертям эту стеклянную банку, дурацкий аквариум, этот бестолковый созданный им мир, взорвал на фиг вдребезги. Чтоб можно было с чистой совестью считать все мыслимое сделанным, а тетрадь законченной, и следующее сочинение начать в новой.

И в этот самый миг грянул звонок.

25). Валерьянка сложил портфель и взял тетрадь. И растерялся — помертвел: тетрадь была чистой. Как...

Он только мечтал впустую!! Ничего не сделал! Лучше б хоть что-нибудь! Чего боялся?!

И увидел под партой упавшую тетрадь. Уффф... раззява. Он их просто перепутал.

— Урок окончен, — весело объявил Петр Мефодиевич, подравнивая стопку сочинений. — Обнадежен вашей старательностью.

Замешкавшийся Валерьянка сунул ему тетрадь, поспешая за всеми.

— Голубчик, — укоризненно окликнул Петр Мефодиевич, — ты собрался меня обмануть? — И показал раскрытую тетрадь: чистая...

— Я... я писал, — тупо промямлил Валерьянка, не понимая.

— Писал — или только хотел? М?

Наважденье. Сочинение покоилось в портфеле между физикой и литературой: непостижимым образом (от усталости?) он опять перепутал: сдал новую, уготованную для следующих сочинений.

— Извините, — буркнул он, — я нечаянно.

Петр Мефодиевич накрыл тетради своей книжкой и встал со стула.

Тут Валерьянка, себя не понимая (во власти мандража — не то от голода, не то от безумно кольнувшей жалости к своему чудесному миру, своей прекрасной истории и замечательной вселенной), сробел и отчаялся:

— Можно я исправлю!

— Уже нельзя, — соболезнующе сказал Петр Мефодиевич. — Времени было достаточно. Как есть — так и должно быть, — добавил он, — это ведь свободная тема.

— Какая же свободная, — закричал Валерьянка, — оно само все вышло — и неправильно! а я хочу иначе!

— Само — значит, правильно, — возразил Петр Мефодиевич. — От вас требовалось не придумать, а ответить; ты и ответил.

— Хоть конец чуть-чуть подправить!

— Конец и вовсе никак нельзя.

— А еще будем такое писать? — с надеждой спросил Валерьянка.

— Одного раза вполне достаточно, — обернулся из дверей Петр Мефодиевич. — Дважды не годится. В других классах — возможно... Ну — иди и не греши.

В раздевалке вопила куча-мала, Валерьянку съездили портфелем, и ликование выкатилось во двор, блес-

тящий лужами и набухающий почками. Гордей загнал гол малышне, Смолякова кинула бутерброд воробьям, Мороз перебежал перед троллейбусом и пошел с Лаевой.

Книжный закрывался на перерыв, но Валерьянка успел приобрести за пятьдесят семь копеек, сэкономленных на завтраках, гашеную спортивную серию кубинских марок.

— Ботинки мокрые, пальто нараспашку, — приветствовала его Зинка. — Не смей шарить в холодильнике, я грею обед!

Холодильник был набит по случаю близящегося Мая, Валерьянка сцапал холодную котлету и быстро сунул палец в банку с медом, стоящую между шоколадным тортом и ананасом.

ИСПЫТАТЕЛИ СЧАСТЬЯ

— Шайка идиотов, — кратко охарактеризовал он нас. — Почему, почему я должен долдонить вам прописные истины? — Я смешался, казнясь вопросом.

Нет занятия более скучного, чем программировать счастье. Разве только вы сверлите дырки в макаронах. Лаборатория закисала; что правда, то правда.

Но начальничек новый нам пришелся вроде одеколна в жаркое: может, и неплохо, но по отдельности.

I

Немало пробитых табель-часами дней улетело в мусорную корзину с того утра, когда Павлик-шеф торжественно оповестил от дверей:

— Жаловались, что скучно. Н-ну, молодые таланты! угадajte, что будем программировать!..

С ленцой погадали:

— Психосовместимость акванавтов...

— Параметры влажности для острова Врангеля...

— Музыкальное образование соловья. — Это Митька Ельников, наш практикант-дипломник, юморок оттачивает. Самоутверждается.

— Любовь невероломную. — А это наша Люся ресницами опахнулась.

А Олаф отмежевался:

— Я не молодой талант... — Олафу год до пенсии, и он неукоснительно боится даже от собственного отражения.

Павлик-шеф погордился выдержкой и открыл:

— Счастье. — Негромко так, веско. И паузу дал. Прониклись чтоб. Осознали.

Вот так все в жизни и случается. Обычная неуютность начала рабочего дня, серенький октябрь, мокрые плащи на вешалке, — и входит в лабораторию «свой в стельку» Павлик-шеф, шмыгает носиком: будьте любезны. Счастье программировать будем. Ясно? А что? Все сами делаем, и все не привыкнем, что есть только один способ делать дело: берем — и делаем.

Павлик же шеф принял капитанскую стойку и повелел:

— Пр-рисуаем!..

Ну, приступили: загудели и повалили в курилку: переваривать новость. Для начальства это называется: начали осваивать тему.

Эка невидаль: счастье... Тьфу... Деньги институту девать некуда. Это вам не дискретность индивидуального времени при выходе из анабиоза на границе двух гравитационных полей.

Обхихикали среди кафеля и журчания струй ту пикантную деталь, что фамилия Павлик-шефа — Бессчастный.

Потом прикинули на зуб покусать: похмыкали, побубнили...

Вдруг уже и сигареты кончились, забегали стрелять у соседей; на пальцах прикидывать стали, к чему что. Соседи же зажужжали; и весь институт зажужжал, насмешливо и завистливо. Нас заело. Мы от небрежной скромности выше ростом выправились.

Стихло быстро: работа есть работа. Мало ли кто чем занимается. Вдосталь надержавшись за припухшие от перспектив головы, всласть обсосав очередное задание кто с родными, а кто с более или менее близкими, — и вправду приступили.

— Два года сулили... я обещал — за год, — известил Павлик-шеф.

Втолковали ему, что мы не маменькины бездельники, время боится пирамид и технического прогресса, дел-то на полгода плюс месяц на оформление, ибо к тридцати надо иметь утвержденные докторские.

Ельниковы мы законопатили в библиотеку: не пугайся под ногами.

Люся распахнула ресницы, посветила зеленым светом, — и все счастье в любви и близ оной препоручили ее компетенции.

А сами, навесив табличку «Не входить! Испытания!», сдвинули столы, вытряхнули сухую вербу из кувшина, работавшего пепельницей, и (голова к голове) принялись расчленять проблему на составные части и части эти делить сообразно симпатиям.

И было нам тогда на круг, братцы, двадцать четыре года; знаменитая вторая лаборатория, блестящий выводок вундеркиндов, отлетевший цвет университета. Одному Олафу стукнуло пятьдесят девять, и он исполнил роль реликта, уравновешивая средний возраст коллектива до такого, чтоб у комиссий глаза не выпучивались.

Прошел час, и другой, — никто ничего себе брать не хочет.

— Товарищи гении, — обиделся шеф, — я эту тему зубами выгрыз!

— А, удружил... — перекорезил шкиперскую бородку Лева Маркин. — Через полгода сладим и забудем — и втягивайся в новое... Пусть бы старики из седьмой до пенсии на ней паразитировали...

— У стариков нервная система уже выплавлена... такой покой прокатают — плюй себе на солнышко да носы внукам промакивай...

— Ошипаетесь! — скрипнул Олаф. — Старики-то на излете учтут то, о чем вы и не подумаете по молодости...

Мы были храбры тогда: размашисто и прямо брались за главное, не тратя время и силы по мелочам. И поэтому, вернувшись из столовой (среда — хороший день: давали салат из огурцов и блинчики с вареньем), мы разыграли вычлененные задачи на спичках и постановили идти методом сложения плюсовых величин.

Митьку прогнали за мороженым, мы слевой за-баррикадировались справочниками, Игорь ссутулился над панелью и защелкал по клавиатуре своими граблями баскетболиста, а Олафу Павлик-шеф всучил контрольные таблицы («Ваш удел, старая гвардия... не то наши молокососы такого наплюсуют...») Сам же Павлик-шеф уместился на подоконнике и замурлыкал «Мурку»; это он называл «посообразать».

— Поехали!

Вот так мы поехали. Мы заложили нулевой цикл, и в основание его пустили здоровье («Менс сана ин корпоре сана», — одобрительно комментировал из-под вораха книг испекающийся до кондиции эрудита М. Ельников), и на него наслоили удовлетворение потребностей первого порядка. Затем выстроили куст духовных потребностей и свели на них сеть удовлетворения. Промотали спираль разнообразия. Ввели эмиссионную защиту. Прокачали ряды поправок и погрешностей.

Люся все эти дни читала «Иностранку», полировала ногти и изучала в окно вид на мокрые ленинградские крыши.

— У тебя с любовью все там, более или менее? — не выдержал Павлик-шеф.

Из индивидуального закутка за шкафом нам открылись два раскосых зеленых мерцания, и печально и насмешливо прозвенело:

— С любовью, мальчики, все чуть-чуть сложнее, чем с рациональным питанием и театральными премьерями...

И — чуть выше — на нас с сожалением и укоризной воззрились Лариса Рейснер, Марина Цветаева и Джейн Фонда: вот, мол, додумались... понимать же надо...

Павлик-шеф закрыл глаза, сдерживая порыв к уничтожению нерадивой программистки в обольстительном русалочьем обличье. Молодой отец двух детей Лева Маркин пожал плечами. Олаф скрипнул и вздохнул. Мы с Митькой Ельниковым переглянулись и хмыкнули. А Игорь с высоты своего баскетбольного роста изрек:

— Бред кошачий...

Мы встали над нашей «МГ-34», как налетчики над несгораемой кассой, и шнур тлел в динамитном патроне у каждого. Взгретая до синего каления и загнанная в угол нашей хитроумной и бессердечной казуистикой, несчастная машина к вечеру в муках сигнализировала, что да, ряд вариантов в принципе возможен почти без любви. Злой как черт Павлик-шеф остался на ночь, и к утру выжал из бездушной техники, капитулировавшей под натиском человеческого интеллекта, что ряд вариантов счастья без любви не только возможен, но даже и не совместим с ней...

И через две недели мы получили первый результат. Его можно было бы считать бешено обнадеживающим, если бы это не было много больше... Мы переглянулись с гордостью и страхом: сияющие и лучезарные острова утопий превращались в материки, реализуясь во плоти и звеня в дальние века музыкой победы... Священное сияние явственно увенчало наши взмокшие головы...

— Надеюсь, — скептически скрипнул Олаф, — что несмотря на радужные прогнозы, пенсию я все же получу.

Его чуть не убили.

— Вопрос в следующем, — шмыгнул носиком Павлик-шеф. — Вопрос в следующем: может ли быть от этого вред.

Ельников возопил. Олаф крикнул. Люся рассмеялась, рассыпала колокольчики. Игорь постучал по лбу. Лева поцокал мечтательно.

И, успокоенный гарантиями коллектива, Павлик-шеф отправился на алый ковер директорского кабинета: ходатайствовать об эксперименте.

От нас потребовали аргументированное обоснование в пяти экземплярах и через неделю разрешили дать объявление.

II

— Что лучше: несчастный, сознающий себя счастливым, или счастливый, сознающий себя несчастным?..

— А ты поди различи их...

Вслед за Павлик-шефом мы вышли на крыльцо как пророки. Толпа вспотела и замерла. В стеклянном солнце звенела последняя желтизна топольков.

— Представляешь все-таки: прочесть такое объявление... — покрутил головой Игорь. — Тут всю жизнь пересмотришь, усомнишься...

— Настоящий человек не усомнится... хотя, как знать...

— А мне, — прошептала Люся, — больше жаль тех, которые на вид счастливы... гордость...

Мы устремились меж подавшихся людей веером, как торпедный залп. Респектабельный и осанистый муж... чахлая носатая девица... резколицый парень с пустым рукавом... кто?.. рыхлая, заплаканная старуха... костыли... золотые серьги... черные очки... Лица менялись в приближении, словно таяли маски. Обращенные глаза всех цветов и разрезов кружились в калейдоскопе, и на дне каждого залегло и виляло хвостом робкое собачье выражение. Слабостная дурнота овладела мной; верят?.. последняя возможность?.. притворяются?.. урвать хотят?.. имеют право?..

Неужели мы сможем?

Пророк и маг ужаснулся своего шарлатанства. Лик истины открылся как приговор. Асфальт превратился в наждак, и ослабшие ноги не шли. Неистовство и печаль чужих надежд разрушали однозначность моего намерения.

— Вам плохо, доктор?..

...На первом этаже я заперся в туалете, курил, сморкался, плакал и шептал разные вещи... У лестницы упал и расшиб локоть — искры брызнули; странным образом удар улучшил мое настроение и немного успокоил.

В лаборатории мы мрачно уставились по сторонам и погнали Ельникова в гастроном.

Люся появилась лишь назавтра и весь день не смотрела на нас.

Подопытного привел презиравший нас старик Олаф. «Дошло, за что мы взяли сь?» — проскрипел он.

III

Это был хромой мальчик с заячьей губой и явными признаками слабоумия. Сей букет изъянов издевательски венчался горделивым именем Эльконд.

Лет Эльконду от роду было семнадцать. «Ему жить, — пояснил Олаф свой выбор. — Счастливым желательно быть с молодости...»

Мы подавили вздохи. Сентиментальность испарилась из наших молодых и здоровых душ. Это вам не рыдающая хрустальными слезами красавица на экране, не оформленное изящной эстетикой художественное горе: горе земное, жизненное — круто и грубо, с запашком не амбрэ. Наши эгоистичные гены бунтовали против такого родства, и оставалось только сознание.

Мальчик затравленно озирался, ковыряя обивку стула. Однако он знал, за чем пришел. Тряся от возбуждения головой и пуская слюни, проталкивая обкусанные слова через ужасные свои губы, он выговорил, что если мы сделаем его счастливым... обмер, растерялся, и наконец прошептал, что назовет своих детей нашими именами.

Олаф положил передо мной карточку. Он не мог иметь детей...

Каждый из нас ощутил себя значительнее Фауста, приступившего к созданию гомункулуса. Мы должны были выправить самую природу, по достоинству создав человека из попорченного его подобия.

...Сначала мы сдали его в Институт экспериментальной медицины, и они вернули нам готовый продукт в образцово-показательном состоянии. Это оказалось проще всего.

Теперь имя Эльконд по чести принадлежало юному графу. Веселый ореол здоровья играл над ним. Павлик-шеф улыбнулся; Люся подмигнула ведьминским глазом; Олаф скрипнул о лафе молодежи...

Графа препроводили в Институт экспериментального обучения, и педагоги поднатужились: мы вчистую утратили умственное превосходство над блестящей помесью физика с лириком.

Прямо в вестибюле помесь нахамила вахтеру, тут же была развернута на сто восемьдесят и загнана на дошлифовку в Институт экспериментального воспитания, открывшийся недавно и очень кстати.

И тогда мы прокрутили на него всю нашу программу и отпустили, любуясь совершенным творением рук своих, как создатель на шестой день. А Митьку Ельникова прогнали за шампанским и цветами.

И выпустили его в жизнь.

И он влетел в жизнь, как пуля в десятку, как мяч в ворота, как ракета в звездное пространство, разогнанная стартовыми ускорителями до космической скорости счастья.

Романтика и практицизм, жизненная широта и расчет сочетались в нем непостижимо. Он завербовался на стройку в Сибирь, а пока комплектовался отряд; сдал экзамены на заочные биофака и исторического. Купил флейту и самоучитель итальянского, чтоб понимать либретто опер; заодно увлекся Данте. Занялся каратэ. Помахав ему с перрона Ярославского вокзала, мы пошли избавляться от комплекса неполноценности.

...На контрольной явке на него было больно смотреть. Печать былых увечий чернела сквозь безукоризненный облик. Эльконд влюбился в замужнюю женщину — исключительно неудачно для всех троих.

— С жиру бесится, — пригорюнился Олаф, крестный отец.

А эрудит Ельников процитировал:

— «Человек, который поставит себе за правило делать то, что хочется, недолго будет хотеть то, что делает...»

Павлик-шеф сопел, коля нас свирепыми взглядами.

— Несчастливая любовь — тоже счастье, — виновато сообщила Люся.

— Вам бы такое, — соболезнующе сказал Эльконд. Люся чуть побледнела и стала пудриться.

— «Любовь — случайность в жизни, но ее удостаиваются лишь высокие души», — утешил Митька.

А Павлик-шеф схватил непутевого быка за рога: чего ты хочешь?

Увы: наше дитя хотело разрушить счастливую дотеле семью...

— «Не философы, а ловкие обманщики утверждают, что человек счастлив, когда может жить сообразно со своими желаниями: это ложно! — закричал Ельников. — Преступные желания — верх несчастья! Менее прискорбно не получить того, чего желаешь, чем достичь того, что преступно желать!»

Однако обнаружили мысли о самоубийстве...

— Да пойми, ты счастлив, осел! — рубанул Игорь. — Вспомни все!

— Нет, ты хоть понимаешь, что счастлив? — требовательно спросил Лева, выдирая торчащую от переживаний бороду.

— Что есть счастье? — глумливо отвечал неблагодарный дилетант.

— «Счастье есть удовольствие без раскаяния!» — вопил Ельников, роняя из карманов свои рукописные цитатники. — «Счастье в непрерывном познании неизвестного! и смысл жизни в том же!» «Самый счастливый человек — тот, кто дает счастье наибольшему числу людей!»

— Вряд ли раб из Утопии, обеспечивающий счастье других, счастлив сам, — учтиво и здраво возразил Эльконд.

— «Нет счастья выше, чем самопожертвование», — воздел руки Ельников жестом негодующего попа.

— Это если ты сам собой жертвуешь. Чаше-то тебя приносят в жертву, не особо спрашивая твоего согласия, а?

Ельников выдергивал закладки из книг, как шнуры из петард, и они хлопали эффектно и впустую: перед нами стоял явно несчастливый человек...

IV

«Милый мой, хороший!

Долго ли еще я буду не видеть тебя неделями, а вместо этого писать на проклятое „до востребования“... Я уже совсем устала...

Павлик-шеф выхлопотал мне выговор за срыв сроков работы всей лаборатории. А требуется от меня ни

больше ни меньше подготовить данные: как быть счастливым в любви...

А ведь легче и вернее всего быть счастливым в браке по расчету. Со сватовством, как в добрые прадедовские времена. Тогда все чувства, что держала под замком, все полнее направляются на избранника, словно вынимают заслонки из водохранилища, и набирающая силу река размывает ложе... Кто-то умный и добрый (как ты сама, пока не влюбилась) позаботится о выборе, и тогда тебе: — предвкушение — доверие — желание — близость, а уже после — узнавание — любовь. Наилучшая последовательность для заурядных душ. А я — человек совершенно заурядный.

А внешность и прочее — так относительно, правда? Лишь бы ничего отталкивающего. Я понимаю, как можно любить урод: уродство его тем дороже, что отличает единственного от всех...

Глупая?.. Знаю... Когда созреет необходимость любить — кто подвернется, с тем век и горюем. Но только — прислушайся к себе внимательно, родной, будь честен, не стыдись, — на самом первом этапе человек сознательным, волевым усилием позволяет или не позволяет себе любить. Сначала — мимолетнейшее действие — он оценит и сверит со своим идеалом. Прикинет. Это как вагон вдруг лишит инерции — тогда можно легким толчком придать ему ход, а можно подложить щепочку под колесо. Вот когда он разгонится — все, поздно.

Ах, предки были умнее нас. Когда у девушки заблестят глаза и начнутся бессонницы — надо выдавать ее замуж за подходящего парня. И с вами аналогично, мой непутевый повелитель...

И пусть сильным душам противопоказан покой в браке, необходимы страсти, активные действия... они будут ногтями рыть любимому подкоп из темницы, но неспособны к мирной идиллии... ведь таких меньшинство. Да и им иногда хочется покоя — по контрасту...

Господи, как бы я хотела хоть немножко покоя с тобой...

Твоя дура — Люська...»

И навалились мы всем гамузом на любовь.

Нельзя, твердили, ее просчитать... Отчего так уж вовсе и нельзя? Прimitивные женолюбы всех веков, малограмотные соблазнители, прекрасно владели арсеналом: заронить жалость, уколоть самолюбие, подать надежду и отказать; восхитить храбростью и красотой, притянуть своей силой, поразить исключительностью, закружить весельем, убить благородством; привязать наслаждением и страхом...

Лишенная прерогатив Люся вошла в разработку на общих основаниях. И коллективом мы споро раскрутили универсальный вариант счастливой любви, — на основании предшествующего мирового, а также личного опыта; при помощи справочников, таблиц, выкладок и замечательной универсальной машины «МГ-34».

Мы учли все. На фундаменте инстинкта продолжения рода мы возвели невиданный дворец из физической симпатии и духовного созвучия, уважения и благодарности, радужного соцветия нежных чувств и совместимости на уровне биополей; спаяли швы удовлетворением самолюбия и тщеславия, пронизали стяжками наслаждения и страсти, свинтили консоли покоя и расписали орнаменты разнообразия, инкрустировав радостью узнавания, стыдливостью и откровенностью.

Мы были молоды, и не умели работать не отлично. Нам требовалось совершенство. И мы получили его — как получаешь в молодости все, если только тебе это не кажется...

И когда в четырехтомной инструкции по подготовке данных была поставлена последняя точка, Казанова выглядел перед нами коммивояжером, а Дон Жуан — трудновоспитуемым подростком. Мы были крупнейшими в мире специалистами по любви. По рангу нам причиталось витать в облаках из роз и грез, не касаясь тротуаров подошвами недорогих туфель, купленных на зарплату младших научных сотрудников.

Институт вслух ржал и тайно бегал к нам за советами.

А мартовское солнце копило чистый жар, небесная акварель сияла в глазах, ватаги пионеров выстреливались из дверей с абордажными воплями, спекулянты драли рубли за мимозки, и коварные скамейки раскрашивали под зебр те самые парочки, уют которым предоставляли.

Но если раньше осень пахла мне грядущей весной, — теперь весна пахла осенью... На беспечных лицах ясно читались будущие морщины. И имя «Эльконд» вонзилось в совесть серебряной иглой.

Наверное, мы сделались мудрее и печальнее за эти полгода. Усталая гордость легла в нас тяжело и весомо. Хмуроваты и серы от зимних бдений, мы были готовы дать этим людям то, о чем они всегда мечтали. Счастье и любовь — каждому.

VI

Избегая огласки, мы обратились в Центральное статистическое бюро и прогнали двести тысяч карточек.

— А как меня на работе отпустят? — тревожилась Матафонова Алла Семеновна, 34 года, русская, не замужем, бухгалтер «Ленгаза», образование среднее... воробушек серый и затурканный...

— Оплатят сто процентов, как по больничному, — успокаивал я.

— Я больна? — пугалась Алла Семеновна, и на поблекшем личике дрожало подозрение, что институт-то наш — вроде онкологического.

— Вы здоровы, — ангельски сдерживался Павликшеф. — Но... — и в десятый раз внушал, что летнего отпуска она не лишится, стаж, права, положение, имущество сохранит, — а вдобавок...

— Ах, — чахло улыбнулась Алла Семеновна, уразумев, наконец. — Не для меня это все... Я ведь неудачница; уже и свыклась, что ж теперь... — рученькой махнула...

Уж эти мне сиротские улыбки ютящихся за оградой карнавала...

К Маю Алла Семеновна произвела легкий гром в родимой бухгалтерии. Зажигая конфорку, я глотал смешок над потрясенным «Ленгазом».

Возник кандидат непонятных наук со старенькой мамой (мечтавшей стать бабушкой) и новыми «Жигулями». Мил, тих, спортивен, в присутствии суженой он впадал в трепет. Грушевый зал «Метрополя» исполнился скромного и достойного духа счастливой свадьбы неюной четы. Невеста выглядела на ослепительные двадцать пять. Сослуживицы, сладко поздравляя, интересовались ее косметикой.

Развалившись вдоль резной панели, мы наслаждались триумфом, как взвод посажёных отцов. Олаф сказал речь. В рюмках забулькало. Закричали «горько!». Запахло вольницей. Нетанцующий Лев Маркин выбрыкивал «русскую» с ножом в зубах, забытым после лезгинки. Игорь «разводил клей» с джинсовой шатенкой: две модные каланчи...

В понедельник все опоздали, Игорь предъявил помаду на галстук и тени у глаз и затребовал отгул. Нет — три отгула! И все захотели по три отгула. И попросили. По пять. И нам дали. По два.

Отоспавшись и одурев от весенней свежести, кино, газет и телика, я заскучал и сел на телефон. Люся нежно звенькнула и бросила трубку. У паникующего Левы Маркина обед убежал из кастрюль, белье из стиральной машины, а жена — из дому: сдавать зачет. Мама Павлик-шефа строго проинформировала, что сын пишет статью. Олаф отпустил дочку с мужем в театр и теперь спасал посуду и мебель от внучки.

А ночью я проснулся от мысли, что хорошо бы, чтоб под боком посапывала жена — та самая, которой у меня нет. Черт его знает, куда это я распахал всех, кто хотел выйти за меня замуж...

Нет; древние были правы, когда начинающий серьезное предприятие мужчина удалялся от женщин. Не один Пушкин, «влюбляясь, был слеп и туп». Сублимация, трали-вали... Негасящийся очаг возбуждения переключается на соседние, восприимчивость нервной

системы обостряется, работоспособность увеличивается... азбука...

Но счастье, прах его... Уж так эти молодожены балдели... Собственно, был ли я-то счастлив. Неужто сапожник без сапог...

Разбудоражившись, я расхаживал, куря и корча зеркалу мужественные рожи, пока не зажгли потолок ко-
рые солнечные квадраты.

...На контрольной явке Алла Семеновна, светясь и щебеча, шушукалась с Люсей в ее закутке и рвалась извлечь из замшевой торбы «Реми Мартен». Но перед билетами на гастроли Таганки мы не устояли: нема дурных. Хотя без Высоцкого — не та уже Таганка...

Митька выразил опаску: потребительницу напро-
граммировали; однако «Ленгаз» восторгался: и всем-то она помогает, и подменяет, и исполняет, и вообще спасибо ученым, побольше бы таких.

Выдерживая срок, мы перешли к разработке поточ-
ной методики.

Новое несчастье свалилось на наши головы досроч-
но. При очередной явке в щебете счастливицы прозвучали фальшивые ноты; а шушуканья с Люсей она ук-
лонилась.

Резонируя общей нервической дрожи, Олаф ухажер-
ски принял Аллу Семеновну под локоток и увлек выгу-
ливать в мороженицу. И взамен порции ассорти и двух-
сот граммов шампанского полусладкого получил куда
менее съедобное сакраментальное признание. В его
передаче слова экс-неудачницы звучали так: «Что-то
как-то э-ммн...».

Я аж кипятком плюнул. Павлик-шеф взъярился. Лю-
ся пожалала плечиками. Игорь припечатал непечатным
словом. Измученный домашним хозяйством Леня Мар-
кин (жена сдавала сессию) зло предложил «вернуть озна-
ченную лошадь в первобытное состояние».

— Чефо ше ты, душа моя, хочешь? — со стариков-
ской грубоватостью врубил Олаф в лоб.

— Не знаю, — поникла Алла Семеновна, 34 года,
трехкомнатная квартира, машина, муж-кандидат, стар-
ший уже бухгалтер «Ленгаза» и первая оной организации

красавица. — Все хорошо... а иногда лежишь ночью, и тоска: неужели это все, за чем на свет родилась.

Хотел я спросить ядовито, разве не родилась она для счастья, как птица для полета... да глаза у нее на мокром месте поплыли...

VII

— Когда все хорошо — тоже не очень хорошо...

— Кондитер хочет соленого огурца... Сладкое при- торно...

— В развитии явление перерастает в свою проти- воположность — это вам на уроках опществоведения не задавали учить, зубрили-медалисты? — и Олаф посту- чал в переносицу прокуренным пальцем.

— Система минусов, — хищно предвкусил Павлик- шеф, вонзая окурок в переполненный вербно-совещательный кувшин. — Минусов, которые, как якоря, удерживают основную величину, чтоб она не переки- нулась со временем за грань, сама превратившись в здоровенный минус.

— Хилым и от счастья нужен отдых? — поиграл Игорь крутыми плечами, не глядя на Люсю.

— «Мужчина долго находится под впечатлением, которое он произвел на женщину», — шепнул Митька, воротя нос от его кулака.

Игору указали, как он изнемог от женских теле- фонных голосов...

— Перца им, растяпам! — сказал я. — Под хвост! Для бодрости!

— Заелись! Горчицы!

— Соли!

— Хрена в маринаде!

— Дуста! — мрачно завершил перечень разносолов Павлик-шеф.

Ельников, по молодости излишне любивший слад- кое, осведомился:

— А как будем считать пропорции? По каким таб- лицам?

И попал пальцем не в небо, и не в бровь, и даже не в глаз, а прямо в больное место. Откуда ж взяться таким таблицам-то...

Расчет ужасал трудоемкостью, как постройка пирамиды. На нашей «МГ-34» от перегрева краска заворачивалась красивыми корочками...

— Не ляпнуть бы ложку дегтя в бочку меда...

И выяснились вещи удивительные. Что прыщик на носу красавицы делает ее несчастной — хотя дурнушка может быть счастлива с полным комплектом прыщей. Что отсутствие фамилии среди премированных способно отравить счастье от труда целой жизни. Что один владелец дворца несчастлив потому, что у соседа дворец не хуже! — а другой счастлив, отдав дворец детскому саду, и в шалаше обретает сплошной рай, причем даже без милой.

Н-да; у всякого свое горе: кому суп жидок, кому жемчуг мелок.

Тупея, мы поминали древние анекдоты: что такое «кайф», о доброй и дурной вести, о несчастном, постепенно втащившем в хибару свою живность и, выгнав разом, почувствовавшем себя счастливым...

Один минус мог свести на нет все плюсы, в то время как сто минусов каким-то непросчитываемым образом нейтрализовывали один другой и практически не меняли картину пресыщения...

Мы тонули в относительности задачи, не находя точку привязки...

VIII

Мы раскопали безропотного лаборанта словарного кабинета, упоенно забаррикадировавшегося от действительности приключенческой литературой, и сделали из него классного зверобоя на Командорских островах. Лаборант-зверобой забрасывал нас геройскими фотографиями, которые годились иллюстрировать Майн-Рида, а потом затосковал о тихом домашнем очаге.

Хочешь — имеешь: получиай очаг. Думаете, он успокоился? Сейчас. Захотел обратно на Командоры, а через месяц вернулся к упомянутому очагу и попытался запить, красочно повествуя соседям о тоске дальних странствий и клянча трешки. Паршивец, тебе же все дали! Ну, от запоя-то его мигом излечили...

— Лесоруб канадский! — ругался Игорь. — В лесу — о бабах, с бабами — о лесе!..

Пробовали и обратный вариант: нашли неустроенного, немолодого уже мужика, всю жизнь пахавшего сезонником по Северам и Востокам, с геологами и строителями, и поселили в Ленинграде, со всеми делами. Через полгода у него обнаружился туберкулез, и он слал нам открытки из крымского санатория...

IX

— Великий человек — это тот, кто нанес значительные изменения на лицо мира, — изрек Митька и в третий раз набухал сахару, поганец, вместо того чтоб один раз размешать. — Тот, чья судьба пришлась на острие истории.

Мы гоняли чай ночью у меня на кухне.

— Независимо от того, хороши они или плохи? — хмыкнул я.

— Независимо, — поелозил Митька на табуреточке. — Главное — велики. Хороши, дурны, — это относительно: точки зрения со временем меняются, а великие личности остаются!

— Хм?..

— Если считать создание и уничтожение города равновеликими действиями с противоположным знаком, то ведь сжечь сто городов легче, чем построить один. На этом стоит слава завоевателей.

Смотри. Наполеон: полтора века притча во языцех. Результат: смерть, огонь, выкошенное поколение, заторможенная культура, европейская реакция... ну, известно.

Отчего же ветеран молится на портрет императора и плачет, вспоминая былые битвы — когда одни парни резали других неизвестно во имя чего, вместо того чтоб любить девчонок, рожать детей, разминать в пальцах ком весенней пашни, понял, — он разволновался, стал заикаться, возвысил штиль, — вместо того, чтоб плясать и пить на майских лужайках, беречь старость родителей... эх...

— Вера в свою миссию, — я сполоснул пепельницу, прикурил от горелки. — Величие Франции, мораль, иллюзии, пропаганда.

— Величие империи стоит на костях и нищете подданных! — закричал Митька, и снизу забарабанили по трубе отопления: час ночи. — Знаме-ена, побе-еды... Чувствуй: ноги твои сбиты в кровь, плечи растерты ремнями выкладки, глотка — пыль и перхоть, и вместо завтрашнего обеда имеешь шанс на штык в брюхо; и мечты твои — солдатские: поспать-пожрать, выпить, бабу, и домой бы. «Миссия...»

— А сунь его домой — и слезы: «Былые походы, простреленный флаг, и сам я — отважный и юный...»

— Дальше. Великий завоеватель не может стабилизировать империю: империя по природе своей существует только в динамическом равновесии центробежных и центростремительных сил. Преобладание центростремительных — завоевания, со временем же и с расширением объема начинают преобладать центробежные: развал. Один из законов империи — взаимное натравливание народов: ослабляя и отвлекая их, это одновременно создает сдерживающие силы сцепления, но готовит подрыв целостности и развал в будущем! Почему Наполеон, умен и образован, с во-семьсот девятого года ощущавший обреченность затеи, не ограничился сильной Францией и выгодным миром?

— Преобладание центростремительных сил, — сказал я. — Завоеватель, мечтающий о спокойствии империи, неизбежно ввязывается в бесконечную цепь превентивных войн: любой неслабый сосед рассматривается как потенциальный враг. А с расширением границ

увеличивается число соседей. В идеале любая империя испытывает два противоположных стремления: сделаться единой мировой державой и рассыпаться на куски. При чем тут счастье, Митька?

— При слезах ветеранов этих братоубийственных походов.

— Насыщенность жизни, сила ощущений... тоска по молодости... что пройдет, то будет мило... Вообще хорошо там, где нас нет...

— Вот так америки и открывали, где нас не было! — взъярился Митька, и снизу снова забарабанили. — Чего ржешь, обалдуй! Если люди, вспоминая, тоскуют, — есть тут рациональное зерно, стоит копнуть на предмет счастья!

— Вот спасибо, — удивился я. — Ни боев, ни смертей, ни походов нам, знаешь, нэ трэба. Не те времена. И не ори!

— А какие сейчас, по-твоему, времена?

— Время разобраться со счастьем. Потому что некуда откладывать.

— Всю историю, фактически, с ним ведь только и разбирались!

— Да не ори ты! Много с чем разбирались. И разобрались. Человек мечтал о ковре-самолете — и получил. Мечтал о звездах — и получил. Равенство. Радио. Мечтал о счастье — и время получить.

— В погоне за счастьем человек всегда совершает круг. Обычно это круг длиною в жизнь, — сказал Митька грустно.

Но тогда я его не понял.

Х

Чем менее счастлив человек, тем больше он знает о счастье. Мы знали о счастье все. А система наша разваливалась, фактически не родившись, а только так, будучи объявленной.

Вечером я заперся в лаборатории и стал выкраивать из системы монопрограмму. Мне требовалось счастье

в работе. Да; так. Перейдя в иное качество, мы откроем для себя то, чего не видим сейчас.

По склейкам и накладкам обнаружилось, что не я первый. Я не удивился; я выругал себя за медлительность и трусость...

...Уплыл по Неве ладожский лед; сдавали экзамены, загорали на Петропавловке, уезжали на целину; отцвели сиренью на Васильевском, отзвенели гитарами белые ночи. Растаяло изумление: ничто, абсолютно ничто во мне после накладки программы не изменилось. Лишь боязнь покраснеть под долгим взглядом: мы не могли сознаться друг другу в нашем контрабандном и несуществующем счастье, как в некоем тайном пороке.

Нас прогнали в отпуск (всех — в августе!) и выдали к нему по пять дополнительных дней; но это был не отпуск, а какая-то испытательская командировка. Я лично провел его в библиотеках и поликлиниках: кончилось переутомлением и диагнозом «гастрит», гадость мелкая неприличная. И теперь, презирая свое отражение в зеркале шкафа, я вместо утренней сигареты пил кефир.

— Счастье труда, — остервенело сказал Лева Маркин, — это чувство, которое испытывает поэт, глядя, как рабочие строят плотину! — В бороде его, как предательский уголок белого флага, вспыхнула элегантная седая прядь.

Люся, вернувшаяся в сентябре похудевшая и незагорелая, с расширенными глазами, даже не улыбнулась. Зато Игорь, после спортивного лагеря какой-то тупой и нацепивший значок мастера спорта, гоготал до икоты.

Более прочих преуспел Митька Ельников: он не написал диплом, был с позором отчислен с пятого курса, оказался на военкоматовской комиссии слеп как кувалда, устроился к нам на полставки лаборантом (больше места не дали), вздел очки в тонкой «разночинской» оправе — сквозь кои нам же теперь и соболезновал, как интеллектуальным уродам, не читавшим Лао Цзы и Секста Эмпирика.

А вот Олаф — молодец: утянул брюшко в серый стильный костюм, запустил седые полубачки, завел перстень и ни гу-гу про пенсию.

В октябре сравнялся год наших мук, и мы не выдали программу. Нам отмерили еще год — на удивление легко. «Предостерегали вас умные люди — не зарывайтесь, — попенял директор Павлик-шефу. — Теперь планы корректировать... А на попятный нельзя — не впустую же все... Да и — не позволят уже нам... Ну, смотрите; снова весь сектор без премии оставите». Павлик-шеф произнес безумные клятвы и вернулся к нам от злости вовсе тонок и заострен как спица.

И поняли мы, что тема — гробовая. Пустышка. Подкидыш. И ждут от нас только, чтоб в процессе поиска выдали, как водится, нестандартные решения по смежным или вовсе неожиданным проблемам.

С настроением на нуле, мы валяли ваньку: кофе, журналы, шахматы... к первым числам лепя тусклые отчеты о якобы деятельности.

И когда вконец забуксовали и зацвели плесенью, Люся вдруг засветилась неземным сиянием и пригласила всех на свадьбу.

Но никакой свадьбы не состоялось. За два дня до назначенного сочетания Люся ушла на больничный, и появилась уже погасшая, чужая.

И понеслось. Развал.

— Ребята, — жалко улыбался Игорь на своей от-вальной, — такое дело... сборная — это ведь сборная... зимой в Испанию... «Реал»... судьба ведь... — и нерешительно двигал поднятым стаканом.

— Спортсмен, — выплеснули ему презрение. — Лавры и мавры... изящная жизнь и громкая слава...

— Что слава, — потел и тосковал Игорь. — Сборы, лагеря, режим, две тренировки в день... себе не принадлежишь... А как тридцать — начинай жизнь сначала, рядовым инженером, переростком. Судьба!..

— Не хнычь, — сказал я. — Хоть людей за зарплату развлекать будешь. А что мы тут штаны за зарплату просиживаем без толку.

— Шли открытки и телеграммы, старик!

Вместо Игоря нам никого не дали. Место сократили. Лаборатория прослыла неперспективной. Навис слух о расформировании.

В конце зимы — пустой, со свечением фонарей на слякотных улицах, — от нас ушел Павлик-шеф. Его брали в докторантуру. И ладно.

Безмерное равнодушие овладело нами.

XI

В качестве начальника нас наградили «свежаком».

«Свежак» — специалист, данным вопросом не занимавшийся и, значит, считается, не впавший в гипноз выработанных трафаретов. В идеале тут требуется полный нонконформист. В просторечии такого именуют нахлом. Он должен хотеть перевернуть мир, имея точкой опоры собственную голову. Поэтому голова, как правило, в шишках размерами от крупного до очень крупного.

Если у человека есть звезда — его звездой была комета с хвостом скандальной славы. Неудачник без степеней, пару институтов вывел к свету, но самому под этим светом места не хватило, как водится; а пару ликвидировал, что положения его также не упрочило. Нам его подкинули из Приморья: генеральную тему приютившего самоподрывника института он вывернул таким боком, что Министерство закрыло институт прежде, чем Академия наук раскрыла рты.

Решили, хихикнула Динка-секретарша, что нам он не навредит...

Забрезжило: свежак закроет тему, и заживем мы по-прежнему...

Свежак был подтянут, собран и стремителен. Молча оглядев нас пустыми глазами, он вернулся с графином и тряпкой: чисто протер пустой стол, стул, телефон. Ветер развеялся за ним. Ветер пах утюгом, одеколоном «Эллада» и органическим отсутствием сомнений в безграничности его возможностей. Затем он тронул русский прибор, подтянул тонко вывязанный галстук и погру-

зился в чтение машинного журнала. Звали свежака старинным и кратким именем Карп.

— Пр-риказываю сделать открытие, — передразнил Лева в курилке.

— Матрос-гастролер, — скрипнул Олаф. — Я уше стар для суеты...

То был последний перекур. На столах нас встретили стандартные стеклянные пепельницы. Угрозы коменданта здания Карпа явно не интересовали.

— Курить здесь. — Он отпустил нам взглядом порцию холодного омерзения, опорожняя вербно-окурочный кувшин в корзину.

— Ты взглядом сваи никогда не забивал? — восхитился Митька.

— «Вы», — бесстрастно сказал Карп. — Приступить к работе.

И тоном дежурного по кораблю бурбона-старшины предложил «разгрести свинюшник» и представить личные отчеты за полтора года.

Мы написали отчеты. И он их прочел. И сообщил свое мнение.

— Шайка идиотов, — охарактеризовал он нас всех кратко.

XII

— Сократ, если Платон не наврал от почтения, имел неосторожность выразиться: «Я решил посвятить оставшуюся жизнь выяснению одного вопроса: почему люди, зная, как должно поступать хорошо, поступают все же плохо...».

Карп сунул руки в карманы безукоризненных брюк и качнулся с носков на пятки. Подзаправившись информацией, наш чрезвычайный руководитель с лету заехал под колючую проволоку преград и опрокинул проблему с ног на уши:

— Почему люди, зная, что и как нужно им для счастья, сплошь и рядом поступают так, чтоб быть несчастливы? Решение здесь. И?

Вам виднее, товарищ начальник, выразили наши взгляды...

— Представление о счастье у каждого свое, — жал Карп, — ладно. Но отчего порой отказываются от своего именно счастья; и добро бы жертвуя во имя высших целей — нет же! неизвестно с чего! наущение лукавого? как с высоты вниз шагнуть манит, что ли?

Охмуренный стальным командиром Митька запел согласие, приводя рассказ Грина, где новобрачный скрывается со своей счастливой свадьбой, следуя неясному импульсу, и т. д. А Карп прицельно извлек из книжного завала в углу черный том и прочеканил:

— «Томас Хадсон лежал в темноте и думал, отчего это все счастливые люди так непереносимо скучны, а люди по-настоящему хорошие и интересные умудряются вконец испортить жизнь не только себе, но и всем близким».

И мы как под горку покатались считать и пересчитывать. Искаженные судьбы и разбитые мечты вырастали в курган, и прах надежд веял над ним погребальным туманом. Мы прикасались к шемящей остроте странных воспоминаний о том, чего не было, и манящий зов неизвестного терзал наш слух и отравлял сердце.

Барахтаясь в философско-психологическом мраке субъективизма и релятивизма, мы изнемогали: в чем проклятое преимущество несчастья перед счастьем, если в здравом рассудке и трезвой памяти люди меняли одно на другое?..

Ахинея!! — старательно ведя себя за шиворот по пути несчастий, люди не прекращали тосковать о счастье! не успевало же оно подкатиться — раздраженно отпинывали и, тотчас заскорбев об утраченном, двигались дальше!

— О, тупой род хомо кретинос! — рвал Лева взмокшую бороду.

А Митька, кое-как собрав в портрет искаженное непосильным умственным усилием лицо, выпаливал:

— В законодательном порядке! паршивцы! приказ! мы тут мучайся, а они нос воротят! выпендриваются! а потом жалуются еще!

— Да-да-да, — подтвердил Карп при общем веселье. — «Команде водку пить — и веселиться!» Дура лэкс, сэд лэкс: будь счастлив!

Он щелкнул пальцами, Митька виновато поежился, выхватил из кармана бумажку и торжествующе зачел:

«Так что же заставляет нас вновь и вновь возвращаться сердцем в те часы на грани смерти, когда раскаленный воздух пустыни иссушал наши глотки и песок жег ноги, а мечтой грезился след каравана, означавший воду и жизнь?..»

XIII

— Мерзавцы, Люсенька, — как, впрочем, и стервы, — самый полезный в любви народ... Вы рассыпаете пудру... Судите: они потому и пользуются большим успехом, чем добропорядочные граждане, что являются объектами направленных на них максимальных ощущений. Они «душевно недоставаемы» — души-то там может и вовсе не быть, достаточна малая ее имитация. Но поведением то и дело играют доступность: мол вот-вот — и я всей душой, не говоря о теле, буду принадлежать только тебе. Обладать таким человеком — как достичь горизонта. Потребители! — они потребляют другого, и этот другой развивает предельную мощь душевных усилий, чтоб наконец удовлетворить любимого, счастливо успокоиться в долгожданном равновесии с ним. Они натягивают все душевные силы любящего до предела, недостижимого с иным партнером, добрым и честным.

Кроме того, они попирают мораль, что неосознанно воспринимается как признак силы: он противопоставляет себя обычаям общества!

Они — как бы зеркальный вариант: зеркало отразит вам именно то, что вы сами изобразите, но за холодной поверхностью нет ничего... Продувая мундштук папиросы, держите ее за другой конец, табак вылетит... Но именно в этом зеркале душа познает себя и делается такой, какой ей суждено сделаться, какой тре-

буется некоей вашей глубинной, внутренней сущностью, чтоб силы жизни ее явили себя, а не продремали втуне...

Конечно, если человек теряет голову — то не все ли равно, сколько там было мозгов... Опыт полезен вот чем: да, интеллект составляет к пятнадцати годам — но ведь способность решать задачи — это прежде всего способность правильно их ставить. Нет?

XIV

«Жизнь может рассматриваться как сумма ощущений (ибо ощущение первично). Они могут вызываться раздражителями первого и второго порядков: внешнее, физическое действие, и внутреннее — через мышление, воспоминания, чтение и т. п.

Самореализация — культивированный инстинкт жизни, т. е. активности, действий, мыслей, событий; в известном плане — максимальное стремление ощущать. Стремление к полноте жизни.

Счастье — категория состояния. Возникает при адекватном соответствии всех внешних условий, обстоятельств, факторов нашим *истинным* душевным запросам, потребностям.

Полнота жизни может быть уподоблена графику в прямоугольной системе координат, где горизонтальная ось (однонаправленная от нуля и конечная) — время, а вертикальная (продолжающаяся неопределенно-длительно) — напряжение человеческой энергии, или ощущения, или эмоции (вверх от нуля положительные, вниз — отрицательные). Чем больше длина ломаной линии, состоящей из точек напряжения во все моменты времени — тем более реализованы возможности центральной нервной системы, тем более полна жизнь. Максимальные размахи в обе стороны от оси времени соответствуют максимальной полноте жизни.

Стремление к страданию объясняется потребностью в самореализации, необходимостью силь-

ных ощущений. Статичность ситуации — даже еще в перспективе — неизбежно снижает уровень ощущения. Когда душа не может иметь сильных ощущений в верхней половине «+», она ищет их в нижней половине «-». Сильная душа неизбежно стремится к такой ситуации, где получит максимальные ощущения, и выходит из нее или вследствие ослабления ощущений, или уже под диктат инстинкта самосохранения, дабы сохранить себя для дальнейших ощущений, с тем чтобы сумма их в результате была максимальной в течение жизни.

Счастье и страдание различны по знаку, но идентичны по абсолютной величине. Упомянутый график не плоскостной: ось ощущений искривлена по окружности перпендикулярно оси времени, и в неопределенном удалении половины «+» и «-» соединяются в единое целое. То есть имеется как бы цилиндр, где предельные отметки счастья и страдания лежат в близкой, взаимопроникающей и даже одной области.

Человек подобен турбине, как бы пропускающей через себя некую рассеянную в пространстве энергию. Мощная турбина захиреет на малых оборотах, слабая — искрошится на больших. Сильная душа жадна до жизни — ей нужен весь цилиндр целиком. Для нее более смысла в сильном страдании, нежели в слабом счастье...»

Дальше шли расчеты.

— Тавтология, — ошетинился Лева. — Счастье — это счастье, а страдание — это тоже счастье... Эх, термины...

— Кого возлюбят боги, тому они даруют много счастья и много страдания, — проскрипел Олаф и кивнул.

— «Для счастья нужно столько же счастья, сколько несчастья», — провещал Митька Ельников, оракул наш самоходный, став в позу.

Рукопись Карп переправил из больницы. С разбирательства пред начальством он вернулся темен лицом, выпил графин воды, выкурил пачку «Беломора»; а на вид такой здоровый мужик.

XV

Монтажников нам не дали. И отерочек не дали. А в случае срыва пообещали распустить.

Чуть пораньше бы — распустились с радостью. Но сейчас... Словно ветер удачи зашекотал наши ноздри — неверный, дальний...

Грянули черные будни. Самосильно, под дирижирование Карпа, мы сооружали установку с голографической камерой, действующую модель его «цилиндра счастья».

В чаду паяльников, прожигая штаны и заляпываясь трансформаторным маслом, мы спотыкались средихлама. Лева хвастал спертými у юных техников ферритовыми пластинами. Люся прибыла с махновского налета на радиозавод, раздутая от добра, как суслик. Мы шатались по корпусу, подметая что плохо лежит; канючили намотку и транзисторы, эпоксидку и лампы. Сблизились с жуками из приемки старых телевизоров. Люсин серебряный браслет пошел на припой. Карп экспроприировал у Олафа «до победы» золотые запонки, и знакомый ювелир протянул из них роскошную проволоку. Дома, обнаружив пропажу, подняли хай: дочь в панике выпытывала по телефону, не пьет ли Олаф и не завел ли молодую любовницу; а если нет, то почему он так хорошо выглядит и так поздно приходит. В ответ рассерженный Олаф вообще остался ночевать на работе.

Оргстекло, явно казенное, я купил у столяра Казанского собора.

Всех превзошел, опять же, Митька Ельников: он устроился по совместительству в ночную охрану, и прознай начальство об его партизанских рейдах по лабораториям экспериментаторов и внутреннему складу — не миновать Митьке счастья труда подале-посеверней.

XVI

Настал день.

Конструкция громоздилась, зияя незакрашенными швами, пестрея изолентой: рабочая модель... Зайчики

текли по стеклу голографической камеры. Наш облезлый друг «МГ-34» в присоединении к ней выглядел насекомым, высосанным раскидистым паразитом.

Мы курили на столах, сдвинутых в один угол: все, что ли? или еще какие гадости предстоят?

— Поехали, — сказал Карп.

Вот так мы поехали.

Митька мекнул, высморкался, махнул рукой, нога об ногу снял кроссовки и полез через трансформаторы и емкости в рабочее кресло, стыдясь драного носка. Мы слевой обсаживали его ветвистой порослью датчиков и подводили экраны. Олаф с Люсей на четвереньках ползали по расстеленной схеме, проверяя наши манипуляции.

— От винта. — Карп возложил руки на клавиши. В чреве монстра загудело; замигали панели. Передо мной стояла Люся и бессмысленно обламывала ногти.

— Сейчас дым пойдет, — бодро просипел Митька.

Карп, поджав губу, крутил верньеры.

Камера светилась. Зеленоватый прозрачный цилиндр, расчерченный координатной сеткой, проявился в ней.

Ждали — гласа господня из терновой кушины.

Ломаная малиновая линия легла на цилиндре густо, как гребенка. Митька выдохнул и глупейше распялил рот. Работающая приставкой «МГ-34» пискнула, на ее табло вермишелью покрутились цифры и остановились: 0,927.

— Так, — сказал Карп. Этот человек не умел удивляться.

За него удивились мы. Прокол, начальничек. Чтоб лоботряс-Митька оказался, выходит, счастлив на девяносто три процента!..

— Надо же... А по виду и не скажешь...

— Следующий? — бесстрастно произнес Карп.

Люся отвердела лицом и ступила на подножку. Мы подступили с датчиками. Возникла заминка. Она взглянула вопросительно — и рассмеялась, — прежним ведьминским смехом, пробирающим до истомы...

0,96 условного оптимума было у Люси.

И она заревела — детски икая и хлюпая носом. Не умею передать, но какой-то это был светлый плач. И доплакав, стала прямо юной.

— Следующий.

Олаф: 0,941.

Лева: 0,930.

— Почему же у меня меньше? — убежденно сказал он. — Не. Не-не.

— Потому, — назидательно курлыкнул Олаф. — Когда дочек своих выдашь замуж, тогда узнаешь, почему.

А я сказал то, что подумал:

— Халтура.

В ответ Карп поволок меня жесткой лапой за плечо: мы извлекли с улицы преуспевающего джентльмена, по ходу объясняя на пальцах.

0,311 — равнодушно высветило табло.

Переглянувшись — мы высыпали на облаву за следующими жертвами.

Диапазон был охвачен: от 0,979 у закрученной матери четырех детей до 0,027 у чада высокопоставленного отца, коий полагал себя счастливым, как сыр в масле, и высокомерно пожал плечами...

Мне выдало 0,928. Хм. И ничего я такого не испытывал.

Карп вытер белейшим платком лицо и руки и сел последним.

Ломаная, нервная линия легла густо, как нить на катушку. Предостерегающе запищало, замигало, дрогнуло. «1,000».

— Э-э, ты ее по себе сварганил, — разочарованно протянул Лева.

— Ну, вот и все, — опустошенно сказал Карп, не отвечая.

Вылез. Прошелся. Глянул в окно. Сел. Закинул на стол ноги в сияющих туфлях. Выудил последнюю «беломорину» и смял пачку.

— А теперь останется только вводить поправки при наложении программы, — пустил колечко. — Индивидуальное определение режима и загрузки нервной системы мы получили. Нагрузки надо давать на незагру-

женные участки, напрягая их до оптимума. Качество нагрузок варьируемо, они сравнительно заменяемы; всех мелочей не учтешь, да и ни к чему... Ведь личность изменяется, в процессе деятельности приспособливая себя к тому, что имеет. Нет? Ромео можно было подставить вместо Джульетты другую... Нет?.. Эх...

— А как же... мы? — не выдержал я, кивнув на табло.

— Не жирно ли нам? — поддержал Лева Маркин.

— «Мы», — усмехнулся Карп. — Мы работаем. Плохо живем, что ли?

Он грустнел. Тускнел. Отчетливей проступало, как он уже немолод, за сорок, наверное, и хоть и здоровый на вид мужик, а выглядит погано: тени у глаз... одутловатость...

— Ах, ребятки-ребятки, — он раздавил окурок и встал. — От каждого по способностям, каждому по потребностям, — великий принцип. Вот на него мы и работаем. Как можем.

XVII

— Шо вы хотите, — сказал завкардиологией добрым украинским голосом. — Нельзя ему было так работать; знал он это. Полгода не прошло, как от нас вышел. Гипертония, волнения, никакого режима. Взморье бы, сосновый воздух, физические нагрузки, нормальный образ жизни. Эмоций поменьше. Болезни лекарствами не лечатся, дорогие мои... жить надо правильно...

Вошла сестра с серпантинном кардиограмм, и мы поднялись.

— Живи так, как учишь других, и будешь счастлив, — прошептал у дверей Митька стеклянному шкафчику с медицинской дребеденью, и я оглянулся на усталого доктора, вряд ли живущего так, как полезно для здоровья...

А первый инфаркт у Карпа случился в тридцать один год; тогда ему зарубили кандидатскую, зато позже

на ней вырос грибной куст докторских в том институте, который он поставил на ноги.

Потом был морг. Потом кладбище. Потом мы вернулись в лабораторию.

XVIII

К нам возвратился Павлик-шеф — уже защитивший докторскую и ждущий утверждения в ВАКе. Он посвежел, помолодел, поправился и снова говорил, что ему двадцать девять лет, и он самый молодой доктор наук в институте.

Мы спокойно раскручивали методику и оформляли диссертации. Все постепенно вставало на свои места — будто ничего и не было... Пошли премии. Пошел шум. Павлик-шефу утвердили докторскую, он выступал на симпозиумах и привозил сувениры со знаменитых перекрестков мира.

Над столом у него висит фотокопия графика Карпа: малиновая ломаная кривая, густо, как нитка катушку, оплетающая зеленоватый сетчатый цилиндр.

XIX

— Слушай, — спросил Митька, — ну, пойдет наша программа... а потом?

Митька после сдачи программы тоже стал кандидатом, сразу, — Павлик-шеф позаботился, все устроил, из ученого совета сами провернули насчет диплома; даже перепечатывала оформленные бумажки машинистка из нашего машбюро. Митька принялся буйно лысеть и до безобразия уподобился доценту из дурной кинокомедии.

Мы сидели у меня на кухне, и белые ночи буйствовали за открытым окном над ленинградскими крышами, и словно не было всех этих лет...

— Слушай, — повторил Митька, — что дальше будет?..

— Лауреатами станем, — мрачно сказал я. — Золотыми памятниками почтят. Чего тебе еще?..

— Нет, — сказал Митька, кладя в стакан восьмую ложку сахара, паршивец. — Ну, начнут все жить в полную силу. Все. А что из этого выйдет? В мире, на Земле? А? Ты думал?

— Многие думали, — успокоил я. — В общем, должно выйти то, что все будет хорошо, как давно бы уже полагалось. Да; а что?

— А я думаю, — сказал Митька, — что выйдет то же самое, что и так вышло бы, только быстрее.

Снизу забарабанили по трубе. Глаза у меня слипались.

— Это уже следующая история, — примирительно сказал я.

А он сказал:

— История-то у нас, браток, одна на всех... Прав был Карп.

Но тогда я его не понял.

РАЗБИВАТЕЛЬ СЕРДЕЦ

1

— А я говорю — полюбит она тебя как милая, никуда не денется.

— Не верю я в это... Нет во мне чего-то, что нравится женщинам.

— Характера в тебе нет.

— А, знаешь... Посмотришь на себя в зеркало, плюнешь, — кому такой нужен...

— Ладно. Буду тобой руководить. От тебя ничего не потребуется — только беспрекословно и точно выполнять мои указания. И ни шагу в сторону — хоть сдохни! Понял?

Летний пейзаж летел за окном вагона. Два холостяка ехали в отпуск на юг.

2

Пожелтевшая страница из общей тетради в клеточку — юношеского дневника. Неустоявшийся, старательно-твердый почерк:

«Как добиться *любимой* женщины.

1. Всегда держать себя в руках, иначе крышка. Думать, что делаешь.

2. Быть не таким, как все. Выделяться, поражать воображение, иметь какое-то особое качество.

3. Изучить все ее сильные и слабые стороны — чтоб уметь на них играть.

4. Научиться видеть себя и ее — ее глазами.

5. Уметь льстить, уметь вызывать жалость.

6. Пока она не стала полностью твоей, ни в коем случае не давать ей почувствовать всей силы своей любви: она должна быть постоянно неуверена, что ты не уйдешь в любой момент.

7. Поставить себя существом высшего порядка.

8. Берегись чувства принуждения, зависимости, обязанности по отношению к себе: человеку свойственно стремиться к свободе — в данном случае это свобода распоряжаться собой. А потому она может стремиться избавиться от тебя — даже если ты „лучший из всех“ и очень нравишься ей.

9. Умей создать ситуацию и обстановку.

10. Умей ждать случай — и пользоваться им.

11. Никогда ничего не проси: должна захотеть сама.

12. Делай меньше подарков: не обязывать ее ничем.

13. Никогда не отказывайся ни от чего, что она хочет сделать для тебя. Любят тех, для кого что-то делают, а не наоборот. Она должна реализовать в тебе свои собственные хорошие стороны — и привязаться к тебе поэтому.

14. Помни: основной рычаг — самолюбие, основное средство — боль, основной прием — контрасты в обращении.

15. Умей сказать «нет» и уйти. Этим никогда ничего сразу не кончается. Откажись от малого сейчас, чтоб получить все позднее.

16. Старайся придумывать и не лгать — но никогда не открывай лжи: это может иметь самые скорбные последствия.

17. Добивайся всего — но не смей травмировать ее душу. Не избегай любых средств. Не принимай во внимание сопротивление.

18. Обрети культуру секса — как захочешь. Иначе окажется мерзость вместо обещанного блаженства.

19. Давай поводы для ревности — но чтоб они не подтвердились.

20. Умей показать ей свое презрение.

21. Не торопи события.

22. Разумеется, выжми все из внешности, одежды, речи.

23: Перечитывай постоянно:

Стендаль, «Красное и черное»,
«О любви».

Лермонтов, «Герой нашего времени».

Пруст, «Любовь Свана».

Гамсун, «Пан»...

— А где ты взял в те времена Пруста?

— Рыковские переводы тридцать четвертого года.

— Однако... Смешно, но не лишено... Это все откуда? Или ты сам придумал?

— Обижаешь, шеф. Что ж я тупой, по-твоему?

— И давно? Сколько тебе лет тогда было?

— Двадцать, милый друг. Двадцать...

— Однако... А где же юношеский романтизм, чистый идеализм, возвышенное благородство?..

— Волной смыло.

— Какой волной?

— Волной слез в отчаянных трагедиях юности. Бери кошелек, пошли обедать.

3

Стучат колеса, проходит официантка, звякают фужеры на столике.

— Почему все-таки любовь так редко бывает взаимна?..

— Огласите, пожалуйста, весь список. Я вам отвечу на все вопросы сразу, мой любознательный друг.

— И самое дикое: почему так часто любят полнейших ничтожеств, предпочитая их людям замечательным, красивым, достойным и любящим вдобавок? По-

чему жена красавца-графа сбегает с пьяницей-директором собачьего цирка?..

— И очень просто... Давай возьмем еще по бифштексу? Да-да, и бутылочку во-он того нам, пожалуйста! Так о чем ты? Ага.

Потому что глупые люди вроде тебя вечно допускают в своих умственных поисках роковую ошибку: обладание чем-то путают с наслаждением от этого обладания. А любовь, милый, — это чувство, как-никак, — оно живет внутри человека, оно субъективно.

Есть у меня один приятель: красивый, здоровый, зарабатывающий, непьющий, над женой трясется, по дому все делает сам — а она выкобенивается, черт-те когда является домой и вечно еще закатывает ему сцены. А сама! — ни рожи, ни души: отошальный гренадер после самовольной отлучки. И все знакомые ломают голову: ну чего он с ней живет и мучится, с крокодиллом, на него масса красивых баб заглядывается?

Отвечаю: значит, он с ней имеет такие условия жизни, которые требуются его душе. Он-то думает, что в неге и покое был бы счастлив. Глупости! Он бы с массой других обрел куда больше неги и покоя. Значит, на самом-то деле он этого не хочет в глубине души, в самой-самой глубине, куда даже сам не заглянешь. Человек страстей жаждет, а не благополучия, другая ему все дома сделает и приласкает — а эта его до того доводит, что он тарелку в телевизор швыряет! За то и любит: страсть она ему внушает.

— Ха-ха-ха! Кхх... пкхе... Ох, подавишься с тобой.

— Не переживай, от этого все давятся. Так вот: когда один из двоих сильно любит, другому уже неинтересно: ему нечего хотеть, что пожелай — тут же и получит. А где же страсти, препятствия, метания души? Зато у первого страстей — сколько влезет: как ни переживай, все равно не получаешь того, что хочешь, и от этого хочешь еще сильнее, потому что цель в принципе-то достижима и кажется возможной. И вдобавок любит он тут не реального человека с массой неприятных черт, а выдуманного — такого, какого ему в душе и надо.

— Короче, пожени спокойно Ромео и Джульетту — и никаких страстей не будет?

— Примитивно, но в общем верно.

— Ты что, хочешь сказать — «Нет в жизни счастья»?

— Есть... Довольно редко, как известно. А чтоб надолго — и того реже. Человек от добра добра ищет, и ему то и дело худо кажется добром. Уметь удерживать счастье — хитрое дело.

Здесь есть вот какие «крючья» для удержания:

Психологи ставили опыт на щенках. С первой группой обращались ласково, со второй — грубо, с третьей — то ласково, то грубо. Спрашивается: какая группа сильнее всего привязалась к исследователям? Ответ: третья. Чувства которой швыряло из воды да в полымя. Одно по контрасту с другим куда как сильно воспринималось.

Вывод: если ты не сумеешь заставить женщину плакать — будешь плакать сам. Не бойся делать больно — так надо. Почему женщина в общем любит сильнее, чем мужчина? Потому что любовь для нее начинается болью, когда она становится женщиной, и кончается болью, когда она рождает ребенка. На два эти пика и натянут канат ее счастья, которое граничит с болью. Это — природа, а против природы не попрешь. Официант, это чай или кофе? Вы в нем что, половую тряпку полоскали?

4

О, юг!.. О, Черное море!.. Достаточно сказать это, чтоб остальное возникло перед взором само — полный курортный набор: солнце, тепло, лазурный прибой, пальмы, загорелые тела, отчаянно смелые купальники, и звездные вечера в стрекоте цикад, и гуляние по набережным, и музыка танцплощадок... все это так известно, что говорить решительно излишне, сплошные штампы и общие места — но все равно приятно отдохнуть на море.

И прохаживаются пары, и отношения их как правило несложны и весьма сходны, и не льются слезы при расставании навсегда, хотя всяко бывает, всяко бывает, верно?..

Пролетел месяц, пролетел. Пожалуйте возвращаться в обычную колею, к дому и работе. Да и надоел уже этот юг, скучно тут.

А подробности — подробности у каждого свои. Не в них дело.

5

И вот первый из двух наших приятелей. Бедный заморыш стал буквально выше ростом, загар благообразит его, и вообще появилась в нем не то чтобы уверенность, но некое раздражающее нахальство и самомнение. И провожает его на вокзале роскошная женщина, и смотрит на него влажными собачьими глазами, и удивляются тихо окружающие дисгармоничности этих отношений: неказист повелитель, в чем тут дело?

А дело просто... Он полагал, что ему с ней все равно не светит, такая красавица, и чувствам воли не давал — не надеялся. И показывал пренебрежение. И был спокоен — не терял головы. И молот языком умно и даже интересно. И красивой женщине, конечно, захотелось капельку пококетничать и мимолетно проверить свою власть над сильным полом. И никакой власти не оказалось. И в ее самолюбии появилась щербинка, и за эту щербинку зацепилась нить чувств и стала разматываться.

Да-да, пушкинское «чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей».

Он привлек ее внимание: он вел себя необычно. Он внушил некоторое уважение: ему было плевать на ее чары. Он уязвил: явно не стоил ее — и однако пренебрегал ею. Красивую женщину заело.

Он заранее замкнул свою душу, боясь поражения и не желая боли. И эта душа, к которой ей было не

прикоснуться, сделалась для нее загадочной. Стала манить. И она сама придумала, какая это душа. И придумала, понятно, так, как ей хотелось бы!

Он расчетливо дразнил ее, как бы тая в жаре ее чувства — и тут же обдавая холодом. Она начала страдать. Красивые и сильные мужчины, веселые развлечения — перестали интересовать ее. Она ощутила боль — еще не понимая, что это боль вошедшего в нее крючка, о которой она сама рвется.

Она гордо переносила эту боль — но он тут же делался ласков и покорен, она торжествовала было победу, покой, удовлетворение и была краткое время благодарна ему за избавление от этой боли, — но он тут же дергал крючок вновь, осаживая ее, уязвлял, унижал пренебрежением, — и все повторялось сначала, только все сильнее и сильнее с каждым днем.

Ее губило то, что она недооценила противника в этой любовной борьбе. Его спасло то, что он с самого начала был готов к проигрышу в любой момент, и чувства его оставались в покое. Она пыталась бороться, привязываясь к нему все более; и не могла подозревать, что ночь, утро и те редкие дни, когда он намеренно не виделся с нею, он посвящал разбору событий и выработке планов на ближайшее будущее — с холодной головой, упиваясь только своим успехом, — и под руководством «опытного тренера» — своего приятеля, потертого жизнью ловеласа, которого, казалось, вся эта история страшно забавляет.

Какая жалкая пародия на Печорина и иже с ним!

День за днем он методично и расчетливо сокрушал и гнул ее волю. Она начала плакать. Его рука поднималась на нее. Ему понравилось ее мучить — он уважал себя за власть над ней.

Он стал для нее единственным мужчиной в мире. Ведь ничего подобного она в жизни не испытывала, и только читала о таких терзаниях — и таком счастье, которым было временное избавление от этих терзаний.

Она оставалась для него лишь удовлетворением тщеславия и чувственности. Как только он замечал в себе росток любви к ней — он торопливо и старатель-

но затапывал его: он полагал, что она охладет к нему в тот самый миг, когда уверится и успокоится в его любви.

Она стояла у вагона — предельно несчастная сейчас, предельно счастливая в те минуты и часы, когда «все было хорошо»: она любила его.

Поезд тронулся. Он лег на верхнюю полку в купе и стал смотреть в потолок.

Он спрашивал себя, любит ли ее, и оказывалось, что он этого не знает, пожалуй нет. Он спрашивал себя, счастлив ли, и на этот вопрос тоже не мог ответить; но, во всяком случае, лучше ему никогда не было и, надо полагать, не будет.

Он остановился на той мысли, что если она приедет к нему (как и будет, видимо), он продолжит «дрессировку» и, пожалуй, женится на ней. И вот тогда можно будет позволить себе временами действительно расслабляться и любить ее. «Но вожжи не опускать?» — заключил он свои размышления, закрыл глаза и стал дремать.

Засыпая, он успел в который раз подумать, какой молодец его умный и опытный друг и какой молодец он сам.

Его друг, его наставник и покровитель, теоретик и донжуан, лежал на нижней полке и задыхался от презрения и ненависти к нему.

6

«Она даже не пришла проводить меня... Я должен был нарваться. Я сам устроил себе это истязание. Не с тобой же мне равняться, ничтожный сопляк, поганая козявка, самодовольный червяк. У, засопел, паразит.

Бедная девочка, дура. Зачем я все это устроил? Впрочем, она счастлива.

Моя была лучше. Надо покантоваться столько, сколько я, чтоб понять, что такое настоящая женщина. Я проиграл.

Когда я проиграл ее? Наверняка, в тот самый миг, когда раскрылся.

А когда полюбил? Тогда же, наверное.

Она сидела в полумраке, такая милая, доверчивая, незащитная. И мне не было ни интересно, ни хорошо. Я знал наизусть, что будет дальше, и знал свою власть, и читал все варианты, как в шахматах. И знал, что все будет так, как я захочу, и знал, что будет через полчаса, и утром, и через неделю... и всего этого мне было мало. Ну, одной больше... толку-то.

Она была в моих руках, и я знал, как она будет любить меня, какой станет верной и привязчивой, как будет сносить мою небрежность, будет счастливой и тихо смирившейся... Ну а я-то сам, что я получу — еще одну замену тому, чего у меня нет, еще одну нелюбимую женщину?..

И я захотел быть счастливым — наперекор всему, всем победам и потерям, всей судьбе, наперекор паутине, наросшей на сердце, и неверию в счастье для себя когда-либо: я захотел любить. Потому что ничего не стоило добиться ее любви — но я уже не верил в возможность полюбить самому.

Неужели я это еще могу? Да ведь могу. Вот что во мне тогда поднялось.

И это ощущение — что у меня может быть не женщина, а любимая женщина — понесло меня, как полет в детском сне, как волна в стену, и я уже знал, что сейчас со звоном вмажусь в эту стену, — буду любить, и буду счастлив, и буду живой — а не разочарованный герой юнцов и дам.

И я открыл рот, чтоб сказать ей все — хотя это было еще неправдой, было только предчувствие, сознание возможности всего, — а когда все слова были сказаны, они оказались уже правдой. Почти правдой...

И все те первые дни я раскалывал свою душу, как орех об камни, чтоб освободить то, что в ней было замуровано и забыто. Я выражался, как щенок, и чувствовал себя щенком. Я в изумлении спрашивал себя — неужели я и впрямь это чувствую? И отвечал: вот да — ведь правда.

Как я был счастлив, что люблю. Как радовался ей. Как поражался, что это возможно для меня: любить и

быть любимым, не скрывать своих чувств — и получать то же в ответ.

Все у нас было в унисон. Единственный раз в моей жизни. Мы сходили с ума друг по другу — и не скрывали этого, и были счастливы.

Я открывал в ней недостатки — и умилялся им: на черта мне победительница конкурса красоты — а вот эта самая обычная, но моя, и я с ней счастлив, и никакой другой не надо.

„Ты казался волком, — сказала она, — а оказался ручным псом, который несет в зубах свой ошейник и виляет хвостом“. И я радовался, что сумел стать ее ручным псом, безмозглый идиот.

Это такое счастье — быть ручным псом в тех руках, которые любишь и которым веришь.

А потом — потом все пошло как обычно...

Я сорвался с цепи и вываливал на нее все свои чувства — без меры. Ей нечего было желать — я опрометью выполнял и вилял хвостом. Она стала властна надо мной — я сам так захотел: мне ее власть была сладка, а ей — переставала быть интересна.

Для меня происшедшее было невероятным — для нее нет. Я не мог опомниться — она опомнилась первой. Я не хотел опомниться — а она побаивалась меня, побаивалась оказаться от меня в зависимости.

Она стала утверждать свою власть надо мной — и я рьяно помогал ей в этом, ничего не видя и не понимая: я был пьян в дым невероятной взаимностью нашего чувства.

И оказалось, что для меня нет ничего, кроме нее, зато для нее есть весьма много вещей на свете, кроме меня, который все равно никуда не денется.

Вот тут я и задержался. До меня все еще не доходило, что все уже не так, как в первые дни.

„Ты делаешь ошибку за ошибкой“, — заметила она. Бог мой, какие ошибки, я не желал обдумывать ничего, я летел, как через речные пороги, и радовался, что способен на это...

„А вот конец, хоть не трагичный, но досадный: какой-то грек нашел Кассандрову обитель, и начал...“ М-да.

Милая, хорошая, дурочка, что ж ты наделала.

Неужели же невозможно, чтобы — оба, сильно, друг друга, без борьбы, без тактики, без уловок — открыто, счастливо?..»

— Что-то ты кислый какой-то, — приветливо сказал меньшей друг, свешивая выпавшееся лицо с верхней полки.

— А ведь засвечу я тебе сейчас по харе, — сдавленно сказал больший друг. — Вали-ка в другое купе от греха, поменяйся. — И выходит в тамбур..

Там он долго курит, мрачно гоня счастливые воспоминания, которые еще слишком свежи и причиняют слишком много боли. Потом уплывает в иллюзии, что еще случится чудо и все устроится хорошо.

— Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...

— Слушай, ты старше меня на девять лет... когда-то я подражал тебе... скажи, что же: это неизбежно? не бывает, чтобы — вместе?

— Эк тебя прихватило. Что же — всерьез?

— Похоже... И на старуху бывает проруха.

— Я такой же глупый, как все прочие. Но думается мне, коли уж ты пришел за жисть толковать, что ты не прав... Не прав.

— В чем?

— В том, что когда король Лир отказывается от власти, он не вправе рассчитывать на королевскую жизнь. Благ без обязанностей не бывает. И в любви тоже.

Женщина не может главенствовать в любви. И не хочет. И не должна. И не будет. Ты это знаешь?

— Знаю. Но я не хочу главенства, я хочу, чтоб это было само, естественно, взаимно, друг другу, понимаешь?

— Не нужна корона — катись из дворца в бродяги. Властвовать — это тяжкий труд. К этому тоже надо иметь вкус, силы, способности. Тебе тридцать лет — неужели таких простых вещей не знаешь?

— А тебе сорок — и счастлив ты с этим своим знанием?

— Настолько, насколько это вообще возможно. До тебя не доходит, что ли: женщина рождает детей и го-

товит еду — мужчина эту еду добывает и защищает семью. Дело мужчины — подчинять, дело женщины — подчиняться, и счастье каждого — в этом. Ты хотел хотеть того, что она хочет. А должен ты был хотеть, чтоб она хотела того, что ты хочешь. Люби как душу, трясись как грушу, — и вся народная мудрость, бесконечно правая.

Да хоть ты застрелись из-за нее — но веди себя как мужчина, а не как раб.

— Но ведь я же хотел — для нее все!..

— Значит, ей нужно было не это, а? Я тебя понимаю: подчиняться легче, чем подчинять.

— Мне плюнуть раз было ее подчинить. Но тогда бы для меня все исчезло. Не нужно стало бы.

— Вот тут ты и не прав. Настрой у тебя неправильный. Чувствуешь неправильно. Не по-мужски.

— Ты циник.

— А ты лопух. В отношении к женщине всегда должно быть что-то от отношения к ребенку: иногда и запретить, и наказать, — но для ее же блага. Из любви к ребенку не делают же его повелителем в доме? Это современная эмансипация все поставила с ног на голову: и женщины мужественные, и мужчины женственные, полный кавардак и неумеренные претензии. Доставай из холодильника, там еще есть.

...И наш герой через ночной город долго бредет пешком к себе домой, что-то шепча, сморкаясь, отирая слезы, и все пытается сообразить, как же это он умудрился превратиться из Дон-Жуана в Вертера, беспрекословно согласного на все ради счастья увидеть ее еще раз.

Наутро он чувствует в себе достаточно сил, чтобы написать ей гордое прощальное письмо, но через неделю решает, что может еще раз съездить в город, где она живет: в его власти не ездить, но такое счастье увидеть ее еще раз... это ничего не изменит, но хоть еще раз увидеть.

ШАМАН

Заблудиться в тайге — страшновато.

Не летом, когда тайга прокормит — а на исходе листопада, когда прихватывают ночные заморозки: жухнет бархатом палая листва, опускается инеем, и прозрачный воздух проткан морозными иголками.

До ближайшего жилья — километров двести, да знать бы, в какую сторону. А ружья у меня не было.

Мыл я в то лето золотишко с артелью старателей. Не слишком удачно.

И схватился с напарником. И не надо бы — «закон — тайга»... Вот в этой тайге я один и остался.

Поначалу дело было обычное.

Ручей, стывший и темный, растекся на два рукава. Идти следовало налево, где рукав огибал взгорок — под слоем листвы и мха явно каменистый.

Он сказал: направо.

За четыре месяца в тайге, командой в семь человек, на крутой работе — нервы сдают.

Мы сорвали глотки, выложив друг другу все, что о другом думали, но драки не было. Двое в тайге, нож у каждого, — если хочешь быть жив, не трогай другого.

Мы разошлись. Золота налево не было. С закочевенными в мытье шлихов руками я вернулся к развилке. Он не пришел.

Зажигалка была полна бензина, я провел ночь у костра. А под утро зарядил дождь, заштриховал все серой сетью.

И тогда я сделал ошибку. Решил вернуться в лагерь. Сидел бы на месте — ребята раньше или позже пришли бы. У меня оставалось еще по банке тушенки и сгущенки, десяток сухарей и в коробочке леденцов — леска и крючки. И три пачки сигарет да две чаю. Держаться можно долго.

Но я пошел, и где-то свернул не там. И, на беду, попал то ли на трассу геодезического хода, то ли еще что — и потерял наши затесы.

К вечеру я понял, что сбился с пути и не знаю, как выбираться: солнце пряталось глубоко за серой хмарью, и я перестал представлять, в какой стороне ручей, в какой — лагерь; а компас остался у него.

С восходом я влез на сосну повыше и увидел только «зеленое море тайги».

Еще двое суток я палил костер на поляне, подбрасывая весь день в дымокур сырой мох и листву — авось заметят дым: до лагеря было по прямой километров тридцать.

А на четвертый день решил держать на запад — вниз от водораздела: раньше или позже набреду на ручей или речушку, пойду по течению, а когда вода позволит — слажу плот и спущусь на плаву. Пока не наткнусь на людей, — уж какое-нибудь поселение обязательно будет.

В рассказе этом — ни капли выдумки, все правда, и чтоб вам такой правды ввек не испытать.

У меня были карандаш и разрезанная пополам тетрадка — для снятия кроков, и я стал вести календарь: на всякий случай.

На шестой день у меня оставалось пачка сигарет и чуток чаю.

На восьмой — поймал в силок из лески рябчика: разложил петлю на упавшем сухом стволе и насыпал брусники. Я изжарил его на прутике и подумал, что все в порядке: выберусь. Если б еще ружье да пару пачек патронов, то и вовсе нормально было бы.

Вообще мне было стыдно, что я заблудился, и злился я на себя здорово. Правда, я не таежник, вырос в степи, а тайга новичков не любит, — да кто их любит? Ну и шел бы себе за тем, кто знает тайгу.

Я продирался через завалы, обходил бочаги и рисовал себе сладкие картины, как встречу этого паразита в городе и тут уж изменю его внешность в соответствии со своим вкусом, отведаю душу.

Чайник и топор остались у него; а я теперь собирал сухостой и ломал сучья, вместо того чтоб швырнуть в огонь два ствола целиком и сдвигать всю ночь. Перед сном отгребал жар в сторону, прогретое костровище застилал нарезанным лапником, снимал ватник и укрывался им («Спишь одетый — холодно, снял и укрылся — тепло»). Утром вздувал тлевшие под пеплом головешки, снова сушил портянки и подсыревший от росы ватник, кипятил воду в жестянке из-под сгущенки, закрашивал ее парой чаинок, выкуривал одну сигарету и трогался.

Сыроежки я набирал в карманы, а бруснику в свою баночку, и съедал на привалах в середине дня и вечером. Несколько раз находил сморчки, но их приходилось варить часа два, крупные приходилось кипятить по частям, сколько в баночке поместится; однажды я варил их всю ночь, потом проспал полдня, и подумал, что время дороже.

Хуже всего, что с голоду я сильно мерз.

На тринадцатый день я подумал, что хорошо вот в мороз — заснул себе и никаких проблем. После чего сел, закурил внеочередную сигарету из последних и устроил суд над собой: уколол руку ножом и на крови и стали поклялся, что выйду и выживу. Детский романтизм, вы скажете, но поставьте себя на мое место: вполне пахнет ханой, надо же чем угодно поддерживать дух.

На семнадцатый день ночью выпал снег, и я понял, что дело-то хреново: рукавиц у меня не было. Я стал готовиться к зиме.

Отрезал по локоть рукава свитера, вынул из шапки иголку с ниткой и зашил их с одной стороны. К трусам вместо вынутой резинки приспособил тесемку из оторванного подола рубахи, а резинку пристроил на

свободные концы шерстяных мешочков — получилось вроде рукавиц без пальцев. Обмылком и песком старательно выстирал в бочажке белье и портянки: пропотевшее и засаленное хуже греет.

Стирая, я устал; накатывала дурнота, слабо и часто трепыхалось сердце, холодный пот прошиб: я понял, что здорово ослабел.

Снег выпадал еще два раза — и стаивал. Везло мне. Если снег прочно ляжет раньше, чем я выйду к воде, то — крышка: реки встанут льдом, и недалеко я по этому льду уйду....

На двадцать второй день я полдня пёр по болоту, если только экономную вялую походь можно назвать «пёр». И подморозил ноги. Выйдя на сухое, сразу разложил костер и долго растирал их, но стали побаливать и опухать. Суставы ныли. Вставать утром было больно: затекали локти, колени, поясница, пальцы. Я кряхтел, подстанывал, кипятил пихтовые иголки, проверял, все ли на месте, и трогался.

Утром первые полчаса идти было очень трудно. Хотелось лечь и послать все к чертям. Внутри противно дрожало, кружилась голова. Каждый шаг доставался через силу. Потом становилось легче, тело разогревалось, притуплялась боль, и я старался как можно ровнее, без ускорений и остановок, идти до вечера.

Ватник превратился в лохмотья; борода отросла и стала курчавиться. Через завалы я уже не лез, а обходил их, тщательно выбирая под ноги ровное место, чтоб не споткнуться и не тратить лишних сил.

Ручей я увидел на двадцать седьмой день — настоящий, большой ручей, который впадает где-то в реку, текущую к океану. Я б, наверно, заплакал от радости и гордости, если б не так выложился. А тут просто стоял, держась за сосенку, и смотрел.

Я развел костер, сел и выкурил предпоследнюю сигарету, оставленную на «День воды». Последняя лежала на «День жилья».

Пальцы слушались плохо, почти не чувствовали, и крючок к леске не привязывался никак. Я затянул узел зубами. Наживкой примотал красную шерстинку свитера.

Я задремал, и чуть не свалился в воду, когда дернуло леску, намотанную на палец. Хариус был чуть больше авторучки. Меня затрясло, очень хотелось съесть его сырым. Но я почистил его и поджарил на огне, а из потрохов и головы сварил суп в банке и тоже съел.

Больше не клевало. Я отдохнул и подумал, что все в порядке. Что всегда был вынослив и живуч, что каждый день кипятил хвойный отвар и кровь из десен не идет, что река — она прокормит и выведет, а река — где-то уже недалеко.

По топкому берегу ручья чавкало подо мхом, надо было заботиться не отморозить ноги.

Назавтра ручей перешел в какую-то бочажку, а бочажка растеклась в болотце.

Надо было б вернуться, попробовать наловить рыбы, сделать шалаш, передохнуть, — но зима подпирала. «Держи на запад!» — как приказывали старые парусные лодии в проливе Дрейка. Что бы ни было — держи на запад.

Я держал на запад.

Со мной повторялась история, известная мне по книгам. Я вырезал палку и опирался на нее, потому что ноги неожиданно подламывались или не могли подняться, чтобы перешагнуть упавший ствол. Потом сделал другую палку, удобнее: метра два длиной, с сучком на уровне груди. Ее можно было нажимать под мышку, как костыль, а перелезая через завал, упирать в землю и, перехватывая повыше, слегка подтягивать тело вверх на руках.

По утрам легкие трещали от кашля, как вощанка, вязкая мокрота залепляла грудь. Ноги опухли уже сильно, и я надрезал на подъеме головки сапог, иначе они не натягивались. После того как я провалился в обморок, долго и тщетно сиюсь натянуть правый сапог, я перестал разуваться: лучше идти в мокрой обуви, чем босиком.

Во рту был такой вкус, будто я изгрыз пузырек с одеколоном и закусил шерстью.

Ходьба превратилась в тупое механическое действие, выматывающее, но такое же естественное и необходимое, как дыхание. Я уже больше ни о чем не думал, не

строил планов, не имел желаний. Жил, дышал и шел, стараясь не забыть только одно: нельзя потерять зажигалку, там еще есть бензин, это — огонь и жизнь. Я знал, что иду к реке, знал, кто я, где, и что со мной случилось, но уже ничего не воспринимал: иногда понимал, что упал и лежу уже довольно давно, иногда — что ничего не видно, следовательно это ночь, и надо остановиться и лечь поспать, иногда — что красное на руке, вероятно, кровь, и, значит, то ощущение, которое было какое-то время назад — это сучок расцарапал лицо.

Черная река дымилась среди снежных лесистых берегов, и белые мухи кружились и сеялись над ней под ровным серым небом. Я помнил, что мне нужна была река, но не мог вспомнить, зачем. Река выглядела бесполезно. Это было препятствие, и через него нельзя перейти. Это какой-то конец пути... это хорошо, но чем? меня здесь никто не ждет. Я испугался паутинных обрывков мыслей и занялся костром и кипятком. Привычное занятие вернуло меня к действительности. Тонкие буравчики нарывов по всему телу мешали двигаться. Двигаться! По реке. Плыть.

Плот мне было не сладить. Сил не осталось. Без топора? А как двигать бревна? Они тяжелые, это работа, калории, а калорий нет, не хватает даже на передвижение собственного тела. Я понимал краем сознания, что с соображением у меня что-то неладно, и пытался рассуждать как мог строго логически.

Строго логически я перебрал варианты и пошел берегом вниз по течению. Река — течение — люди — жизнь — цель; такую цепь мне удалось выстроить в своих рассуждениях.

Вечером я упал рядом с костерком и не смог встать. Надо было отдохнуть и набраться для этого сил. Набираясь сил, лучше всего лежать и дремать. Снег пушистый, это теплоизоляция, если он укроет сверху — это только лучше, теплее. Костер в это время не нужен, напрасная трата сил, он только снег растопит, и станет холоднее, а так он вроде гаснет — а становится теплей, идиот я, что раньше не понял такой простой вещи и тратил зря столько сил...

...Я понял, что замерзаю, что это — конец, и изо всех слабых сил сознания раздул черную искорку ужаса смерти... Спокойно спать в тепле, так хорошо, тихо, отдохнуть, без боли, это же так хорошо, самое лучшее...

Это было как вынырнуть с того света. Я орал, как в кошмаре, помогая себе проснуться и встать. Искал нож — уколоть руку, но ножа не было. Я встал на четвереньки, схватил снег зубами, проглотил...

Сова ухала в заснеженном лесу, и луна стояла над черной рекой. Я вздул угли костра и вскипятил воду. Последняя сигарета была очень крепкой, бодрила, возбуждала, от нее подташнивало, но и тошнота ощущалась как полнота жизни. Я очень боялся заснуть. До света кипятил воду и пил.

Вылезло косматое солнце, зацвенькала в лесу птица, сучья трещали в бледном пламени, было тепло у огня, я забросил леску, поймал двух гольянчиков, опустил на пару секунд в кипяток, чтоб они прогрелись и тепла, энергии в организм поступило больше, поел и пошел.

Меня окликнули. На воде у берега качалась большая лодка, а в ней — весь наш класс. Ждали меня одного, чтоб плыть на тот берег за цветами. Я сказал, что мне нужно переодеться, но они закричали, замахали руками, и я побежал к ним.

Я пришел в себя на берегу, лежа в снегу, с разбитым о камень лицом: упал и потерял сознание.

Был поворот реки, и за ним должен был открыться дом, и из трубы дым. И я дошел до поворота, хотя ноги уже не помещались в сапогах, это понималось по боли, но снять сапоги было невозможно, а срезать нечем — нож потерялся.

Но за поворотом была опять белая равнина и черная лента реки, я шел дальше, ковылял, тащился, падал и вставал, был еще поворот, и я попытался сообразить, это первый поворот или нет, потому что за вторым должен быть дом, и дым из трубы.

Зажигалки не было, я не мог разложить костер, а нет костра — значит, день не кончен, значит, это все продолжается один день, значит — надо идти.

Я чувствовал, что жизни мне отмерено до поворота, и подавлял в себе желание остановиться, чтоб жизнь продолжалась, а то поворот — и все... я уже соображал только то, что незачем тратить силы на удержание равновесия, я шел на четвереньках, и это было быстрее и легче.

Потом я уже вообще ничего не понимал, но, видимо, двигался.

И был звук. Второй. Хлопок. Резкий крепкий хлопок. Выстрел. Отчетливый выстрел охотничьего ружья. Громкий тугой удар из широкого гладкого ствола расшиб морозный воздух.

Я вскинулся и заорал. Вернее: дернулся и заскулил. Подтянул под себя руки и ноги и снова пошел на четвереньках.

Я шел в бреду, тайга и снег мешались с теплой ванной, жареным мясом и музыкой, теплое зимовье стояло на крымском берегу, в черной реке плавали загорелые девушки, а я шел на твердых ногах и все мог, потому что был жив.

Ватная вертикаль в серое небо.

Дым.

Настоящий.

Я захрипел и стал переставлять все четыре конечности в маршевом, как мне казалось, ритме. Я про себя кричал военные марши, походные песни и просто какой-то ритм, пожестче, потверже. Могал головой и выдыхал в такт каждому движению, мычал и стонал.

Это была избушка.

Дыма над ней не было, а небо было зеленым и красным, потому что на самом деле наступило уже утро следующего дня.

Залаяла собака.

Собака была маленькая и черная. Лайка. На крыльце.

Поленица дров у стены под навесом, и перевернутая лодка на берегу, привязанная к дереву.

Собака лаяла.

На крыльцо вышел человек.

Он смотрел на меня.

Человек.

Я встал на ноги и спокойно сказал ему:

— Привет.

И не понял, что за хрип послышался рядом с моей головой, на снегу, со стороны.

Тут земля меня нокаутировала. И, ткнувшись лицом в снег, я успел подумать, что если мираж, значит — все.

— Пей, пожалуйста...

Я был дома, на кровати, в странном сне. Добрая рука поддерживала под затылок. Я проглотил что-то жгучее, потом что-то теплое и сладкое, и полетел, поплыл в ласковую пустоту.

— Не говори. Потом. Окрепнешь, поправишься — тогда разговаривать будем. Кушай суп.

Из ложки лилось в рот, я глотал что-то, разливающееся внутри болезненным теплом, приятной тяжестью, — и снова летел в пустоту. Сладко было в последний миг сознания свободно разрешать себе лететь в нее, зная, что это можно и даже хорошо, что не надо ни о чем заботиться, мою жизнь кто-то держит в добрых и надежных руках.

— Восемь дней лежал. Про город разговаривал. Теперь все хорошо. Поправишься, в свой город поедешь.

Тикал будильник, бесконечность тиканья времени была прекрасна, восхитительна, хотелось плакать и смеяться.

Странная это была избушка. Книги теснились на самодельных полках, еловая лапа зеленела под портретом Че Гевары — вырезанной откуда-то репродукцией. А на двери был гиперреалистически выписан урбанистический пейзаж.

Я поправлялся. Возвращался в жизнь, как выныривал из теплой водной толщи. Черные корки отваливались с лица.

Хозяин нагрел воды и выкупал меня в корыте. Я выпил полкружки водки и уснул. Теплый сон растопил слезы моей ослабевшей души.

Краткое солнце зажигало наледь окон; косые кресты рам ложились на скобленные половицы. Хозяин сбрасывал заиндевевшие поленья; булькал чай, скреблась в сенах лайка.

Он снимал расsverленный карабин и уходил на лыжах экономным шагом таежника. Легкая черная лайка бежала рядом по насту.

Я подметал жильё, мыл посуду, курил и снимал книги с полок — ложился отдыхать. Японский транзистор тихо гремел музыкой большого мира.

Он поил меня бульонами, ухой, ягодными киселями и отварами трав.

Хотел бы я когда-нибудь рассчитаться со всеми, кто помог мне выжить.

Как? Чем?.. Я — не врач, не солдат, не строитель и не хлебороб...

Я мог подолгу сидеть и стоять. Кашель не раздирает меня, и табак сделался вновь приятен. Блаженство жить усиливалось.

Мы коротали вечера разговорами. Латунные блики керосиновой лампы перебегали по бисеру и бляшкам мехового убора на стене. Силы жизни возвращались: я скрывал любопытство.

Я рассказал свою историю. Хозяин кивнул своим лицом идола — скуластой маской темного дерева. Латунный блик был как обруч на черных гладких волосах. В узких черных глазах ровно и глубоко отсвечивали огоньки.

— Много таких дураков, как я? — Я хотел подольститься.

— Лучшие и худшие из людей такие, как ты.

— Почему лучшие — и худшие?

— Это одно и то же.

Он говорил ровно, с паузами, прижимая огонек трубки тонким пальцем с плоским нежным ногтем.

Его звали Мулка. Отец его отца был шаманом нганасан — маленького лесного народа, таежного племе-

ни. Одежда и бубен шамана висели на стене, конопаченной мхом.

Внук шамана учился в Красноярске, Москве и Ташкенте. Знал английский, узбекский и фарси. Русский язык его рассуждений был изыскан и богат. Его речь была речью образованного человека. Более образованного, чем я.

— Я хотел стать Учителем. — Он произнес это слово с большой буквы. — Но если чего-то хочешь, надо остановиться вовремя. Я хотел знать все, и я не остановился вовремя. Теперь я не могу быть никем. Потому что я понял Жизнь. — Это слово он тоже произнес с большой буквы.

Энциклопедия Гегеля стояла между Платоном и Спенсером на основной полке. Раз в три года Мулка, сдав белок и соболей, путешествовал к московским букинистам.

— Почему ты не живешь со своим народом?

— Я желаю ему счастья.

— Ты принесешь ему знание.

— Мой дед был шаман. Пусть злой груз останется на моих плечах. Это справедливо.

Станный хозяин странной избушки жил отшельником. Он не хотел вернуться к людям своей крови, чтоб не отравить их своим знанием; он не хотел жить в большом городе большой жизнью, считая своим долгом делить нелегкую жизнь своего народа. Я уважал его, не понимая.

Мы философствовали. Куда мне было до него. Северного идола с сальными черными волосами и речью античного философа.

Он проводит меня до точки промысловика: шестьдесят километров. Вызовут вертолет или «аннушку». Я предвкушал встречи в Ленинграде. Гордость круто соленым ломтем настоящей жизни. Время набрасывало счастливый флёр на пережитое.

Любопытство снедало меня. Хозяин, сальноволосый северный идол, был непроницаем, заботлив, ро-

вен. В прощальный вечер он выставил бутылку спирта. Лайка в сених грызла кости обглоданного нами глухаря.

— Ты дашь клятву, что никто не узнает того, что ты услышишь. Я не должен говорить тебе этого. Но я тоже человек. Я слаб тщеславию. А ты умен и образован, ты, быть может, сумеешь понять меня.

Я подлец. Он спас мне жизнь, но я не сдержал данной ему клятвы.

Путь человека есть путь знания.

Я клялся жизнью своего народа.

— У тебя было все, о чем мечтает большинство, — так начал Мулка, книгочей и внук шамана, свою недлинную речь.

— Ты молод, красив, здоров, образован. Твоя красивая жена любила тебя и была хорошей женой. У тебя была карьера, хорошая зарплата, дом в Ленинграде, друзья и уважение людей. Ты был счастлив, скажут люди. Нет, скажешь ты.

Так сказал Мулка, и это была правда.

— Ты упорно строил здание счастья, но тебе стало неинтересно в нем жить. Твоя жизнь определилась и пошла по течению, и ощущение живой жизни, ее полноты, остроты — ослабло. Тебе стало неинтересно. Ценное перестало быть ценным. И ты бросил все.

Человеку свойственно бросать все, чего он добивался как счастья. Человеку всегда мало, он ненасытен по природе своей. Идеал принципиально недостижим. Это первое, — сказал Мулка.

— Второе, — сказал он. — Обратись к своей памяти. Уже сейчас пережитые трудности дороги тебе. Воспоминания ясно показывают, что для человека главное в жизни. Солнечное утро после дождливой ночи, закат над рекой — что в них? а несколько таких картин человек помнит всю жизнь как высшее счастье. Счастье бытия, единения с миром и вселенной.

А дальше — воспоминания о взлетах духа в больших радостях, хотя поводы к ним бывают мелки: подарок в детстве, новая вещь, верность друга в тяжелую минуту.

За ними — воспоминания о том, что мучит память и не прощается себе. О холодке грехов. О первом познании женщины и высшем наслаждении ею. О тяжчайших испытаниях и опасностях.

А годы работы, учебы, важных дел — могут выпасть из памяти почти целиком: ничто в них глубоко не затронуло чувства.

— Третье, — продолжал Мулка. — Чем это объясняется? Тем, что воспоминания субъективны: не то помнится, что рассудок считает важным, а то, что нервная система ощущает сильно. Память хранит не общепринятые ценности, а сильные ощущения.

Жизнь для человека — субъективно — это сумма ощущений. Потребность насытиться ими, а не накопить придуманные рассудком блага — вот что ведет нас по жизни. Отказ от карьеры, благополучия, самой жизни — объясняется потребностью в ощущениях.

Я ощущаю — значит, я живу. А не «я добился» или «я имею».

— Четвертое, — сказал он. — Ощущения связаны с реальным миром. Если лишить человека возможности слышать, видеть, осязать, лишить контактов с миром — он перестанет осознавать себя и сойдет с ума; такие опыты описаны.

Ощущение есть результат взаимодействия с миром. То есть для ощущения необходимо действие. Инстинкт жизни велит ощущать, и инстинкт жизни велит действовать, — это одно и то же. Жизнь — это самореализация: потребность действовать в полную меру своих сил.

— Пятое, — сказал он. — Максимальные ощущения и максимальные действия.

Понять какое-то явление можно только тогда, когда берешь не какой-то его отрезок, а рассматриваешь явление целиком на всем его протяжении от самого начала до самого конца.

В жизни это: на одном конце — смерть, небытие, ничто, — на другом максимум жизни, максимум ощущений: максимум действий.

И поскольку человек живет и хочет жить, то вот к этому максимуму он в общем и стремится.

Лопата заменяется экскаватором, лошадь — самолетом, молот — конвейером: таков результат стремления человечества к максимальным ощущениям через максимальные действия.

— И шестое, — сказал он скорбно. — Есть действия созидательные и действия разрушительные.

Созидать — в натуре человека: весь прогресс — доказательство тому.

Но и разрушать — тоже в его натуре. Притягательность картин катастроф, лавин, потопов — доказательство тому.

Строя дом, ты убиваешь деревья.

Какое же может быть самое максимальное действие, к которому стремится человек и человечество?

Это — вообще создать новую планету. Или — уничтожить уже имеющуюся. Это равновеликие действия, как бы противоположные по знаку. Но и их я не назвал бы максимальными.

Максимальное действие — это уничтожение Вселенной и одновременно создание новой Вселенной. Обращение всей материи в свет по эйнштейновой формуле $E = mc^2$.

Уничтожение и созидание здесь — единый акт.

— С этим ничего не поделаешь, — сказал он. — Наши воля и разум — лишь часть бытия, они внутри его: жизнь управляется законами жизни, а не человеческим хотением. Человек хочет жить — и из этого следует, что человек должен уничтожить Вселенную.

— Конечный результат всегда и есть объективная цель, — сказал он.

Слова его не воспринимались всерьез. Жизнь уютно закуклилась в странной избушке посреди трескучей

ночи в заснеженной тайге. Я покачал головой и вякнул о наивности и пессимизме.

— Объективная истина — выше ограниченных нужд и представлений человека, — сказал он. — Не будем антропоцентристами.

Кто мыслит ясно — излагает ясно и просто.

— Чтобы понять явление, нужно взять единую и верную систему отсчета, систему его измерения.

Эта система — энергия.

Пространство, поле, масса, жизнь — имеют общим энергию. Энергия определяет все. Все имеет энергетический аспект.

Все существование Вселенной, Земли, жизни, человека, — можно рассматривать как видоизменения энергии, форм ее преобразования.

Энергетическая система отсчета позволяет обобщить все аспекты существования материи — от человека с его нервной тканью и деятельностью до существования Вселенной с ее физическими законами.

Любое действие есть нарушение энергетического баланса.

— Биология, — сказал Мулка.

Жизнь на Земле — это изменение и усложнение форм преобразования и выделения энергии. (Растения, холодно- и теплокровные животные, хищники.)

Энергия вещества Земли уменьшается: оно остывает. Но одновременно живые организмы, множась и усложняясь, выделяют все больше энергии из самого вещества планеты: кислорода воды и воздуха, минеральных соединений и прочего.

С появлением человека — венца жизни — этот процесс убыстрился: выделяется энергия нефти, угля, сланцев, газа...

Масса переходит в энергию — через посредство человека. Уже сейчас в принципе можно вовлечь в

неуправляемую термоядерную реакцию (взрыв сверхмощного водородного боеприпаса) весь водород воды и атмосферы Земли: выделение колоссальной энергии.

Превратится Земля в ледяной шар или в сгусток плазмы? Борьба противоположных тенденций благодаря наличию жизни решается в пользу второго: максимальное преобразование массы в энергию.

— История, — сказал Мулка.

Не случайно Прометей дал людям огонь и ремесла одновременно. История человечества — это история преобразования мира и выделения энергии. Человек стал человеком тогда, когда овладел огнем.

Все больше еды, жилищ, тепла, вещей, — преобразование все большего количества материи и энергии.

Все более крупные войны, более мощные орудия труда, — все большие выплески энергии.

Человек все сложнее и изощреннее преобразует материю планеты, извлекая все больше энергии. Конечный, абсолютный результат — извлечение всей энергии из всей массы.

— Психология, — сказал Мулка.

Почему человек смотрит в огонь? Потому что в обычных земных условиях это максимальное выделение энергии из материи.

Бытие — это преобразование энергии. Все живое тянется к бытию — поэтому смотрят в огонь животные и летят на огонь насекомые.

Текущая река, водопад, пролетающий за окном вагона пейзаж, — почему притягивают взор? Потому что это картины большого преобразования и выделения энергии, происходящих при этом.

«Типические сновидения» — кошмары, полеты во сне, преступления — отчего они? Оттого, что во сне воображаются максимальные действия: полет — невозможен, совершить невозможное — это максимально в

идеале; и в таких снах человек получает максимальные ощущения. Поэтому часто испытывают во сне девушки наслаждение любви — даже те, кто никогда не испытывал его наяву.

А максимальное ощущение, как мы говорили, вызывается максимальным действием, то есть максимальным преобразованием энергии. Максимум — выделение всей энергии планеты, галактики, Вселенной. Чувства человека стремятся к этому.

— Физика, — сказал Мулка.

Жизнь — продукт бытия и одновременно его орудие.

Человек — тоже: продукт бытия и одновременно его орудие.

Жизнь и человек — этап в эволюции энергии, которая и есть бытие.

$E = mc^2$. $m = E/c^2$. Вся энергия стремится перейти в массу, а вся масса стремится перейти в энергию. Такие переходы повторяющиеся циклы. Наше время — цикл перехода в энергию.

Два полюса существования материи: стремление к абсолютному покою — и стремление к отдаче максимального количества содержащейся в ней энергии. Аннигиляция — идеальное удовлетворение обоим этим условиям: нет покоя большего, чем небытие, а энергия выделяется полностью.

Аннигиляция Вселенной — это преобразование и выделение всей ее энергии; конец Вселенной и зарождение новой Вселенной.

Человек — орудие этого вечного цикла.

— Философия, — подытожил Мулка.

Гераклит; Гегель. Любое явление по мере развития переходит в свою противоположность. Отрицание отрицания: любое явление в конце концов изживает себя само. Все имеет начало и конец.

Созидательная деятельность человека неизбежно и необходимо переросла в разрушительную. Количественные изменения перешли в качественные.

Создание цивилизации в конечном итоге есть уничтожение самой цивилизации и всей планеты.

Противоположности едины в своем противоречии: аннигилировав Вселенную, мы создадим новую Вселенную; уничтожив жизнь — создадим будущую жизнь.

Он замолчал торжественно, как гордый приговором преступник.

— А если есть космические пришельцы? — спросил я утром.

— Я в них не верю, — ответил он. — Но, вообще, это меняло бы дело. Возможно, мы — тупиковая ветвь, и должны ограничить свои действия собственной цивилизацией. Или просто самоуничтожиться, чтоб не уничтожить больше. Может, мы мешаем им выполнять закон Вселенной, а может, они хотят его обойти. Может, они хотят предотвратить войну у нас сейчас, чтоб мы сумели грохнуть всю галактику позднее... Трудно сказать. Но в принципе это ничего не меняет!

— Я думаю, что войны не будет, — добавил он. — Это промежуточный этап, маловатая задача... Я думаю, задача человечества в большем.

— И то хорошо, — хмыкнул я. — Я тоже думаю, что задача человечества в большем.

Древний идол смотрел из глаз внука шамана:

— Это универсальная теория. Теория максимальных ощущений. Теория максимальных действий. Добро обращается в зло, а зло — в добро; дай только время. Путь человека — путь знания и созидания — ведет к концу человечества. Стремясь упорно и долго — ты приходишь к противоположному. Уничтожая таланты и сопротивляясь прогрессу, общество стремилось сохранить себя. Любой шаг вперед — шаг к концу.

Это знаю я один. Поэтому я ушел от людей и моего народа. Пусть знание не омрачает жизнь моего народа. Пусть матери радуются рождению детей и ве-

рят в счастье детей их детей. Храня знание в себе и ничего не делая, я продляю жизнь человечеству насколько могу.

«В своем ли он уме в одинокой избушке посреди тайги?» — подумал я.

Запасные лыжи, смена белья, байковые портянки, фланелевая рубашка, двойные варежки, цигейковая меховушка, лисья шапка. Табак, спички, нож, соль, сахар, чай, лосиное мясо.

Ртутное солнце белело сквозь серый свод над серой равниной. Кромка леса по сторонам замерзшей реки очеркивала пространство. Белый простор разворачивался впереди.

Мулка прокладывал лыжню. Короткие лыжи, подбитые лосиным камусом, мерно продвигались, уплотняя снег.

Лайка бежала за ним по утоптанной тропе.

Мы вышли затемно, и затемно пришли.

— Никак Мулка пожаловал! Ну-у, что-т-то бу-удет!

Промысловика звали Саша Матвеевко, и родом он был из Донбасса. Вторую зиму Саша работал без напарника: ловил рыбу, ставил капканы.

Под единым с домом навесом помещалась банька, запасы дров, сушились связки рыбы и беличьих шкурки.

— Гости! Ну праздник! — Саша сиял.

Он вытопил баньку, и мы отхлестались веничками.

Саня подумал, сбрил бороду, надел белую вышитую рубашку и оказался заводным и смешливым тридцатилетним парнем. Толсто напластал чира и нельму — янтарно-розовую, тающую. Выставил бутылку («я ящик на сезон беру, еще есть»).

— Ах, хорошо! Вот не чаял!

Я рассказывал. Саня ахал. Мулка курил.

Трещала печь, жарились оттаявшие рябчики («есть хоть кого угостить»). Уютно светила керосиновая лам-

па. Юная москвичка смеялась на Ленинских горах со стены — с обложки «Огонька».

...Утром я вышел проводить Мулку.
Снег, сумрак, дымок над крышей.
Лайка стояла у его ног.
— Я зря вывел тебя, — сказал Мулка.

Вчера.

Мы остановились, сварили чаю и перекусили.
— Теперь я буду прокладывать. — И я пошел вперед. Оглянулся.

Его глаза полыхнули.

Черные бойницы. Динамит.

Правая рука снимает ремень ружья за спиной.

Я бежал, задыхаясь.

— Стой!

В груди резало и свистело. Пот. Гири на ногах.

— Стой!

Холод между лопаток.

Моя большая, огромная, слабая, беззащитная, живая спина.

Сердце, позвоночник, легкие, желудок — просвечивают ясно, как на мишени, слегка прикрытые одеждой и плотью.

Щелчок бойка, дубиной бьет горячая пуля, не мигает черный глаз природного охотника, таежного снайпера. Сторожа тайны своей.

Я ограбил его существование. Унес его мысли, его тайну. Разрушил его жизнь, лишил ее смысла. Зачем теперь охранять себя от людей в тайге — собственному тюремщику?

— Я бросил ружье!! Эй!.. Бросил!

Он положил ружье в снег, вынув патроны, и отошел назад.

Я вернулся.

Страх, стыд, неуверенность...

Я обессилел, в поту и дрожи. Он сварил крутой чай, сыпанул полкружки сахару.

— Ты что, меня испугался? Тайга; это бывает... Что ты... Сам подумай — зачем бы я мог, как, почему? Я просто ружье поправил! Пей, пей, сейчас пойдём дальше, а то ты вспотел, нельзя отдыхать, простудиться можно, надо идти.

Спасенный не стоит спасателя. Кто я? Ценою в грош. Он шел впереди. Патроны были у него.

Я за ним, в ста шагах. С пустым карабином. Старым армейским симоновским карабином, рассверленным под восемь миллиметров, чтоб не подходили стандартные патроны и снизилась прицельность и дальность боя — хватит и так. Такие продают охотникам местных народностей.

Он вынул нож, точенный ребятами где-то в мастерской из клапановой стали. Ручка резной кости: длинны вечера в тайге, бесконечен и прихотлив узор.

Нож свистнул в полутьме, стукнул: вошел в торчащий из снега сук шагах в двадцати.

— Дело сделано, — сказал Мулка и улыбнулся весело и с превосходством, какая-то назидательная была улыбка; или это мне в темноте показалось? — Я не сохранил знание. Я только человек... А ружье мне было бы не нужно.

Нож с костяной узорной рукоятью.

Страх и безмолвие.

Синий свод, синяя равнина, царапина лыжни уходит за поворот, как за горизонт. Черная точка.

Совість, больная знанием.

Знание, больное гордыней.

В десять утра Саня, проклиная богов севера, чертей эфира и диспетчеров госпромхоза, настроил рацию и, выйдя на связь с диспетчерской, заказал санрейс.

Я помогал ему паковать в кули мороженую рыбу и пересчитывал песцовые шкурки.

Потом он ушел по путнику проверять капканы, а я топил печь, месил тесто, варил гусятину с лапшой — и думал...

Через месяц я послал Мулке — через Санин адрес — из Ленинграда две пары водолазного белья, «Историю

античной эстетики» Лосева, хорошую трубку с табаком и водонепроницаемые светящиеся часы для подводного плавания. Ответа не получил, но ведь писать и сам не люблю.

В Ленинград ко мне Мулка так и не приехал, еще на пару писем — не ответил; да и писал-то я на Саню.

А Саня через полтора года, летом, позвонил в мою дверь — и гостил две недели из своего полугодового, с оплаченными раз в три года билетами, полярного отпуска: две недели загула, напора и «отведения души».

— Чудак; — сказал он о Мулке. — Глаза жестокие, а сам добрый. Умный! в двух университетах учился. Говорят, шаманом хотел быть, а потом выучился и раздумал, а трудиться нормально ему, вроде, религия не позволяет... или с родней поссорился, говорят.

...Я провожал его в ресторане гостиницы «Московская». Дружески-одобрительный официант менял бутылки с коньяком. В полумраке сцены, в приглушенных прожекторах, девушки в газе и кисее изгибались под музыку, танцуя баядер. Саня облизал губы.

— Я тебе вот что скажу, — сказал он. — Проклятое то место. Я на этой точке два плана делал, по полтора пса песцов ловил, рыбы шесть тонн. Бензиновый движок в прошлом году купил, электричество сделал. А только не вернусь туда больше. Найду желающего, продам ему все там, тысячи четыре точно возьму, и — ша...

Я не понял.

— Пошел Мулке подарок твой относить — а там и нет ничего... Вообще ничего, понял?

— Может, не нашел? — Я улыбнулся, начиная подозревать истину.

— Как не найти — прямо на берегу стояла?! Что я, один год в тайге, не ходил по ней, что ли?.. Заночевал у костра, назавтра все там исходил, дальше дошел — аж до Чертова Пальца, а это на десять километров

дальше, понял? — Он выпил, изящно промокнул губы салфеткой и положил ее обратно на колени. — А назад иду — вот, она, избушка! Пустая! черная...

Ближе подошел — все настезь, всё покосилось. И... и кости собачьи на крыльце.

Ну — я пошипал себя, что не сплю, и по реке вниз обратно — задницу в горсть, и мелкими скачками! У поворота оглянул — а там свет в окне! И собака залаяла!

До дому долетел — не помню как. Печь растопил, сижу у нее и трясусь. И ружье рядом.

А потом — тринадцать дней ровно! — все капканы как один пустые! Каждый день обхожу, еще десяток в запасе был — поставил: ничего! И рыба — две сетки в прорубях у меня: пусто, понял! Ну, думаю, плохо дело...

А на четырнадцатую ночь просыпаюсь: скребется кто-то на крыше, ходит, аж дух замер. Тихо встал, ружье взвел — и прямо из дверей вверх! Слышу — спрыгнул кто-то на ту сторону. Я — туда: рососомаха пожаловала, улепетывает! И сразу я ее свалил, одной пулей, ночью — прямо в хребет.

И в этот день — все ловушки с добычей! все как есть! это что такое, ты мне скажи, а?! Твое здоровье!

— Саня, — сказал я, — кончай врать. Эти байки девочкам в Сочи травить будешь. Часы у тебя на руке — те, что я Мулке посылал.

Он побагровел, сдернул руку под стол и засуетился:

— Часы я такие в Москве сейчас купил, удобные часы. Ты что, в ГУМе купил, как раз выкинули...

— Сколько стоят?

— Что я, помню?... Деньги летят, знаешь...

— А те часы где?

— Те я у избушки оставил... положил, и бежать.

— Значит, посылку открыл, раз знаешь про них?

— А что им зря пропадать, — пробурчал он, совершенно уничтоженный. — Хочешь — забери, что мне... я просто на память...

Я вздохнул. Что с него возьмешь, беззлобного. Он и свое отдал бы еще легче, чем мое взял. Понравилось,

и все тут, велик ли грех, он тут со мной уже две недели деньги расшвыривает, ящик этих часов прогулял небось.

— Сколько тебе лет, Саня? — спросил я.

— Двадцать девять, — ответил он с обидой. — Жениться вот думаю, пора. Не посоветуешь?

Это было полтора года спустя.

А тогда солнце дробилось радугой в пропеллере. «Аннушка» протарахтела, снижаясь и скользя, качнула крыльями и села на реку, вспоров два веера алмазной пыли. Летчики в собачьих унтах и цигейковых куртках закурили и пошли к избушке угоститься рыбкой.

Саня хлопотал: чай заварил индийский, выставил субудай — малосол из свежей, вчера вынутой из проруби нельмы, с солью, уксусом, перцем и чесноком, подарил им по глухарю: с летчиками надо дружить, чтоб прилететь хотели, от летчиков много зависит.

Я помог ему таскать кули и связки в самолет.

— Заблудился, значит? Бывает. Хорошо еще, что нашелся. Тайга — это тайга.

Летчики пахли одеколоном, мылом, отутюженной одеждой. Цивилизацией. Невероятно чистоплотны и ухожены были летчики. Неужели и я в городе такой.

Самолет подпрыгнул и полез вверх. Я прилип к иллюминатору. Саня стоял у крохотной избушки посреди белой вселенной и махал рукой.

Летчики, молодые ребята при белых рубашках и галстуках, перекрикивались через шум мотора и смеялись о своем.

Солнце сплющивалось и вплавлялось в горизонт — малиновое, праздничное, вечное. Закат расцветил снега внизу буйной карнавальная гаммой.

Игарка замигала издали гирляндами огоньков, прошивающих порт и улицы. Встреча произошла без формальностей — да и вообще никакой встречи не было. Инспектор госпромхоза убедился, что никто ничего неположенного не приволок, разгружать было уже позд-

но — грузчиков не было, механик зачехлил мотор, закрыл на ключ дверцу, опечатал ее своей печатью, а инспектор — своей. У всех были свои дела и своя жизнь.

Я сидел в гостинице летчиков и смотрел по телевизору антивоенный митинг в Лужниках. Парок слетал в морозный воздух от единого дыхания десятков тысяч людей.

В коридоре дежурная наставляла по телефону мужа, чем кормить детей.

Летчики хвастались своими женами и пили за семьи — они были командированы сюда из Красноярска.

Смешной внук шамана. Пропавший учитель для детишек таежных школ. Твоя совесть и твой страх оказались сильнее твоего разума и веры.

Разум человечества, наверное, должен быть равен его совести. Люди не могут отрешиться от дел — кто ж за них все эти дела сделает. Кто ж, кроме нас самих, поведет нас дальше, преодолевая все опасности, вплоть до самых страшных.

Телевизор показывал антивоенные выступления по всему миру.

Десятки и сотни тысяч лет мы боролись. Боролись с холодом и голодом, хищниками и болезнями. Из бесконечных глубин пролегал наш путь — путь борьбы за жизнь; умение бороться за нее живет в нас от пращуров, оно сидит в наших генах. От опасности не спрячешься, не пересидишь ее — у нас нет выбора, кроме победы.

Я отпечатал под копирку письмо ему и оставил с просьбой во всех московских магазинах «Старой книги». Авось ведь выберется еще.

Надо бы встретиться, договорить.

КАРЬЕРА В НИКУДА

Эта вековой дали затерянная история была рассказана мне двадцать лет назад покойным профессором истории Ленинградского университета Сигизмундом Валком. Профессор собрался пообедать в столовой-автомате на углу Невского и Рубинштейна. Он пробирался к столику, держа в одной руке тарелку с сардельками, а в другой ветхий ученический портфельчик, и сквозь скрепленные провололочкой очки подслеповато высматривал свободное место. Под его ногой взмявкнула кошка, сардельки полетели в одну сторону, потфель в другую, очки в третью, сам же профессор — в четвертую, где и был подхвачен оказавшимся мною (что не было подвигом силы: вес профессора был соизмерим с весом толкнувшей его кошки, на чей хвост он наступил столь неосмотрительно). Я собрал воедино три дотоле совместные части, выловив очки пальцем из чьей-то солянки, к негодованию едока, сардельки же бойко выбил без очереди взамен растоптанных. Ободрившийся старичок в брезентовом дождевичке вступил в благодарственную беседу — и я был поражен знакомством: профессор с мировым именем. Кажется, своеобразно польстило и ему — то обстоятельство, что воспитанные манеры принадлежали именно студенту родного факультета.

Апрельское солнце клонилося, Мойка несла бурый мусор, Летний сад закрылся на просушку: я провожал профессора до Библиотеки Академии наук. Он поглядывал хитро и добро, покачивал сигареткой в коричневой лапке, шаркал ботиночками по гранитам набережных:

рассуждал... Был вздох о счастье юности, вздох о мирской тщете, вздох о всесии времени; легкой чередой вздохи промыли русло мысли, слились в сюжет — характер, судьба, история. Он касался рукой имен, дат, названий — просто, как домашних вещей: история казалась его домом, из которого он вышел ненадолго, лукавый всеведущий гном, на весеннюю прогулку.

Записки мои потерялись в переездах. Я пытался восстановить обломки фактов расспросами знакомых историков — безуспешно; эрудиция и память Валка были феноменальны.

Сохранилось: происходило все во второй половине прошлого века, в Петербурге и двух губернских городах, герой воевал в русско-турецкую войну 1876 года, по молодости примыкал к народникам, знал с народовольцами, достиг поста не то губернатора, нет то чего-то в таком роде, — уж не вспомнить, да и не имеет это, наверно, принципиального значения. Кончил же он в доме умалишенных, до водворения туда исчез надолго так, что еле нашли: слухи о загадочном исчезновении поползли среди людей, не обошлось, разумеется, без суеверия и выдумок глупейших, хотя и небезынтересных самих по себе: некий сочинитель даже повестушку про то намарал, — забыл названного Валком автора, забыл название, издательство, — где искать концы, как? да и стоит ли...

Ах, сторицей, сторицей расплатился со мной старенький профессор за порцию сарделек и выуженные из супа очки, если двадцать лет прозревают во мне пророненные им слова. Возможно, память что исказила, но главное-то я помню, держу, не раз ворошил, прикидывал слышанное в тот теплый апрельский вечер шестьдесят седьмого года: сияла в закате Петроградская сторона, кружились в Неве льдинки, звенел трамвай на Тучковом мосту, шурился и смеялся своему рассказу профессор, объяснял без назидания, учил не поучая — делился: со мной, девятнадцатилетним.

И жаль дать пропасть словам его в забвении, жаль!

Не читать мне лекций по истории, не быть профессором, не обедать сардельками в той забегаловке — нет ее больше; попытаться могу лишь передать, оставить поведенное им; а то время идет — и проходит.

Глава первая
МАЯТНИК ДУШИ

19 лет. Простые ценности.

Санкт-Петербург.

«186... г.

...я не хочу карьеры. Почтенный папенька, простите... Вы сами воспитывали меня в духе уважения к людям, сострадания к сирым и обиженным. Учили жить по совести, и быть, главное, хорошим человеком.

Карьерист же, как я представляю, означает человек, болеющий не о пользе дела, но о деле ради своей пользы и выгоды. Неуважение и презрение ему отплатой, зависть и ненависть. Им льстят — но клеветуют, порядочные люди должны отвергиваться от них, не подавать руки; они низки и эгоистичны. Все в этом враждебно мне.

Гнаться за успехом? класть на это жизнь? зачем?.. Какой смысл? В богатстве и власти? — мне это не нужно. Разве в этом предназначение человека?.. Разве это приносит счастье?

Я поступил на курс университета изучать право, чтобы помогать людям и улучшать действительность. И хочу единственно вещей простых и никому не заказанных: счастья, любви ближних, доброго мнения людей и настоящего дела, честным исполнением которого смогу гордиться. Хочу быть полезен, нужен людям и обществу.

Мне все пути открыты, пишете Вы: мол, и внешность, и ум, и трудолюбие, и умение влиять на людей, и деньги (я краснел)... И растратить это все на суету, достижение внешних отличий? трястись и волноваться — вдруг пост достанется не мне?

Я избрал иной путь. По окончании курса я хотел бы уехать куда подальше, где цивилизация еще не наложила свое губительное клеймо продажности и разврата, где люди не соревнуются в излишествах и

пороках, где чисто сердце и крепок дух. Я хочу найти свою судьбу среди людей, работающих честно и тяжело, преодолевая истинные трудности и борясь с суровой природой. Насаждать Закон и справедливость, пресекать зло и утверждать добро, — вот профессия правоведа.

И если я таков, как Вы считаете, — то сумею сделать многое — и, следовательно, мои способности и возможности будут замечены, поприще мое будет расти, выситься, — ибо везде нужны хорошие работники: будет по заслугам и честь. Старайся исполнять свое дело наилучшим образом и не думай о награде — она придет сама. Только такой род карьеры мог бы меня прельстить.

Я знаю, это нелегкий путь. Но я готов к трудностям и не боюсь их. Вы правы: жизнь отнюдь не гладка, есть и несправедливость, и пороки, и недостатки; но разве борьба с ними — не достойный, не высший удел?

Денег мне, спасибо, вполне хватает. Но Вы напрасно опасаетесь, что меня увлекают кутежи, франтовство, «доступные женщины» и прочие «студенческие шалости». Друзья мои — чудесные и достойные люди, и если нам весело — на то и молодость.

А дурное влияние Дмитревского Вы подозреваете безосновательно, — напротив: он человек в высшей степени рассудительный, умный, образованный, душой чист и благороден; ему я многим обязан, в том числе и воздержанию от скверных склонностей. Он как раз серьезен, положителен, — Вам бы понравился непременно...»

21 год. Мы переделаем мир.

Нытики, пессимисты, тоскующие, — презираю вас. Кто хочет делать — находит возможности, кто не хочет делать — изыскивает причины.

Еще ничего в жизни не сделали — уже стонут, уже всем недовольны! Все критикуют — никто ничего делать не хочет. Все видят недостатки — никто не хочет

действовать за их устранение. А вы хотите, чтоб недостатки сами исчезли? — так ведь и тогда будут брызжать, найдут повод, брызги насчастливые!

Как не поймут: жизнь будет такой — и только такой! — какой мы сами ее сделаем. Никто за нас не сделает, не поднесет готовое. И вот когда вы слезете со своего дивана, и подотрете свои сопли, и засучите рукавчики на чистеньких бездельных ручках, — только тогда что-то может измениться.

Все сделать можно, все в наших руках. И не надо ждать, что все сразу как по маслу пойдет — так не бывает. И трудности будут, и поражения, и несправедливости, и боль, — но будет делаться дело, будет улучшаться жизнь, становиться счастливее люди — и вы сами в первую очередь.

«Коррупция кругом», «продажность заела»... А ты сам с этой коррупцией уже сталкивался? с этой продажностью хоть раз боролся? Ты же сам ее первый соучастник — если видишь — и миришься!

Еще смеют говорить — жизнь, мол, такова! Жизни-то не знают — уже уверены, что она дурна. Борьбась не пробовали — уже смирились.

Чем же дурна? Что рабства более нет? Что всяк волен грамотен стать, образование получить? Что стезя каждому открыта? Что журналы выходят? Что железная дорога грузы перевозит, со смертельными болезнями бороться научились, что гласность во всем, каждый может свое мнение вслух публично высказать?

Нет, не высказывают: друг другу жалуются, а вслух — нет: даже этого не сделают, улитки унылые, лежачие камни.

Некогда за веру ссылали, сжигали, продавали как скотов, чума страны косила, в нищете и невежестве в тридцать лет умирали — и после этого говорить, что прогресса нет? что жизнь не улучшается?! да оглянитесь кругом — у вас глаза-то есть?

Согласен: есть еще и неравенство, и подлость, и мздоимство, — а вы хотите, чтоб вам был рай готов? Гарибальди Италию освобождает, в американских шта-

тах белые воюют с белыми же рабовладельцами, негров от гнета избавляя, — так действуют настоящие люди, желающие лучшей и справедливой жизни! Вспомните пятерых повешенных на Сенатской: не прошло даром их дело, обязаны мы им!

(Один подлец, отказавшийся подписать петицию, чтоб Дмитревского оставили в университете, заявил, что причина моих взглядов — богатство, происхождение и пр. Мол, достоинство тебе по карману, совесть мучит потому, что не мучит желудок. Думаешь об общем благе, ибо нет нужды заботиться о благе личном. А бедняк спор выгоды с совестью решает в пользу жизни своей семьи. Благородство возвышает богача среди себе подобных, ему достигать нечего, он наверху; а бедняку выбиться в люди, занять место по способностям, не хуже других, можно лишь ничем не брезгуя...)

Если б каждый вместо нытья сказал всю правду вслух, сделал бы все, что мог — уж рай настал бы! Ведь мерзость-то вся — она же только нашим молчанием, нашим смирением сильна; мы б ее давно смели. И должны смести. И сметем!

А будет сопротивляться сильно — прав Дмитревский, любыми средствами надо бороться за правду и справедливость. Надо — так и огнем и мечом, не боясь жестокостей Французской революции...

23 года. Наказание добродетели.

А как-то все-таки странно: лучшие места получили совсем не самые способные и заметные из нас. Сколько обещающих юношей, блестящих умов, бьющих через край энергий — где же они? влачат самые рядовые обязанности. А места, свидетельствующие о признании, раскрывающие перспективы, требующие, казалось, наибольших качеств, заняты сравнительно незаметными и заурядными... Ну — связи, деньги, продажность; но когда и нету этого — все равно: неясным образом сравнительные серости преуспели больше звезд (?).

Вспоминаю наших профессоров... многие студенты к концу курса были и умнее большинства их, и образованнее, и куда лучше говорили. Как вышло, что именно они в чинах и званиях? ведь и на их курсах учились промеж ними более достойные — где они, как?

Во мне не говорит обида, я лично ничем не задет, никому не завидую, роз под ноги и не ждал; я просто понять хочу. Конечно: блестящий ум часто сочетается с самолюбивым и несдержанным характером — это мешает, таких людей стараются избегать, отодвигать, они наживают влиятельных врагов. Но даже если они скромны, вежливы — все равно! тем легче теряются...

Мое место незначительно, обязанности несложны, я делаю больше положенного не из корысти — а просто могу много больше, да и работать плохо неинтересно. Кругом же валандаются спустя рукава, поплевывают — и припевают! А мне чуть что — выговаривают...

Ладно, обошли повышением, не нужны мне эти копейки и фанаберия, — несправедливость обидна. Даже не она: дико, вредно для дела, не правильно! — ты хочешь работать хорошо, а тебе не дают.

Кому плохо, если я буду работать в полную силу? да за то же самое жалованье? Если я могу делать больше, лучше, разумнее — так повысьте меня, дайте возможность использовать все силы — вам же во благо, — людям, обществу, делу, начальству тому же, — ведь работа подчиненных им же в заслугу идет! Не повышаете — так хоть на моем месте дайте мне работать, пойдите навстречу — если вам это нетрудно, ничего не стоит, а польза дела очевидна! Ладно, не помогайте, — так хоть не мешайте, не суйте палки в колеса, не бейте за то, что работаю лучше других!

Бред: я стараюсь работать хорошо во благо, скажем так условно, своему учреждению и начальству. А учреждение и начальство наказывают меня, требуя, чтоб я работал плохо — как большинство.

Кто работает «как все» (плохо!!) — ими довольны и повышают в должностях. А кто хорошо — бедствуют. Честно борешься с недостатками — ты же и виноват. А кто недостатки эти умножает — оказывается прав. Хотя сам на эти недостатки жалуется! хотя ему самому эти недостатки мешают! не понимаю...

Какова же эта поразительная антилогика, что наверх идут заурядности? Кому это выгодно, зачем, почему?..

Известно: новое, лучшее — утверждает себя в борьбе с отжившим, и вообще — чем больше хочешь совершить, тем больше трудностей надо преодолеть; так. Но — кто тут друзья, кто враги, каковы их мотивы?.. Ясно бы враждебный департамент, противная точка зрения, конкурент на место; но откуда упорное неприятие, неприязнь коллег и начальства, когда я хочу что-то делать лучше, по-новому, больше — для нашего общего дела?

... Да, брат: одно дело знать, что путь добродетели усыпан не розами, а терниями, а совсем наоборот — по ним идти. Что ж — кто ж из известных людей жил и пробивался без трудностей. Вид пропасти должен рождать мысль не о бездне, а о мосте. Одно мучительно: на словах-то все тебе союзники, а вот на деле... Ну, Дмитревскому еще куда труднее, чем мне. Как прозябает, бедный, светило наше.

25 лет. Жизнь несправедлива.

Меня не то гнетет, что в жизни много трудного и несправедливого. Не то, что хорошие и добрые люди часто незаслуженно страдают. Не то, что зло подминает добро. Это бы все ерунда... сожмем зубы в борьбе и победим! Я молод, здоров, я не знаю, куда приложить бьющую энергию, я чувствую в себе силы совершить что угодно, добиться всего, одолеть все; клянусь — я могу!..

Другое меня гложет, гложет непрестанно, иссасывает душу, подтачивает веру. Если несправедливость царит в отдельном случае, меж отдельными людьми, в

отдельном месте, в отдельную эпоху, наконец, — с ней можно и должно бороться. Будь настоящим бойцом, сильным, умелым, упорным — и ты победишь: победит правда и добро. Но так ли, так ли устроен мир, чтоб они побеждали?..

Я чувствую себя по возможностям Наполеоном — но что, что мне делать, скажите! я не знаю! В чем смысл всего? как добиться торжества истины? возможно ли оно вообще? и что есть истина? Я смотрю вокруг — это бы ладно, но я смотрю в историю — и безнадежность охватывает:

Древние греки, гармоничные эллины — приговорили к смерти Сократа! Не успел умереть Перикл, покровительствовавший Фидию — и Фидий гибнет в темнице! Да что Фидий — царь Соломон, мудрейший Соломон — первое что сделал, придя к власти, — приказал убить родного брата, чтоб устранить возможного конкурента! Англия, твердят, демократические традиции, — а не Англия уволила с флота славного Нельсона, и за что? пытался мешать ворах растаскивать казну империи! Битвы выигрывал он — главные награды получали другие. Не Англия ли казнила свою славу — Томаса Мора, светлейшего из людей? Колыбель свободы, Франция? что ж ничтожный король и французы оставили на сожжение Жанну д'Арк, свою гордость, освободительницу, святую? А позднее? Дантон, Марат, Робеспьер, Демюлен — все лучшие срублены! Наполеон — умер в ссылке. Цезарь — убит своими. Данте — умер в изгнании. Наш Пушкин — убит на дуэли. И несть конца, несть конца! вот убит ничтожеством Линкольн! вот что изводит душу!..

Неужели извечны горе и гибель лучших людей? торжество зла? и если хочешь нести свет и добро — будь готов к цене ковра, меча, креста? И это бы меня не испугало, не остановило, — знать бы, что после смерти истина моя восторжествует. Но ведь те же самые, благонамеренные и послушные, которые лучших людей изгоняли и убивали, — после возводили их в святые, и продолжали уничтожать еще живых. Разврат и продажность Ватикана — это что, торжество дела

первомучеников? Сожжение еретиков, которые ту же Библию на родном языке читали — это милосердие христианства? И после этого вы мне предлагаете верить в бога? Не могу я в него верить.

... Либо мир устроен неправильно, либо мои представления о нем неправильны. Но ведь за торжество и победу этих представлений лучшие из лучших жизнью жертвовали! вера в добро вечно живет!

Две истины есть в мире: истина духа — и истина факта. Истина того, у кого в руке в нужный момент оказался меч, — и истина того, кто не дрогнув встречает этот меч с поднятой головой. Один побеждает — второй непобедим. И две эти истины, каждая права и неколебима по-своему, никогда не сойдутся...

Это как клещи, две неохватные плоскости — небо и земля, твердые, бесконечные, плоские: сошлись вместе, давят меня, плющат, темнеет в глазах, не вздохнуть, тяжело мне, темно, безысходно...

А Дмитревский в ссылке. За то, что добра хотел сильней, чем мы все! «Противозаконно»... ведь цели его и Закона одни: счастье, справедливость... Безнадежно: везде филеры, сыск, тайный надзор...

27 лет. Так создан мир.

Представим:

Пустырь. На одном его краю — карета. На другом — десять человек. Сигнал! — они бегут к карете. Кто же поедет в ней? — тот, кто лучше правит? Нет — тот, кто быстрее бежит. Кто сумел обогнать, растолкать всех; а ездить он может весьма плохо.

Так во всем. Любая вещь принадлежит не тому, кто наиболее способен ею распорядиться, а тому, кто наиболее способен ею завладеть и удерживать.

Поэтому «высокий чин» сплошь и рядом — посредственность и заурядность во всем, кроме одного — он гений захвата и удержания своего поста. Все его помыслы направлены именно на это, а не на свершение дел. И, естественно, он достигнет и сохранит пост

гораздо вероятнее, чем тот, кто, будучи даже более умен — и несравненно более способен распорядиться постом, — энергию направит на свершение дел, а не сосредоточит единственно на удержании поста.

Преимущества карьериста очевидны: каждый его шаг подчинен захвату цели. Любое действие он рассматривает только под этим углом целесообразности. Все, что способствует захвату цели — хорошо, что не способствует — ненужно, что мешает — плохо. И будет всем доказывать, что именно он достоин владеть, все силы направит на пресечение чужих домогательств, на создание мнения, видимости, положения — таких, что его не скovyрнешь. А дело он делает лишь так и лишь настолько, как полезнее для удержания поста, а не для самого дела.

Это первое. А второе:

Два человека, равно умных и энергичных. Разница: первый порядочен и добр, а второй способен на любой, самый злой поступок.

Кто вернее достигнет трудной цели? Второй.

Почему? — Потому что он в два раза вооруженнее, сильнее: он способен и на добрые средства, и на злые, а первый — только на добрые. Из всех возможных поступков для первого возможна только одна половина сферы, а для второго — вся сфера, весь арсенал.

Могут сказать, что это дурно. Но разве я и сам так не считаю?.. Могут сказать, что этого не должно быть. Но разве я виноват, что так есть? Могут сказать, что это несправедливо. Это так же несправедливо, как землетрясение: худо, а не отменишь, негодовать бессмысленно, а замалчивать вредно — надо знать о нем больше, чтоб как-то существовать, приспособливаться, спастись.

Вот поэтому добродетель всегда будет в рабстве у порока, благородство — у низости, ум — у серости, талант — у бездарности, ибо слабость всегда будет подчиняться силе.

А победитель всегда прав. Ибо через его действия и происходят объективные законы жизни, природы.

А жизнь, природа — всегда права. Жизнь — она и есть истина: она — данность, кроме нее ничего нет. Ошибаться могут лишь наши представления о ней.

Возразят: пошлость мысли... Спросят: а как же мораль и бог? Но в бога я не верую, а мораль понял...

[Отчего, говорите, мораль и совесть противоречат личной выгоде?

Ответ первый: чтоб люди вовсе не пожрали друг друга; в обществе необходим порядок, правила нравственности и поведения.

Ответ второй: мораль нужна сильному, попирающему ее — чтоб подчинять себе слабого, верящего в нее и следующего ей.

Это — пошло, общеизвестно, зло. Но вот третье:

Диалектика мудрого Гегеля: единство и борьба противоположностей. Жизнь и смерть, добро и зло, верх и низ, красота и уродство — одно без другого не существует, как две стороны медали: одно тем и определяется, что противоречит другому.

Где есть реальность — там есть и идеал. Это единство противоположностей. Мораль — это идеал реальности. Она вечна, как вечна реальность, и недостижима реально — ибо есть противоположность реальности.

И четвертое:

Опять Гегель: любая вещь едина в противоречии двух своих сторон, противоречие вещи себе самой — свойство самого ее существования, закон жизни. В организме процессы, необходимые для жизни, одновременно тем самым приближают организм к смерти. Ходьба затруднена силой тяжести, вызывающей усталость, — но ею же делается вообще возможной, давая сцепление с землей.

Жить — значит чувствовать. Чувство — это противоречие (обычно неосознанное) между двумя полюсами: имеемое и желаемое, хотение и долг, владение и страх потерять, лень и нужда, добро и зло, голый прагматизм — и запрет «скверных» средств, пусть и вернейших для достижения цели.

Совесть и выгода — это единство противоречия. Это две мачты, растягивающие парус — чувство: доколе он несет — это и есть жизнь. А инстинкт диктует жить, т. е. чувствовать, т. е. иметь это противоречие.

Это противоречие в душе человеческой постоянно. И чем сильнее, живее душа — тем сильнее оно! (Недаром великие грешники становились великими праведниками.) Каждый не прочь и блага все иметь — и по совести поступать. Выгоде уступишь — мораль скребет, морали последуешь — выгода искушает. Отказ от выгоды — сильное чувство, переступить мораль — еще более сильное. В чувствах и жизнь.

Люди — разные: один уклонится в выгоду, мораль вовсе отринув, другой — в праведность, выгоду вовсе презрев; но это крайности, а жизнь вся — между ними...

А насколько следовать морали — натура и обстоятельства сами диктуют.

Конечно, мои рассуждения философски наивны, но каждый ведь для себя эти вопросы решает.]

Везде в жизни действует закон инерции — стремление сохранить существующее положение. Это не плохо: во-первых, это так, потому что так мир устроен, во-вторых — это инстинкт самосохранения. Общество, скажем, инстинктивно, по объективному закону, не зависящему от сознания и воли отдельных людей, — стремится сохранить все то в себе, с чем смогло выжить, развиться, подняться до настоящего уровня цивилизации и на нем существовать. Время произвело беспощадный отбор, и выжило то, что оказалось наиболее жизнеспособно, т. е. верно для жизни и развития людей в обществе.

А сколько в веках прожектеров, авантюристов, ниспровергателей! Послушать их, последовать всем их заманчивым проектам — человечество не могло бы существовать: они противоречат друг другу, придумывают немислимое, выдают желаемое за действительность, обещая быстро и легко переделать мир. Что будет, если человечество будет следовать за ними всеми? — анархия, развал всего, что с таким трудом достигнуто за века и тысячелетия, упадок, гибель.

Сама жизнь отбирает из их прожектов реальные.

Поэтому первая и естественная реакция общества на такого гения — обострение инстинкта самосохранения: придавить его, чтоб не разрушал. Каждый, кто высовывается над толпой — потенциальный враг общества, угрожающий его благоденствию. Любая система стремится к стабильности, а гений — это дестабилизатор, он стремится изменить, и система защищается — как в естественных науках. Он говорит, что для нашего же блага? все так говорят! дави их всех, а жизнь после разберется, кто прав. Что ж — после некоторым ставят памятники...

Каждый, кто хочет блага обществу — должен быть готов пожертвовать собой во имя лучшего будущего общества, будущего блага... Но и в будущем обществе точно так же подобных ему благородных самосожженцев будут давить и уничтожать — вот в чем трагедия! Ибо развитие непрерывно, бесконечно, доколе жизнь существует. Ничто в принципе не меняется...

Значит, ждть награды за добро нечего. Хула и травля наградой благородным и мятущимся действительным умам. Да посмертная слава. Да улучшение жизни после их смерти — если они окажутся правы. Но какое улучшение? — такое, в каком среднему человеку, стаду, будет сытнее и привольнее, — а страсти-то останутся те же, несправедливости те же, лучших, избранных — травить будут так же.

Стоит ли, понимая все это, жертвовать собою ради такого положения вещей?

Каждый решает это для себя сам...

Но я — Я — не чувствую в себе сил, веры, самоотверженности класть свою жизнь на алтарь служения человечеству, — ибо это не алтарь никакой, а камень дорожный под колесом истории. Человечество катит в колеснице, а лучшие из лучших мостят дорогу под колеса своими костями. Им поют славу и сошвыривают под колеса новых народившихся лучших людей, чтоб ехать и петь дальше: ровней дорога, больше еды, теплей солнце, а суть-то все та же самая...

Вот как это все устроено...

Я обыкновенный человек, и хочу всего обыкновенного: и достатка, и всех благ людских, и всех мирских радостей... нет во мне фанатизма жертвовать собой.

А не жертвовать — значит отказаться от лучшего, что есть в твоей душе. От самого высокого и достойного. Измельчиться. Жить ничтожнее, нежели ты способен...

30 лет. Здесь мое место.

Как дошел я до жизни такой? Да, я мечтал об истине, имел идеалы, хотел жить по совести, — но, в общем, никогда сознательно не избирал мученичество. Как путь мой завел меня к нему?.. Я ведь такого не хотел... Духу столько не было, чтоб решиться, выбор сделать, сознательно пойти — а вот...

Да разве десять лет назад поверил ли бы я, решился ли бы — если б от меня потребовалось стать нищим, состарившимся, одиноким, изгнанным, только что подавания не прошу — и то! и то! даст порой кто, на нищее платье мое глядя, крендель или гривенник — и беру! и стыд-то перестал испытывать! Да я ведь по миру пошел, Христа ради пошел, куда ж ниже!

Как же вышло, что благородные побуждения юности завели меня на рубеж, дальше которого уже и нет ничего?! Ведь действительно получилось, что я своим убеждениям всем, всем пожертвовал — ничего в жизни не имею, гол, как праведник!

Сам-то я знаю, и клянусь, что не настолько же я был подвержен поиску истины, служению справедливости, чтоб за них умереть в цвете лет нищим под забором! — а вот умираю нищим под забором.

А самое парадоксальное — за что? Ведь я совсем не тот, что был в двадцать лет, и нет у меня уже тех святых и наивных убеждений, что тогда были! нету! жизнь их вытоптала, выбила, развеяла. За что же я страдаю и гибну? Я нищ — а нищету ненавижу! Праведен — а праведность презираю! не хочу я ее, само собой это получилось. Не делаю ничего — а бездель-

ников не переносу, хочу дела, мне не хватает его, мне деятельность требуется.

А какая? Ради куска хлеба? — мало, скучно, труда не стоит. Ради мелкого достатка? Нет; меня лишь большое удовлетворит.

Значит — добиваться, рвать, идти вперед, вверх...

... Так зачем же человек вступает на путь карьеры — если заранее предвидит все издержки и горести? А ведь вступает...

Человек большой карьеры счастлив — на самый поверхностный взгляд. На взгляд более углубленный — доля его тяжка:

Семья ему не отрада. Женится обычно по расчету. Дети растут чужими. У него нет настоящего домашнего очага — блеск особняков в беде не согреет, выгодная жена в горе не утешит. Вот его любовь.

Любовница? красива и молода — из денег и выгод. Бросит его первая чуть что, продаст, сменит на лучшего при удобном случае.

Деньги? куда они ему — и имеющихся-то не потратить. А вот и старость: здоровье ни к черту, ходит с трудом, ест по диете, хмур и мрачен, — что радости в миллионах?..

Слава? в глаза-то льстят, за спиной плюются. Померет — и слезы не проронят: собаке собачья смерть. Презрение и ненависть.

Дела его? Нет никаких дел, одна суета и видимость.

Положение? Жри все время других, и бойся, что они сожрут тебя.

Отдых, безделье? Тоже нет. Ведь заняты все время, что-то делают, устраивают, договариваются, ни часа свободного, устают смертельно, здоровье гребят, в могилу сходят раньше времени.

И хоть бы радость, счастье в этом имели — так ведь тоже нет! Озабочены, насторожены, вечно козни подозревают, угрозы своему положению; тяжело им, хлопотно, невесело.

Делают что хотят? — и вовсе нет! Рабы они своего места, делают только то, что выгодно месту — удер-

жать; чтоб начальство не осердилось, подчиненный не подсел. За рамки эти жестокие — не вышагнуть!

Почему же не выйти в отставку, не отдохнуть на покое, наслаждаясь плодами долгого труда и праздностью?

Во-первых — не очень-то и дадут. За долгую карьеру врагов много себе нажил, и как власти лишится — за все ему отомстить могут, в клочья разорвать, лишит последнего, в гроб загнать, а семью пустить по миру. Уйти с поста — самому себя зубов лишит, которые нужны нажитое охранять и врагов сдерживать. Затянуло колесо, горят глазами волки, назад хода уже нет.

Во-вторых, нелегко на старости лет резко снижаться в глазах людей, в весе, в образе жизни. Был почет — а тут могут и руки не подать, не узнать бывшие подхалимы. То семье твоей кланялись все — а тут она обделенной себя чувствует, обедневшей, чуть не нищей, униженной.

В-третьих — а ведь никакой другой радости-то в жизни, кроме службы на посту высоком, и не осталось уже! Ведь всю жизнь себя к одному-единственному приспособлявал — карьеру делать; этому всем жертвовал, все подчинял, — куда ж теперь деться? Семья чужая, здоровья нет, желания все угасли, поветрились, — вся-то жизнь в одном-единственном осталась, сосредоточилась: лишняя награда, благодарность начальства, хвала подчиненных, уверяющих тебя в мудрости и величии твоём. Этого последнего лишиться — что ж тогда вообще в жизни останется?..

А самое главное — человек должен стараться делать самое большое, на что он в жизни способен. Это закон жизни. Трудно, как трудно дойти до вершин в карьере, еще труднее бывает там удержаться. Все силы, все помыслы на это, всей жизнью своей на это себя натаскивал; это — смысл жизни карьериста.

И это главное, этот закон жизни побуждает меня пойти по стезе карьеры. Я себе иллюзий не строю: я в тридцать лет эгоист и нигилист законченный. Ни во что не верю и кроме собственного блага и удовольствия ничего не желаю.

Куда ж мне податься, кроме служебной карьеры? Никаких особенных талантов у меня нет, искусства и науки того не дадут, что служба; не торговлей же деньги сколачивать: почет не тот, престиж не тот; да и я много умней, образованней торгашей — чего ж способностям моим зря пропадать?

А настоящая карьера — всех сил, всех способностей требует. И актерских, и памяти, и работоспособности, и внешних данных, и характера, — здесь я всего себя приложить смогу.

Зачем? — А зачем все?.. Тогда все бессмысленно. Нищий гений писал картины — а ими услаждаются тупые богачи; где смысл? А в том, что я сказал: максимально прикладывать в жизни все свои силы.

Зачем? Затем, что прозябать в нищете и унижении я далее не могу. Я не имею средств содержать семью, у меня нет приличного платья, я питаюсь от чего отставной инвалид отвернется. Друзья мои вышли наверх и меня не узнают, молодость пропадает впустую, люди, несравненно ниже меня по уму, образованию, душе, — спесиво унижают меня на каждом шагу; я не могу так больше!!

Я страдаю от моего положения, страдание это доставляет постоянную и мучительную боль, боль вызывает злобу на всех: кто выше, потому что я по качествам личности своей лучше их; кто рядом — потому что я не ровня этим мелким сошкам, тупым обывателям; кто ниже — свиньям и рабским созданиям, грубым, пьяным, не желающим ничего, кроме сытого пьянства в своем хлеву.

О, рядом с ними люди карьеры — это герои, сверхчеловеки! Они могущественны, умны, энергичны, приятны в общении! У них довольно ума, чтоб понять лживость и фарисейство морали, смеяться над этими бреднями для бедных дураков. У них довольно силы и энергии работать непрестанно, довольно мужества, чтобы прокладывать себе путь там, где никто никому пощады не дает. У них достаточно бодрости и веселья, чтобы никогда не унывать, не жаловаться, подниматься из падения с улыбкой и снова шагать наверх.

Жизнь — борьба: вот они борются и побеждают.

Где бедняк плачет — человек карьеры стискивает зубы. Где бедняк проклинаят — человек карьеры смеется. Где бедняк обвиняет весь мир в своих бедах — человек карьеры холодно делает себе урок из собственной ошибки. Он знает, что все люди — враги, и во всем можно обвинять только себя самого: плохо рассчитал, слабо добивался.

Рядом с бедняком я сам чувствую, что становлюсь смиреннее, слабее, мельче; рядом с человеком карьеры я словно подзаряжаюсь его энергией, оптимизмом, жесткостью, сознанием достижимости любой цели.

Кто же достойнее: кто видит жизнь в истинном свете и живет по ее законам — или тот, кто не желает снять розовые очки и отягощает всех своими сетованиями? Тот, кто имеет силы повелевать — или тот, кто в слабости подчиняется? Тот, кто может сделать что угодно — или тот, кто не может сделать даже собственное скромное благополучие? Кто имеет ум обманывать — или кто имеет глупость обманываться? Кто равнодушно принимает поклонение, презирая льстецов, — или кто подбострастно кланяется, смиряя свою ненависть?

Только тот, кто стоит высоко, имеет возможность что-то совершить в жизни, влиять на нее. Иначе — затопчут тебя вместе с твоими благими намерениями и предложениями. Ведь каждый в жизни охраняет собственное благополучие и интересы — поэтому надо быть сильным, чтобы совершить что-то. А сила в человеческом обществе — это власть и деньги.

Власть же по плечу только сильным. Повелевать людьми, внушать другим свою волю, добиваться исполнения ее — это тяжкий труд, далеко не каждому посильный. Это особый склад натуры; слабого такой груз отпугнет, оттолкнет.

Только имеющий власть может что-то изменить, улучшить в обществе: он имеет для этого средства. Это мог император Петр, а вот чиновничек благодушный ни шиша не может изменить.

Вот и получается, что куда ни кинь — но если ты личность сильная, энергичная, богатая, — то никуда,

кроме карьеры, тебе не податься. И добро творить — надо для этого возможностей, власти творить его добиться, и личное благо урвать — опять же карьера, если не стезя тебе торговать, подкупать полицию и подличать перед всякой властью униженно; а это не по мне.

Что ж; я потерял много времени для карьеры — но имею сейчас много опыта, целеустремленности, рассудительности. Еще есть время все наверстать. Да и — с самого низа как куда ни пойдешь — все наверх выйдет.

Что ж мне, как Дмитревскому, в каторгу идти? Не хочу. Чего ради? Ах, Дмитревский, слушал я тебя некогда, да не послушал ты меня... Один ты был друг у меня... Что бы я ни отдал сейчас, чтоб вызволить тебя, помочь... Вот опять же: сила нужна для всего: имел бы я сейчас власть, влияние — и твою бы участь облегчил... Дитя мое наивное... Иной мой путь теперь, иной. Авось когда еще свидимся — сам поймешь, что за мной правда: за жизнью...

Глава вторая **ПУТЬ НАВЕРХ**

Скромный чин. Вхождение.

изнутри:

1. Полное подчинение всех страстей и желаний воле и рассудку.
2. Готовность на любые средства и поступки во имя цели.
3. Постоянный анализ поступков: разбор ошибок, учет удач.
4. Крепить в себе самообладание, терпение, волю, веру в успех.
5. Приучиться видеть в людях шахматные фигуры в твоей игре.
6. Голый прагматизм, избавление от совести и морали.
7. Овладение актерством: убедительно изображать нужные чувства.

8. Готовность и стойкое спокойствие к взлетам и неудачам.
9. Готовность и желание постоянной борьбы в движении к успеху.
10. Целеустремленность, равнодушие ко всему, что не способствует успеху.
11. Постоянная готовность использовать любой шанс, поиск любого шанса.
12. Беречь здоровье — залог сил, выносливости, самой жизни.

снаружи:

1. Позаботься о первом впечатлении от себя: оно многое определит.
2. Будь опрятен, аккуратен, подтянут — но без щегольства и претензий.
3. Будь скромнен. Не заводи разговора первый. Не вылезай вперед.
4. Не выделяйся. Не будь первым ни в чем. Держись в тени.
5. Будь ровен, тих, неприметен, не весел и не грустен. Разделяй общее настроение — искренне, но скромно. Не раздражай веселых своим унынием, а хмурых — весельем.
6. Не проявляй инициативы. На работу не напрашивайся, от работы не бегай. Исполни добросовестно и в срок — не лучше всех.
7. Ты не должен давать никаких поводов для зависти или жалости — ни недостатком, ни успехами, ни перспективами, ни здоровьем. Помни: пока ты мелок и зависим от всех, тебе опасна неприязнь любого, нужно добиться доброго к себе отношения от всех.
8. Начни общение с человека маленького, забитого: он станет предан тебе бескорыстно во всем.
9. Не имей врагов. Не участвуй ни в чьей травле, если не уверился в ее полной для себя безвредности — и только если она необходима тебе для союза с другими.

10. Не излишне часто спрашивай совета в работе, выражая неуверенность, что сможешь достигнуть мастерства имярек: это располагает к тебе, говорит о значительности спрашиваемого и незначительности, но разумности, доброте, скромности твоей.
11. Изучай, изучай и еще раз изучай коллег и особенно начальство. Делайся преданнейшим другом человеку наиболее влиятельному и перспективному.
12. Будь собранием всех добродетелей — не подчеркивая, лишен всех пороков — неприметно; ты должен добиться, чтобы коллеги любили в тебе человека доброго, неглупого, отзывчивого, порядочного, приятного — но неконкурентоспособного и малозначительного.
13. Не торопись. Промах в начале пути особенно тяжело исправим.

Сносный чин.

Библиотека честолюбца:

«Никогда не быть бедным».

Князь Талейран.

«Полное подчинение всех страстей и желаний воле и рассудку».

Наполеон.

«В общество надо вкрасься как чума или врезаться как пушечное ядро. Смотрите на людей как на лошадей, которых надо загонять и менять на станциях».

Бальзак.

«Начальник есть богом данное начальство».

Козьма Прутков.

«Лишь раболепная посредственность достигает всего».

Бомарше.

«Умными мы называем людей, которые с нами соглашаются».

Вильям Блейк.

«Для успеха по службе были нужны не усилия, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только умение обращаться с теми, кто вознаграждает за службу, — и он часто удивлялся своим быстрым успехам и тому, как другие могли не понимать этого».

Граф Толстой.

Изучайте человека

1. Внимательно наблюдайте: его лицо, фигуру, манеры и т. п. Физиономистика и психология — ваше постоянное оружие.
2. Узнайте о нем все: семья, прошлое, привычки, болезни, вкусы, увлечения, симпатии и антипатии, друзья и враги, дети и женщины, слабости и пороки, этапы карьеры, достаток, претензии, перспективы и т. д.
3. Старайтесь влезть в его шкуру, на все смотреть с его точки зрения, добивайтесь некоего слияния своей внутренней личности с его.
4. Думайте о нем постоянно, сопоставляйте, анализируйте, — лицо, возраст, фигуру, почерк, гороскоп, линии руки, обстоятельства рождения и женитьбы, привычку одеваться и т. п.
5. Сведите знакомство, лично или через чье-то посредство (слуг, родственников, коллег) с кем-либо из его близких, родных, друзей.
6. Узнайте там, где он служил ранее, каков он был в иной роли и иных обстоятельствах.
7. Пользуйтесь каждой возможностью — и создавайте эти возможности сами, но незаметно — узнавать его мнение обо всем, и прежде всего — о нем самом: косвенно это явствует из всех его высказываний.
8. Узнав о каком-то событии, старайтесь предугадать, вычислить его реакцию на это событие. Ошибки

анализируйте, уточняя себе образ и характер этого человека.

9. Главное, что надо знать о человеке:
 - а) чего он больше всего хочет, не хочет, любит, боится, уважает, презирает;
 - б) каков он на самом деле, каким он сам себя представляет, каким его представляют другие, какими он представляет других;
 - в) как, познав его, вызвать его любовь, ненависть, уважение, презрение, гнев, умиротворение, благодарность, страх, жалость.
10. И постоянно развивайте в себе интуицию, наблюдательность, умение сопоставлять и делать заключения, предвидя ситуацию.

Пристойный чин.

Начальники.

1. Сделавший карьеру с самого низа; трудно и медленно, в тяжелых условиях, сам всего добившийся, — умен, жесток, безжалостен, требователен, все может понять — но не снизить. Не склонен прощать промахи. Грубую лесть не приемлет — это средство ему знакомо, с ним дает обратный эффект. Услуги и подарки принимает охотно, но благодарности не испытывает. Наиболее трудный тип: ведь то, что ты сейчас делаешь, ему знакомо по собственному опыту.

Средства: образцовое исполнение своих обязанностей. Работа сверх меры, но без рекламы. Точное исполнение приказов, демонстративная безжалостность к себе и подчиненным. Изображаемый тип: ревностный служака.

2. Подлипала: сделавший карьеру снизу, прислуживая тянувшему его за собой хозяину. Наилучший тип — максимально предсказуем в действиях и реакциях: чванлив, заносчив, самолюбив, самодоволен, необразован, глуп, труслив, избегает инициативы и ответственности. Хорошо реагирует на неумеренную лесть. Подарки принимает как должное. Раболепие обожает.

Опасность: хитер, осторожен, нерешителен, переменчив. Ревнует к вниманию своего хозяина. Слабость: робеет перед твоей связью с высокой персоной — дошедший до него слух об этом способен творить чудеса.

3. Выскочка: быстро взошел снизу благодаря случаю, обстоятельствам, удаче. Неплохой тип: не успел слишком озлиться в борьбе, самоуверенность (от успехов) перемежается с неуверенностью (от недостатка знаний, опыта, привычки к своему положению). Благодарен за почтительную помощь и поддержку снизу: особенно ценит «даримые» идеи, сделанную подчиненным за него работу и т. п. Очень признателен за уверения в его полной компетентности, хвалы необычайным способностям, позволившим сделать быструю карьеру: может возражать, но душой жаждет убеждений в этом. Угодливости, дорогих подарков конфузится, не любит. Предпочитает подчиненных компетентных, с чувством собственного достоинства — при условии, что они умеют поставить себя ниже его. Способен на жалость, порыв, благородство, сочувствие: может войти в положение.

4. Высокопоставленный болван: солдафон, тупым усердием выслужившийся в генералы. Средство: беспрекословное подчинение в подражательном стиле. Будучи честным идиотом, он может сам рекомендовать вас выше. Если нет — перепрыгивать или огибать его, завязывая отношения с начальством через его голову.

5. Высокопоставленный бездельник: по происхождению баловень судьбы. Всю его работу мягко взять на себя — это он особенно ценит. Легко прибирается к рукам, ему можно внушить что угодно. Слабоволен, ибо более всего ценит покой и веселье. Изменчив, легкомыслен, непредусмотрителен. Подчиненных думает что любит, хотя их не знает. Способен на благородные порывы — но и на полные низости. Ощущает себя настолько выше сортом подчиненных, что умиляется своей добротой, говоря с ними как с равными.

6. Сынок с хваткой: отпрыск могущественного лица, карьера которого намерена взойти к самым звездам, молодой богач с огромной перспективой. О! — за его спиной можно подняться ввысь, в него надо вцеплять-

ся, как блоха в собачий хвост, этот начальник может быть судьбой на всю жизнь. По неопытности и безнаказанности склонен к ошибкам. Ошибки эти брать на себя и других — прежде, чем он почувствует неловкость: не дать ему оконфузиться, на его ухабы подстилать собственную спину! Учить его — в форме вопросов, на которые сам предлагаешь варианты ответов, сомневаясь в своих действиях — и таким образом освещать ему весь круг проблем. Заранее готовить запасные варианты по его ошибочным приказам — чтобы в первый же миг представить их как естественно входящие в ваши обязанности. Внушать ему, что служить под ним крайне легко и приятно: он дает инициативу, позволяет расти, побуждает к наилучшим решениям — а это-то и есть идеальный начальник: и посоветуется, и похвалит, и зажжет своей молодой энергией.

7. Пустое место: малоспособен, бесхарактерен, тих, добр, мягок, — сделал карьеру волею начальников, случайностей, отсутствием под рукой более подходящих кандидатов — за свое согласие со всеми, порядочность, отсутствие злых слухов, проступков и врагов, за хороший послушной список. Самой судьбой предназначен, чтоб выдоить его до конца и при возможности съесть. Основная черта — неспособность к организованному сопротивлению: податлив, робок. Обязывать его благодарностью, апеллировать к справедливости, демонстрировать свои невознагражденные добродетели. Прибирается к рукам полностью. Особенно ценен тем, что сам же будет хлопотать за тебя в верхах. Опасность: слабый характер, постоянно понуждаемый, может дать взрыв, подсознательно стремясь к освобождению. Не терять с ним бдительности, не пережимать, чтоб его деликатность всегда перевешивала внутреннее раздражение: пусть злится, но делает то, что тебе надо. Будь почтителен и осторожен — он злопамятен на обиду. Но даже не любя тебя, поступает так, как диктуют его представления о порядочном человеке, каковым он себя считает прежде всего. Поэтому с ним хорош полный диапазон: от слезных мольб до жесткого требования своих прав. Его возможный отказ заранее можно парировать заяв-

лением, что он откажет из личных чувств: этого он стесняется и поступает согласно вашей просьбе и даже в ущерб собственным интересам.

8. Отыгравшийся: уже готовится к отставке и пенсии. Слегка зол, что не достиг большего, печален, что конец. А). Подумывает о преемнике, о своей доброй памяти. — Умильно перенимать его опыт, на словах от преемничества отказываться, плакать о его доброте, незаменимости, мудрости. Б). Махнул на все рукой — «после нас хоть потоп». — Исподволь брать все вожжи самому, выполнять работу свою, его, — пусть себе бездельничает всласть. В). Самодурствует под конец. — Незаметно смягчать его приказы, облегчая участь прочих подчиненных, а ему хвалить его энергию: пение хвалы и полный саботаж с прицелом на то, чтоб удовлетворить своей деятельностью вышестоящее начальство.

9. Застрявший: давно рассчитывает на повышение. А). Всеми силами толкать его наверх, помогать ему, организовать кампанию по его выдвижению. — Либо займешь его место, либо он потащит тебя за собой. Б). Желание его выдвижения сделать видимым предлогом для своей активной деятельности — и использовать как отвлекающий момент, чтоб обойти по службе этот вросший пень.

10. Пониженный: видал лучшие виды, обижен, желчен, страдает, надеется вернуться обратно в высокие сферы. В тонкости дела не вникает, привык к иному размаху. Убеждать его в достоверных известиях об его скором повышении, петь дифирамбы, клясть несправедливость. Аналогично номеру девятому.

Изрядный чин.

Искусство лести:

1. Лесть должна казаться человеку правдой. Необходим индивидуальный подход: знать, каким человек считает себя сам — и каким он хочет себя считать.
2. Умелая лесть — сильное и безотказное средство.

3. Любую лесть проглотят тогда, когда уверены в вашем уме, доброжелательности, компетентности, бескорыстии.
4. Дураку годится и самая грубая лесть, граничащая с издевкой.
5. Умный и опытный, заметив лесть, настораживается и не доверяет вам более; лесть — это агрессия на колених; умному надо льстить тонко и точно.
6. Лесть должна быть уместной — гармонировать с ситуацией и настроением.
7. Составляйте себе репутацию человека сдержанного, честного, нельстивого — тогда ваша лесть будет действовать сильнее и вернее.
8. Избегайте прямой лести — открытого восхваления и восхищения, если не убеждены полностью, что она уместна.
9. «Случайная лесть» — льстить за глаза так, чтоб человек «случайно» это подслушал.
10. «Косвенная лесть» — как бы передавать человеку мнение других, особенно тех, к кому он прислушался бы.
11. «Переданная лесть» — льстить за глаза близким ему людям, с расчетом, что они ему передадут.
12. Выразить желание когда-нибудь хоть приблизиться к его уровню достоинств.
13. Признаваться в доброй зависти: прямо — своей, косвенно — чьей-то зависти к его достоинствам и успехам.
14. Объявлять его примером для подражания: прямо — своим, косвенно — чьим-то.
15. Удивляться его мудрости, способностям, талантам и т.п. — без лестных слов.

Искусство клеветы:

1. Осуждать «нелепый слух», излагая его содержание.
2. «Защищать» человека от слуха, излагая таковой.
3. Рассказывать «по великому секрету» тому, кто разнесет, — выдумывая надежный и непроверяемый источник и открещиваясь самому.

4. Наводящими вопросами побуждать чьего-то врага допускать предположения, и затем ссылаться на сего врага, делая его источником.
5. Приписывать человеку глубокую скрытность, притворство, тайные умыслы: подозрение, не имея явной пищи, само начнет толковать нейтральные черты и поступки в пользу обвинения.
6. Вытаскивать такие истории из прошлого человека, где уже нельзя определить и доказать истину, и толковать факты в неблагоприятном свете.
7. Для реальных поступков человека находить низкие побуждения.
8. Приписывать ему зависть к собеседнику: этому верят особенно охотно.
9. Провоцировать его вопросами на неосторожные ответы и пересказывать их.
10. Заранее предсказать какой-то очевидный его поступок, представив его как следствие скверных, скрытых умыслов: сбывшись, такой поступок очень убеждает всех в правоте ваших суждений о нем.
11. Анонимные письма и доносы.
12. Подкупленные лжесвидетели, жалующиеся начальству, семье, друзьям и т. п.

Искусство интриги:

1. Интрига — это такая игра в шахматы, где сражающиеся на доске фигуры воображают себя игроками, а двигающий их игрок остается невидим и неизвестен, пожиная все плоды победы.
2. Искусство интриги состоит в том, чтобы определить нужных людей, знать, как они поступят при соответствующих условиях и обстоятельствах, и эти поступки соединить, как звенья, в цепь, идущую от вас к вашей цели.
3. Преимущество интриги состоит в том, что люди, несравненно более могущественные, чем вы сами, добиваются ваших интересов со всем напором, полагая, что действуют в интересах собственных.
4. Тонкость интриги состоит в том, что каждый участник действия лично заинтересован в своих поступках,

руководствуется собственными желаниями и страстями, и двигает механизм интриги в нужном вам направлении — даже вопреки своей выгоде.

5. Безопасность интриги заключается в том, что вы сами делаете лишь первые один или несколько ходов, невинных, незаметных и безопасных, а ко всему дальнейшему не только не имеете отношения, но даже напротив — можете выбрать такую линию поведения, чтобы в глазах окружающих выглядеть безусловно и осуждать тех, кто тратит силы в неблагоприятных действиях, ведущих к нужной вам конечной цели.

6. Надежность интриги заключается в том, что главную цепь действий можно подкрепить целым рядом запасных вариантов, а уязвимые узлы усилить дополнительно вовлекаемыми лицами.

7. Эффект интриги заключается в том, что в результате разных событий, к которым вы не имеете никакого отношения, вы получаете то, что вам нужно, сохраняя репутацию человека, который ничего не добивается и наверх не лезет.

8. Недоказуемость интриги в том, что лично вы не только ни в чем не можете быть признаны виновны, но и действительно не совершали абсолютно ничего неблагоприятного, да и вовсе ничего не совершили, ваши слова и поступки сами по себе не имеют ни малейшего значения, а за действия людей, которые вам не подчинены, от вас не зависят, которых вы ни к чему не подстрекали — напротив, возможно, предостерегали от того, что они стали делать далее, — вы за все это никак не можете отвечать.

9. Неотвратимость интриги в том, что вы в покое обдумываете все звенья и варианты, подготавливаете все действия незаметно для всех — а затем разом запускаете механизм, который люди уже не только не успевают остановить, но даже не могут увидеть целиком в совокупности всех частей, а видят лишь отдельные явления, внешне даже не связанные между собой.

10. Гарантия интриги в том, что у каждого человека есть слабые стороны, желания и страсти, грехи и мечты, каждый способен на какие-то предсказуемые шаги,

каждого можно какими-то известиями и предупреждениями заставить сделать шаг, невинный и нетрудный для него сам по себе, но вызывающий чей-то следующий шаг.

Высокий чин.

Жри их всех:

1. Избавляться от всех конкурентов: явных, скрытых и потенциальных.
2. Ставить невыполнимые задачи.
3. Перегружать работой. При жалобах — не давать работы и наказывать за безделье.
4. Поощрять их ошибочные действия до полного конфуза и провала.
5. Рекомендовать их в чужие ведомства и даже искать им там места.
6. Постоянно задевать их самолюбие, изводя им нервы.
7. Постоянно дергать их по пустякам, не давая работать.
8. Стравливать их друг с другом.
9. Подавать им надежды, не выполняя обещанного.
10. При увольнении провожать с почетом, с хорошими рекомендациями — дабы все знали, что лучше уйти, чем остаться.
11. Если его работа ладится — передать ее другому.
12. Успехи замалчивать, недостатки раздувать.
13. Постоянно приводить им в пример работников явно худших.
14. Найти темные пятна в их прошлом и настоящем.
15. Известить, что его место обещано другому.
16. Провоцировать на грубость и проступки.
17. Оказать «доверие», которое невозможно оправдать и даст повод для выговора.
18. Возложить ответственность за явно невыполнимое дело.
19. Склонить к служебному злоупотреблению — и раскрыть с позором.

20. Захваливать настолько, чтобы он явно не оправдывал похвал.
21. Ставить его под начальство его врага или завистника.
22. Дать ему в подчинение бездельника — и упрекать за неумение справляться с подчиненными.

Не упускай своего:

1. Выгодная женитьба на деньгах, связях, положении.
2. Не раскрывать душу никому: никому нельзя доверять.
3. Не быть мстительным и злопамятным: это отвлекает силы от пути наверх. Напротив, великодушные располагает к вам.
4. Богатеть любыми способами. Скрыть богатство легче, чем бедность. Деньги позволяют управлять людьми, покупая им нужные вещи, удовольствия, услуги, посты. Любое предприятие нуждается в деньгах; отсутствие их подрывает самый гениальный план, заставляет упустить порой единственный шанс.
5. Польза от обладания суммой должна покрывать вред вашей репутации, нанесенный способом, каким эта сумма добыта: миллион покроет практически любые моральные издержки и откроет перед вами более дверей наверх, чем закрыло его приобретение.
6. Не будьте скарены: умеете тратить много, чтоб получить больше.
7. Кажитесь щедры, но будьте расчетливы: скупость сохранит богатство, позволяющее щедрость, мотовство развеет его и уничтожит самую возможность щедрости.
8. Умейте внушать страх: люди ценят доброе расположение того, за кем знают силу и власть смять их, кого боялись бы иметь врагом, но пренебрегают тем, кто вообще добр и не может быть им опасен.
9. Всегда давайте подчиненным чувствовать пропасть между ними и собой. И только когда достигнете

самых больших высот — иногда перешагивайте эту пропасть и держитесь на равных: тогда это уже будет восприниматься с восторгом и повышать ваш авторитет.

10. Демонстрируйте справедливость и доброту, публично помогая несчастным, которые абсолютно неопасны, пользуются жалостью окружающих и будут славить вас потом всю жизнь.

Всемогущий чин.

ВОЛК СРЕДИ ВОЛКОВ.

- Ну... здравствуй, Дмитревский.
- Чему обязан, ваше высокопревосходительство?
- И кандалов с тебя не сняли...
- Да, и ковров не постелили в камере.
- Что ж, и руки не подашь?..

— Немыты, ваше высокопревосходительство. Да и неловко в кандалах, знаете. Завтра поутру почтите ли присутствием? будут давать небольшой спектакль со мной в главной роли. Прошу! абонирую вам место в первом ряду у эшафота. Или кресло на помосте прикажете?

— Перестань ерничать, Дмитревский... Ты что, не узнаешь?

- Не имею чести.
- Прощение о помиловании не подашь?
- Нет, не подам.
- Отчего?

— Чтоб совесть вам облегчить. Что, мол, сам виноват. Ведь все равно повесите. Разве не так?

— Может, и не так.

— То-то: может... Не будем считать друг друга за дурачков, ваше высокопревосходительство.

— Да оставь ты это «высокопревосходительство»!.. Дмитревский, ведь это же я к тебе пришел...

— Зачем?

— Не знаю... Сказать тебе многое надо... Не так-то все просто в жизни.

— Вы не ко мне пришли. К своей совести. И все ответы мои знаете сами.

— Тебе не страшно?

— Нет.

— А мне страшно.

— Ничем не могу помочь.

— Можешь.

— Чем же? Утешить, что вы совершенно ни в чем не виновны, утвердив мой смертный приговор?

— У тебя есть, может быть, последнее желание? Я сделаю все; исполню, передам.

— Нет.

— Хорошо... Тогда у меня есть... Ты можешь исполнить мою последнюю к тебе просьбу, Дмитревский? ради тех далеких счастливых лет, когда я, щенок, был влюблен в тебя, смотрел тебе в рот?

— Вы, кажется, решили исповедаться завтрашнему висельнику?

— Не плюй мне в душу... это неблагородно, недостойно тебя.

— Нет у вас души. И вообще — позвольте мне поспать. Тьфу, да что за иудины слезы! Утри сопли и ступай в свою резиденцию, лопух эдакий!

— Друг милый, ведь ничего у меня теперь не останется в жизни, ничего!.. ведь ненавижу я их всех, ненавижу!.. как же это так вышло...

— Да? Так пиши приказ о моем освобождении — и бежим. А?

— Невозможно.

— Отчего?

— Я всего себя отдал за эту карьеру. От меня уже ничего не осталось. Понимаешь — ведь человек тех любит, кто его любит. Вот я каждого, каждого, с кем жизнь сводила, не просто обольщал — а чем-то и любил. Насильно. Дружил. Улыбался. Старался все лучшее в нем видеть — иначе ведь вынести невозможно. И вышло — что каждому отрезал я ломоть от любви своей. От души своей. Всех их любил, кого друзьями себе сделал, подлецов, эгоистов, сановников, дураков... и себе уже ничего не осталось.

— Видишь, какая у нас многозначительная ситуация, да? — мертвый вешает живого. Достоинственно немецких романтиков.

— Как ты можешь шутить?

— А я — живой. И любовь отдал тем, кого любил. И жизнь — тому, во что верил.

— А я ведь тебе завидую, Дмитревский.

— Врешь. Себе врешь. Ты завидуешь только тем, кто сильнее и богаче тебя.

— Когда-то, много лет назад, я мечтал, что стану богатым, сильным, — и при случае помогу тебе, спасу...

— Ценю благие намерения. А что же потом? Что теперь?

— А потом... Чем выше поднимаешься, тем беспощаднее борьба, смертельнее вражда, каждый старается уничтожить каждого, кто может ему помешать. Пока однажды не почувствуешь, что ты готов своими руками убить любого, лишь бы подняться еще на одну ступеньку: все прочее не имеет уже для тебя цены. И вот тогда ты готов, созрел для настоящей карьеры.

— Поздравляю.

— Но я никогда не мог бы подумать, что это может быть так буквально. Ведь я не хотел, клянусь тебе... Я не знаю, как это все сложилось... клянусь тебе всем святым, что я не хотел, не хотел дойти до того, чтобы казнить человека, которого боготворил!

— Ладно, облегчу твою душу... Я тоже никогда не хотел быть повешенным. И никогда не хотел быть в каторге. Не хотел быть нищим, не хотел болеть чахоткой. Когда я в первый раз попал в Акатуй, я ночами в изумлении спрашивал себя: как же это вышло?... Да, я имею идеалы, верю в иное и лучшее будущее, хочу способствовать его приходу — но не апостол я, нет! я тоже хочу любви, счастья, благополучия, хочу иметь семью, детей, хочу работать, и не бегать вечно от полиции. Видно, наши желания всегда заводят нас дальше, чем мы сами предполагаем.

— Как странно слышать это от тебя... В тридцать лет я думал точно так же... и тогда я сделал выбор.

— И вот ты здесь.

— И вот мы оба здесь. Но ужас в том, что я прав! Я, подлец, живу и властвую! а ты, святой, принимаешь смерть. Значит, правда жизни на моей стороне?

— Тогда почему ты мне жалуешься на свою жизнь, а не я тебе? Почему мне нечего исправлять в моей жизни, а тебе твоя противна?

— Потому что умереть святым проще, чем жить грешником.

— Красивые слова... Я помню твои юношеские письма. Ты все тогда правильно понимал. Просто духу у тебя не хватило, урвать свой кусок захотелось.

— Разве это такой большой грех?

— Нет. Только не плачь теперь. В конце концов, это меня завтра вешают, а не тебя.

— Откуда у тебя столько духа?

— А я верю в то, что больше, значительнее меня. А все, что дорого тебе — существует для тебя одного. После меня останется мое дело, а после тебя — только деньги и ордена.

— Обречено твое дело, ничего ты не изменишь в мире, люди таковы, каковы они есть, неужели ты не понимаешь!!

— Совсем ты поглупел. Вечно мое дело, бессмертно, непобедимо! Уж если лучшие из людей всегда всем жертвовали, и жизнью самой, за это дело, — значит, ценность его выше твоей брэнной житейской выгоды, а? Значит, есть счастье высшее, чем грызть ближнего и возвыситься над ним, а? Так-то. Иди, иди. И распорядись дать мне утром чистую рубаху и побрить. Ну, ступай, бедолага.

Глава третья

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК

175 см. Жена.

— Милочка, ты прости мне мои откровенности... нервы совсем расшалились... ах, налей еще, налей. Мы же с тобой с детства дружим, ты же знаешь, я всегда

рассудительной была... а сейчас не знаю, что и делать... я с ума сойду! с ума сойду, если хоть с тобой не поделюсь...

Ой, ерунда, про любовниц его я давно знаю, и актриску эту подлую содержит... сначала плакала, потом рукой махнула, что ж делать, все они такие; и дети растут, куда я денусь... я понимала всегда прекрасно, что он из выгоды на мне женился, такой видный, красивый... а он кого хочешь обольстить умеет, уговорит, уломает, внушит что угодно, — особенно если сама в это верить хочешь...

Не бьет, как ты могла подумать!.. ах, что я опять вру, уже ведь и руку поднимал, и слова говорил такие, такие, что подумать страшно... Я уж и с этим смирилась, мало ли как в семье бывает; и вдруг последнее время совсем все ужасно стало...

Встань пожалуйста, душечка. Прошу тебя, на минутку. Вот. Не удивляйся... Мы же с тобой всегда одного роста были, правда? О, не смотри на меня так, я нормальна, нормальна, не сумасшедшая я!

Скажи... я ведь не стала больше... ну, выше — не стала, нет?

Вот слушай. Это все так началось: он в присутствие одевался, мундир надевает новый — а рукава длинные. Он загорячился — и Павлуше, камердинеру, в ухо и стукнул. Ведь уже много лет шьется ему все по одной мерке, он совсем не толстеет, не меняется, такой же красивый... изверг...

Мундир тот же час подкоротили. Портного привезли, тот кается... А он и на меня ногами затопал — при людях прямо: я же за всем в доме следить должна, он так завел: а что, говорит, тебе еще делать... и слова ужасные... ну, не буду, не буду, все уже.

А назавтра фрак надевает в собрание ехать вечером — и снова та же история... Павлуше лицо в кровь разбил, портной уж на коленях ползал, а мне... на меня... водички подай, да.

Я мышьяку принять хотела... всему предел есть. Никакой радости не осталось, дети чужие растут, злые, в доме страх всегда, копейки на расходы нет... вот —

выйди замуж за бедного и благородного, так сама станешь бедной и благородной: ему честь, а тебе горе.

А вечером он ко мне в спальню мириться пришел. Бледный, несчастный, дрожит, лица нет. Господи, когда он добрый бывает — да я всю жизнь, всю кровь ему отдам, лучше него нет тогда человека на свете! А ведь вначале он всегда был такой...

И вот, ночью... муж ведь, милочка, ты понимаешь, есть много, как бы это сказать.. примет разных... Ведь после свадьбы, первое-то время, это такое счастье было, все как сейчас живое помнится. И вот у меня такое ощущение возникло, словно... словно он поменьше как бы стал.

Как же редко, думаю, он ко мне приходит, что я уже и забывать его как мужа стала.

А назавтра он так злобно на меня посмотрел: что, говорит, вытаращилась, кукла чертова? А я смотрю и плачу, так люблю его...

А после слов этих вспомнила сомнения ночные: он ведь раньше такой большой казался мне, высокий, сильный. А тут как пелена с глаз: и вовсе не такой большой он. Нет, не маленький, но — обычный. Обычный.

Я на него всегда снизу вверх заглядывала, на цыпочки привставала, а тут стою рядом — и ничего такого. Вот что называется ослепление юности, любовь... Среди всех он мне выше всех казался — а теперь вижу: многие и выше есть.

А он и говорит: что-то ты, матушка, вовсе стала костлява и долговяза. Растешь на старости лет, что ли? И это при лакеях! У меня как в голове закружилось — и при докторе только в себя пришла.

Доктор успокоил, прописал нервы лечить: на воды, говорит, необходимо ехать. Да ведь эти доктора, они правды больному никогда не скажут. Он уехал, я все свои платья старые перемеряла, которые прислуге не отдала — и не пойму: то ли длинны оттого, что похудела сильно, а то ли... ведь невозможно.

А на него как посмотрю... и страх во мне... Он же Николая, лакея комнатного, на полголовы выше был —

а ныне подает ему Николай халат — а роста-то они одного! одного, как есть!

Я Николаю допрос вчинила, а он смеется: барин наш, отвечает, орел, как раньше, а может, и еще выше, а Павлуша разгильдяй, и портной пьяница, они сами повинились. Ну?!

Я до чего дошла: в гардеробной его стала рукава и пантолоны длиной сравнивать... не сходятся!! А Павлуша говорит: что вы, барыня, это ведь моды меняются, ныне короче носят, чем допреже, а его превосходительство должен во всем образцом быть и идеалом...

... Я уж без опия и спать не могу. Платья перешивать не успеваю, так худею. Куска проглотить не могу. До чего дошло: сын его целует, а я в ужас: да он скоро с сыном одного роста будет! Лишь потом сообразила: сын-то растет, тянется сейчас быстро, скоро юноша.

Милочка, может, ты мне француза своего доктора посоветуешь? немцы эти совсем ничего не понимают. Может, это у меня от женских неурядиц все? ведь в желтый дом угожу, или чахотка съест...

И мысль еще страшная гложет: уж не специально ли он все эти сцены подстроил, чтоб мне сумасшествие доказать, или вовсе сжить со свету? а сам после на Белопольской женится... Ведь словно одна я ума и зренья лишилась, а прочие-то все нормальны, видят все как есть!

Совсем худо мне, милая... Может, за границу одной поехать, в Швейцарию, или Баден-Баден?..

165 см. Друг.

— А ведь в одних номерах жили; обед в трактире брали на двоих один; да... А теперь допустить до себя не велит, даже в день ангела поздравить.

Я понимаю: государственная персона. Но ведь — на десять шагов не приближает никого! Входит куда — один впереди, все толпой позади на двадцать шагов. А уж ручку пожать удостоить — только сидя: два паль-

чика протянет из креслица — тот переломится, пожмет с чувством, и в поклоне к двери убирается.

Гордость, говоришь. Кхе... Ну, ты уж только — никому!..

Он почему так прямо держится, каблучки поларшинные, нос вверх? — чтоб выше быть, вот почему. А сам-то вовсе невысок, как будет залой проходить — приглядись внимательней. Невысок; низок даже!

Пусть нормальный, не в том суть. Только — я-то помню же, я ему шинель свою некогда одалживал, на службу полтора года в одну дверь ходили, — он высокий был! верно говорю, гвардейского росту, вершков девять, а то и все десять! Ей-богу, я крест приму!

Вот потому и держится всегда один, от всех поодаль, чтоб не заметить этого было в сравнении с прочими. Потому и служащих своих старинных всех поувольнял — да не просто, а так задвинул, что кто в Омске, кто в Томске, кто в Тифлисе, — подальше, долой. Хотя, говорят, наградных дал щедро, чтоб не обижались и молчали, но главное — чтоб не было рядом тех, кто его еще знал другим, высоким.

Потому, брат, и старых друзей к себе не допускает: боится, стыдится, опасается: вдруг конфуз, слухи компрометирующие, бестактный вопрос. Далеко ли до скандала...

Понятно: когда человек рослый, видный, — он и уважения больше внушает, трепета приятного, для глаз удовольствие. А у него в последние-то годы как карьера вознеслась: ведь в министры метит! да еще, может, не просто в министры, а в самые главные...

Вот оттого и сердит часто стал, ногами топает, — нервничает. То ко двору представляться, то чиновник с особым поручением от государя жалует — самое время разворачиваться! И вдруг — такая беда, что рост все меньше да меньше! А ведь одно дело назначать на большой пост человека видного, осанистого, значительного, а другое — маленького да писклявого...

А он так сумел себя поставить, на таком счету при дворе, что всегда им довольны — умеет угодить да угадать. И какие враги ему ковы строили, какие не-

доброжелатели были влиятельные и злобные, — всех обошел, смял, обдурил, всех выше поднялся. Узнают они теперь — вой подымут, осмеют, в отставку уйти заставят!

Так что обижаться на него нельзя. Такое несчастье... Лучше уж несправедливым прослыть, высокомерным, страх и ненависть внушить, — да только чтоб про слабость его не прознали, это конец.

Потому и выезжать перестал, на балы больным сказывается, общение прекратил, — никто похвалиться не может, что рядом с ним был, говорил запросто. Занятостью объясняют, здоровьем, праведностью природы: мол, все в работе, уединение и книги предпочитает, развлечений чужд... Ага! — я-то его помню чиновником мелким: услужлив, общителен, веселье всегда разделит... а порой такие кутежи начальству устраивал, все умел достать, и цыгане, и женщины, и главное — никакой огласки, все шито-крыто!

Так что я не обижаюсь, что увольняют меня из службы. Дело свое исполнял исправно, в дурном не замечался... разве что подольститься не умел. Конечно: я его бедным знал, помогал чем мог, и поэтому теперь я человек для него нежелательный: могу сказать не то, знакомством скомпрометировать, старое напомнить... не должен быть большой человек знаком с таким ничтожеством, как я. Не может он иметь со мной ничего общего, даже в прошлом.

Так что прощай, брат. Уеду к себе в Малороссию, в деревеньку... может, женюсь еще, детишек нарожу. А все же как вспомнишь иногда ночью, не спится, как мы с ним некогда в холодном номере один горшок щей трактирских ели.. и слеза прошибает. Хороший был человек.

150 см. Слуга.

— Ты как смеешь, холоп, смерд, такие вещи поганым своим языком молоть, а?! Ну что «вашскородие» «вашскородие»? Молчи, подлец! тут тебе полицейский околоток, а не кабак!

Вы, ребята, выйдите-ка: это дело государственным пахнет, я с ним, ракальей, один на один говорить буду. Да я таких вещей и повторить не смею, не то что записать. Двери плотнее затворите!

Ну, вставай с колен, хватит. Пропойца, босяк, ты как смеешь лгать, что в доме самого его высокопревосходительства служил? Врешь, сукин кот! я узнавал: ответили, что знать такого не знают!

Ну, так кто тебя надоумил говорить, что его высокопревосходительство... проссти, госссподи, слова мои грешные... что он карлой стал? А?! Что портной в доме живет и каждый день ему платье другое шьет? Что каждый день измеряется — все меньше и меньше? Да счас я тебе дам промеж глаз — ты у меня разом меньше мыши станешь!

Ты подумай дубовой своей башкой: а как он с людьми-то говорит? Ах, через двери. И еще из постели лежа, далее порога не пускает. Ну ты артист.

И ноги, значит, со стула до полу не достают? И обедать изволит в пустой столовой за закрытыми дверьми? И с женой... не твоего ума дело, негодяй!

Ты хоть понимаешь, что ты с ума спятил? А в присутствие... карету к подъезду подают, и никто не видит, как он садится? Складно! А на службе из нее выходит — тоже всем приказано подальше быть и не смотреть? А посетители что, слепые? Ах, издали, стол специальный ему сделали, маленький, чтоб не понять было.

И потому, говоришь, никто его не видит. А зачем тебе, козявке, его видеть? с тебя знать достаточно, что он есть, обязанности свои, самим государем определенные, исполняет, и бдит о тебе денно и ночью. Он не фигляр, чтоб твари всякой на глаза выставляться.

Ты над кем насмешки допускаешь, злодей! Значит, он уже и до дверных ручек еле достает, и на цыпочки поднимается, чтобы на стол заглянуть, и под стул прячется, если ненароком зайдет кто... и ест мало, как ребенок, — а на что ему много есть?

Ты что гогочешь! Ах-ха-ха-ха-ха! тьфу на тебя... ха-ха-ха! Значит, бегаёт по резиденции его высокопревос-

ходительство в аршин ростом, носом на столы натывается, на детской мебели сидит...

Пятнадцать лет у него служил? И слуг он всех считал? Ну, я тебя сейчас иначе рассчитаю, вложу розгами ума через заднее-то место. И — по этапу, по этапу тебя вышлю, сочинителя...

70 см. Спаситель.

— Не любо — не слушай, а врать не мешай. Да и не вру я, братцы, вот как на духу.

Я с детства вырезывать из дерева любил, пошел за папашей по столярной части, и мастерскую он мне оставил, царство небесное покойнику... ну, да не о том речь. А только начал для забавы фигурки разные резать, на Сенном рынке сбывала их лотошница, — а кончил тем, что фигуры делал в модные магазины на Невский. И были мои фигуры лучше парижских или немецких. Лицо из цветного воска, парик натуральный, — как живые. Дело собственное имел и доход, двух мастеров держал, пять учеников.

И вот заходят двое — господа. Вежливые, ласковые. А у меня вывеска была, золотом. И говорят: а можешь такую-то куклу изладить, чтоб за шаг от живой не отличить? А я — гоголем: хоть турецкого султана, хоть мать его. Говорят: заказ очень важный, надо чтоб никто не знал ничего. Ни ученики, ни жена даже. Плата — тысяча серебром. Засомневался я, да ведь это три с половиной тыщи ассигнациями.

Обговорили размеры все, изделал я фигуру — на шарнирах, любую позу принимает. Огромная у меня тогда способность была... Потом они мне рисунков нанесли — какое лицо должно быть. С лицом я долго мучился, из глины раз десять переделывал, все их не устраивало. Четыре месяца всего работал без продыху. Уж так придирались — к каждому волосику. Бородавку на щеке — и то сколько раз переделывал.

Но — угодил. А зачем — не говорят. Ладно — ваши деньги, мой молчок. Похвалили они, сказали — завтра приедут забирать, и деньги завтра... А только ночью

стук в дверь: по мою душу... Ты такой-то? — Я. — Пошли. — В карету, с боков зажали — и ночью через весь город. А карета без окон. Вот так: отлеталась пташечка...

Привозят: крепость. Выходи. Я было в ноги — а меня по рылу. Наковали железы — да в камеру. В каком же таком, думаю, деле я оказался?

Трижды в день еду мне в окошечко ставят, да по утрам парашу забирают. Тишина, и камень кругом. За окном птички поют, а не видно: железным листом окно забрано.

Ну, да это все известное дело, что говорить. А когда царь преставился и новый царь стал (про то я после узнал), перевезли меня в тюрьму, да и по этапу в каторгу: бессрочный особого разряда, родства не помнящий. А я и рад не помнить: молчу, чтоб хуже не было; сообразил, что молчать уж лучше...

А в каторге уже, в Краснокаменском остроге, был у нас один из благородных. При лазарете, доктор бывший. Я занемог раз, попал в лазарет, а потом кормился долго там, помогал ему. Он без креста был, но человек в остальном неплохой, понимающий. И оказалось, братцы, что страдаем мы с ним по одному делу. Во, а?

Он доктором был при одном высоком генерале. Генерал в большой силе был, лично к царю приближен. И напала на него болезнь: стал расти обратно — уменьшаться. Доктор его и так, и сяк: уменьшается!

Росту он был огромного, пока до нормального уменьшался — все ничего. Может, кто и подметил — да молчал. Чтоб большой генерал тебя из жизни выкинул — ему много роста не надо. Со страху да выгоды и карлика великаном именуют.

Но дело совсем плохо стало: уменьшается генерал да уменьшается. Уж под столом проходит: аршин росточку. Это уже скандал невиданный и оскорбление генеральского чина. Чего делать?

Генерал службу бросать не хочет: жалко ему. Его сам царь знает и ценит. И хочет новые высокие должности дать. А царю перечить нельзя. Как про такое

доложишь? огорчится он за любимца, и навечно ты за такую новость в немилость впадешь.

А главное — генерал свою беду от всех скрывает. Работу всю за него подчиненные делают. Он им за то — награды. Повысится — и их за собой повысит. Им тож невыгодно его терять: со старым-то хозяином спелись, а нового еще как найдешь.

А прознают враги генерала про такое его уменьшение — сразу его без масла сожрут.

И умы нельзя смущать такими чудесами и безобразиями: уважения не станет к генералам и к власти, если они могут в аршин ростом быть.

Но иногда надо же людям показаться: хоть в карете по городу, хоть с балкона. Не то слухи пойдут — и рога тебе придумают, и что с ложки кормят, и из ума выжил, и вообще помер, мол, да это скрывают.

Понял, куда я гну? Вот для чего куклу я делал. Одели ее в генеральское — и показывали иногда, чтоб сомнений не возникало. Не ответит — что ж, думает. Не встанет — устал.

Потом, говорят, механизм к ней сладили, что и садится и встает сама, руку поднять может. Движения неловкие? а ревматизм, суставы болят, в молодости в военных походах застудил.

И все отлично. Он себе управляет по-прежнему, награды получает, послушников наказывает, в чинах растет. А что ростом с кошку — то никому не ведомо, фигура за столом — а он сидит под столом и приказы пишет. Пустит посетителя — развернет фигуру в кресле спиной к нему, бумагу ей в руки вложит — мол, занят, читает; а сам говорит из-под стола. Посетитель стоит у дверей, трясется: горд генерал, сердит, раз даже не повернется.

Утром фигуру — на службу в карете, вечером — домой. Сопровождает ее огромный адъютант, а сам генерал под его шинелью-то и прячется, за пазухой тот его пронесит на место. Адъютанту зачем выдавать? ему хорошо, а чуть брякни — разжалуют приказом в солдаты, да на войну. Тайна.

Вот для тайны меня-то в бессрочную и укатали. И доктора, что лечить его пробовал — тоже, с которым

мы встретились. А каторжному кто поверит. Ты вот веришь? Ну и дурак. Дай ножик, я тебе сейчас такую куклу вырежу, что ты не видал никогда...

15 см. Любовница.

— А говорят, ты с ним была когда-то, — правда, аль брешут? А правда, что ты в хоре тогда пела, и плясала? и квартира своя была на Подъяческой? А потом тебя отовсюду... и к нам сюда... да ты не обижайсь. А он тогда нормальный был?

А девки говорили, он с огурец ростом, вершка четыре: такого наплели — и смехота, и срамота... мы все утро смеялись.

А он тебе денег много давал? Конечно: граф... Эх, мне бы такого, я б сейчас в собственной карете ездила, а не здесь, по десяти гостей за вечер принимала.

Правда — любила?.. Первый... вот оно как. Не плачь — ему-то небось счас хуже, чем нам.

Говорили — на службу его телохранитель в кармане носит. А в кабинете посадит осторожненько на стол, а там столик, стульчик — кукольные. Бумажка нарезана с почтовую марку, перышки воробьиные точены — и он приказы пишет. А чиновники их в увеличительное стекло читают и исполняют. А буквы-то крохотные, не разобрать, да и головка у него как у голубка, разве такой головкой сообразишь что? Вот и пишет каракульки, а чиновники делают что хотят, а ему врут все, что исполняют. А он как проверит? ему и самому все равно, абы жить как живет в своей должности.

Как представляю себе жизнь эту... бедненький! Дети в гимназию уходят — пальчиком его тронут за плечико — мол, до свиданья! Жена его, небось, в тарелке купает по субботам, кончиком пальца намыленным... ха-ха-ха! Маникюрными ножничками подстригает — боится головушку отстричь. Слушай, а как они спят-то? ха-ха-ха! Ой, па-адумайте, цаца какая, оскорбили слух ейный.

А как он у детей уроки проверяет? Бегает по тетрадке и буквы по одной читает? Да, тут деткам не

скажешь — берите пример с папочки... уж лучше сума да тюрьма.

А в кабинете его, говорят, огромное увеличительное стекло, и в него его рассматривают — и он размером для посетителя как настоящий. А шьет на него одна модистка — как на куколку. Ордена у него — дак ему такой орден и на спиночку не взвалить, крошечке. Кушает ложечкой для соли из кофейных блюдец, они как миска огромная ему. Про другое уж не говорю.

А верно говорят, что он до баб охоч был? А что ж теперь? — такая неприличность, тьфу! умора. Девки за кофеем так хохотали про это, такого напредставляли безобразия, как он кого к себе на ночь требует да что делает... бегают и бесится гномик... мерзость какая.

Я б на месте графини его в банку посадила да смотрела, и все. А все же — богатство, честь, есть-пить сладко, жить в палатах. А ты б согласилась быть с огурец, а жить в чести и богатстве? Я — да.

А вдруг птица склюнет? Или кошка съест? Или в чашку с водой упадет — да и утонет?

Это ж любой враг — шелк по голове, и нет тебя! И, говорят, он многих подозревает: чуть заподозрил — сразу в Сибирь! Никто при нем долго не держится. Я б на их месте его выбросила на помойку, и дело с концом, а у них порода такая: подслужиться надо, хоть ты с перст ростом, а раз начальник — служат тебе.

Представляешь: стоит перед ним здоровенный гренадер, а он на столе своим ножками топает, потом двумя ручками за волосок в усах гренадерских ухватится — и ну вырывать! Да я б в него раз плюнула — и снесло б его в окно!

Да... а если настоящий, большой усы вырывать станет — это еще хуже, больно, вырвет все... уж лучше этот, игрушечный... да уж больно обидно от него, козьяки, терпеть!

Слышь — а говорят еще, что он не один такой... Это у них, у графьев и министров, есть такая болезнь специальная, открыли ее. В булочной сказывали утром, что многие из них такие, потому и не показываются никому. И поэтому и злобствуют против народа

и своих же, что боятся, как бы ни случилось что с ними. А чем держаться-то им? только страхом! Пока боятся его — и рады, что он не показывается, и трогать его никто думать не смеет. А тронешь — и нету его, болезного.

Не, она врать не станет, у ее нитка жемчужная им подарена, и к завтраку на извозчике приехала, прямо от него, глаза так и вертятся от удивления. Хотела я еще, говорит, ему ротик зажать — да в карман, и сюда привезти, — вот бы потеха была! да боязно.

Чего — бабушкины сказки? Саму ее почал, до желтого билета довел, — это не сказки? А сказали бы тебе в хоре твоём, когда и квартира, и карета, и граф в любовниках, что девкой в трехрублевом заведении будешь — что, поверила бы? Все в жизни бывает, люди зря говорить не станут.

0,0. Память.

— Половой, еще пару чаю! А кенарь-то распелся, а, шельмец!..

Дак вот, робяты, што я вам скажу: на самом-то деле все это сказки. Почему? Да потому, што на самом-то деле его и не было на свете никогда.

Ты обожди мне кукиш совать, а то сам и выкусишь. Ну чего — памятник? Памятник можно и Бове-королевичу поставить, а кто того Бову самого видел? то-то.

Я твои байки уже слышал. Что делается он меньше да меньше, что носят его в мыльнице, что кричит он в специальный рупор бумажный, а человек ухо приставит и еле слышно, что разглядывают его в подозрное стекло, стал он с наперсток, потом с муравья, а потом такая соринка, что и не разглядеть.

И значит, по-твоему, что чиновники сами пишут за него приказы, офицеры сами отдают команды, все всё сами делают, а кланяются пустому креслу и ему и служат. А если так, то они и раньше, значит, могли без него обойтись, верно? Вот и обходились.

Нет такого закона в природе, чтоб человек уменьшался! А вот чтоб его вовсе не было — такой закон

есть. А еще есть такой закон, что каждый норовит лучший кусок ухватить... а ну положи мой расстегай, ишь разинул пасть-то!

Дак вот: эти, которые чиновники и офицеры-генералы, каждый сам хочет на то кресло сесть, а других не пустить. И вот никто из них одолеть не может: другому помешать еще есть силы, а самому занять — уже нет. И тогда они договариваются: пусть считается, что кто-то его занял, придуманный, несуществующий — ни вашим, ни нашим, никому не обидно. А дело, мол, будем делать, как и раньше делали. Отсюда и сказки про исчезнувшего начальника, которого на самом деле никогда не было, а только кресло пустое. Понял? Плати за сахар, раз понял, без сахара пушай исчезнувший пьет.

**БЕРМУДСКИЕ
ОСТРОВА**

ИСТОРИЯ РАССКАЗА

I

В тот вечер в общежитии я был устал, несколько даже измучен и опустошен. Я отвечал за проведение интернационального вечера встречи со старыми большевиками, и хлопот и нервотрепки было вполне достаточно: доставить ветеранов, собрать к сроку народ, принести стулья в холл, договориться с выступающими в самодеятельности, преодолеть, так сказать, недостаток энтузиазма у отдельных студентов с тем, чтобы обеспечить их участие и т. д. И вот мероприятие благополучно закончилось...

Друзья мои исчезли по собственным делам. Идти одному к себе (я снимал комнату в городе) не хотелось. Хотелось тихо посидеть с кем-нибудь, поговорить, отвести душу.

Итак, началось все банально — в комнате общежития, за бутылкой дешевого вина, с не слишком близким знакомым.

Он растрогал меня беспричинным и неожиданным подарком — книгой о походах викингов, об интересе к чему я незадолго до того обмолвился вскользь. Нечастый случай. Я прямо растрогался.

Весна была какая-то безысходная. Мне было тогда двадцать один, моему новому другу (а через несколько часов мы чувствовали себя безусловно друзьями, — я, во всяком случае, так чувствовал, — причем дружба эта находилась в той отраднейшей стадии, когда два ду-

ховно родственных человека определили друг друга и процесс взаимораскрытия, еще сдержанный, с некоторой настороженностью и оглядкой, с известным внутренним недоверием, все усиливается, освобождаясь, с радостным и поначалу удивленным удовлетворением, проистекающим из того, что обнаружил желаемое, в которое не совсем-то и верил, и внутренние тормоза плавно отпускаются навстречу все растущему пониманию, и понимание это тем приятнее, что суть одно с доброжелательным, позитивным интересом человека еще не познанного и не познавшего тебя и делающегося своим, близким, на глазах, в душе которого все, что ты говоришь, созвучно собственному пережитому, и он, по всему судя, испытывает все то же сейчас, что и ты) двадцать, и мы оба подошли к тому внутреннему пределу, когда назрело пересмотреть воззрение юности — у людей сколько-то мыслящих и чувствующих процесс часто довольно болезненный, эдакая ломка. Нам обоим не повезло в любви, у него не ладилось со спортом, у меня с комсомольской работой, оба потеряли первоначальный интерес к учебе... мы чувствовали себя хорошо друг с другом... А поскольку говорить о себе сразу как-то неловко, равно как и расспрашивать другого, мы с общих мест перешли к разговору о третьих лицах; вернее, вышло так, что он рассказывал, а я слушал. И рассказ, и восприятие его были, конечно, созвучны нашему настроению. Настроение, в свою очередь, определялось, помимо сказанного, обстановкой: бутылка, два стакана и пепельница с окурками на застеленном газетой столе под настольной лампой с прожженным пластиковым абажуром, истертый пол, четыре койки в казенных одеялах, словари и книги на самодельных полках, чьи-то носки на батарее, за окном ночной дождь, и звуки танцев из холла этажом ниже.

Услышанная мной история была такова.

Человек, живущий в этой комнате, — стало быть, приятель моего нового друга, — прекрасная душа, полюбил хорошую девушку со своего курса. Они собирались пожениться. Но другая девушка, с этого же курса, жившая в общежитии, его прежняя любовница,

устроила публичный скандал с оповещением различных инстанций и изложением бесспорного прошлого и вероятного будущего в лицо неподготовленной к такому откровению невесты. Убитая невеста перестала являться таковой. Виновник всего, человек тихий, славный и деликатный, чувствовал себя опозоренным, в депрессии неверно истолковывая молчаливое сочувствие большинства окружающих; всюду ему чудились перемены за спиной, — здесь-то он был отчасти прав, — и жизнь ему сделалась несносна. Он решил уйти из университета — что вскоре и действительно сделал.

И еще я услышал, что после школы он учился в летном училище. В одном полете двигатель его реактивного истребителя отказал. Он не катапультировался, спасая от катастрофы людей и строения внизу. Он умудрился посадить самолет без двигателя, хотя по инструкции этот самолет без двигателя не садился. После посадки самолет взорвался. Чудом оставшись в живых, изувеченный, он долго лечился. Потом у него открылся туберкулезный процесс; после госпиталя он год провел по санаториям. К службе в авиации был больше непригоден. После этого он поступил в университет, который сейчас и собрался бросать из-за невыносимо сложившихся обстоятельств: рухнуло все.

Любовь и расстроившийся брак — как нельзя более близкое мне на этот момент — настроило частоту восприятия. Я принял случившееся внутри себя, сокрушаемая жизненная стойкость растравила душу, высокое мужество прошлого поразило воображение, закрепив, зафиксировав все.

Собственно, это был готовый материал для повести, и воспринятый, казалось, достаточно глубоко, чтобы переплавляться в подсознании.

Я увидел этого человека (то есть заметил специально впервые) через несколько дней. Он был невысок, хрупок, светловолос, с предупредительными без угодливости манерами. Говорил тихо и немного, улыбка у него была неуверенная, застенчивая, болезненная какая-то — и вместе с тем открытая и подкупающая. Пожалуй, вернее будет сказать — готовность стать откры-

той, если будет уловлено чувство искреннего расположения в собеседнике, — вот что в ней подкупало. Я никогда не слышал, чтобы он смеялся. В целом он очень располагал к себе.

Я узнал от него позже, что тот последний вылет на самом деле был с инструктором, на учебной реактивной машине со сравнительно невысокой скоростью. Двигатель отказал при заходе на посадку. В кабине появился запах гари. Сажал инструктор. Они успели выскочить и отбежать несколько метров, когда самолет взорвался. Так что на его долю в этом ЧП героизма, строго говоря, не приходится.

Эту историю, насколько мне известно, кроме меня от него слышали только раз друзья по комнате.

Если б я не услышал ее впервые от другого, в романтизированном варианте, все восприятие, естественно, выстроилось бы несколько иначе.

II

В тот же вечер (идя домой, я «художественно размышлял» об услышанном) в сознании моем к этой истории подверстался еще один случай, слышанный примерно годом ранее.

В другом общежитии, на чьем-то дне рождения, в большой, голой и неудобной комнате с каким-то казарменным освещением — я был приглашен близкой приятельницей, с которой в недавнем прошлом мы были влюблены друг в друга — коротко и несинхронно: капризные следы приязни не изгладились до конца.

Речь шла о людях малознакомых — мы перекидывались послеприветственными фразами, и только. Он — рано жиреющий, невыбритый, подслеповатый в очках, при этом насмешливый, эгоистично-добродушный и мягко-уверенный; она — небольшая, худощавостройная, смуглая брюнетка, нервная, пикантно-вульгарная, с хрипловатым голосом и тоже с какой-то неопрятцей. Узнав об их близости, я испытал удивление, сдобренное букетом неприязни, высокомерия, разоча-

рования, ревности — на мой взгляд, они не подходили друг другу; к нему я относился в глубине души свысока — если можно взгляд мельком считать отношением, но на этот-то краткий миг отношение как раз появилось! — а она мне немного нравилась — не настолько, чтобы это имело какие-то конкретные следствия, не видя я никогда и не вспоминая о ней, пожалуй, — но немного нравилась, так, вообще.

Далее моя приятельница излагала: она ради него разошлась с мужем, а он, подлец, не хочет на ней жениться, а она после черт-те какого от него аборта никогда не сможет иметь детей, а он, подлец, тем более не хочет на ней жениться. Но в голосе моей приятельницы звучала «половая солидарность», выглядела эта пара не слишком привлекательно, и основным ощущением у меня осталось ощущение чего-то нечистого — без особого сочувствия, тем паче сознания обычной трагедии рядом с тобой.

Но отвлеченно, теоретически, ситуация эта закрепилась в глубине сознания. И в глубине сознания в абстрагированном виде была облагорожена — юношеское стремление к романтизации.

III

Юношеское стремление к романтизации, пожалуй, завело меня в конечном счете в психо-неврологический диспансер.

По мере накопления информации количественные изменения, как им и подобает, перешли в качественные, и выяснилось со всей неотвратимой очевидностью, что мир устроен неправильно и скверно. Мир был бессмыслен в изначальной основе своей, и это съедало личность безысходным отчаянием. Люди были дурны и безнравственны — хотя когда не думал об этом, они бывали часто очень симпатичны, — я тянулся к людям, одиночества не переносил.

Короче — мне хотелось послать все к чертовой матери и уехать как можно дальше и делать там что-ни-

будь такое простое, сильное и настоящее — например, бить котиков на Командорах (по секрету — у меня и сейчас бывает такое желание, только слабее). Но мне не хотелось менять университет на армию — я стал хлопотать об академотпуске. И, пройдя через пинг-понг ряда мест, поставил докторицу, рыжую веснушчатую симпатягу, перед дилеммой: или я получаю академотпуск, или на свою повышенную стипендию покупаю себе в комиссионке ружье с патроном и пишу прощальное письмо. (Вообще все это история довольно комическая. Через пару дней в общежитие пришла медсестра и, постучав в комнату напротив моей, где я как раз сидел в гостях и пил чай, стала расспрашивать меня, не знаю ли я меня из комнаты напротив и не замечал ли за мной в последнее время странностей в поведении, на что я и отвечал, что со мной, по моему мнению, очень плохо; прочие присутствующие сидели с неподвижными, изредка дергающимися лицами. Позднее, по мере приближения сессии, по протоптанной мной тропинке отправились за академотпуском четверо коллег; пятый был встречен гомерическим хохотом и просьбой оповестить, что план по филологам университета выполнен и местов нет.)

Около месяца я ходил на своего рода оздоровительные процедуры, проводя в гостеприимном заведении время от десяти до трех дня. Бесплатное двухразовое питание позволяло экономить стипендию для нужд более веселых. Среди реквизита пылилась гитара — я учился играть (и научился, на горе всего этажа общежития), и даже удостоился предложения выступить в концерте самодеятельности больных; известие, что я играю в концерте самодеятельности сумасшедшего дома, сильно действовало на знакомых, — но в действительности я только выступил подставным за команду медперсонала диспансера на каких-то соревнованиях по стрельбе. Медперсонал был расположен ко мне и почти тактичен, но так до конца и не смог взять в толк, какого лешего мне не хватает, подозревая в тайном умысле. Однако к моим планам трудоромантитерапии врачи относились одобрительно, находя их весьма здоровыми; и вздыхали.

В процессе такого лечения я подвергся беседе с психологом — тихой, тактичной, незаметно-милой девушкой лет тридцати, с тренированным выражением отсутствия глубинной грусти. Беседа проводилась на тему: несчастная любовь, причиняющая страдания — это любовь не к человеку, а к собственному чувству. Я энергично защищался, споро вывалив на доброго психоаналитика не очень хорошо усвоенные обрывки из Фрейда и Спинозы, и блокировал противную сторону. Душеспасение заглохло. После чего мне предложили систематизировать картинки с простейшими предметами, обозначить условными рисунками и восстановить десяток продиктованных слов и еще ряд слов запомнить. Заключение я не знаю.

Академотпуск был получен.

IV

И вот — лето. Иссык-Куль. Вечер.

Еще тепло, но прозрачно-черный воздух холодеет с каждой минутой — горы.

Танцплощадка — бетонированная, окруженная скамейками, за ними ряд кустов; фонари, музыка по трансляции. Только молодежь, девушек гораздо больше — танцуют многие друг с другом. Свитера, брюки — одеты в основном по-походному. Все трезвы — со спиртным туго — но весело, запах большой воды, вдоль побережья теряются огни кемпингов. Приезжают сюда обычно дней на десять-пятнадцать, знакомства припахивают р-рымантикой, головы легки и кружатся — хорошо.

Оцениваю себя глазами окружающих: элегантно-экзотичный здесь костюм (светло-серая форма ленинградских стройотрядов шестьдесят седьмого года), белый банлон, свежая полубороденка — симпатичный мальчик.

Стесняюсь однако, держусь скованно — и напускаю на себя разочарованно-скучающий и загадочно-замкнутый благородный вид. Во-первых, танцевать я еле умею — а хочется, естественно. Во-вторых, развязность моя часто сменяется застенчивостью — как сейчас, —

дело обыкновенное. В-третьих, со вчерашнего вечера я вообще не могу внутренне раскрепоститься. Дело в том, что меня, беспризорного «дикаря», приютили на свободную койку в свою комнату четыре девчонки. И когда трое — в их числе инициаторша благодеяния — вышли перед сном мыться, четвертая, глядя в глаза, довольно спокойно пообещала: «Замерзнешь ночью — приходи, согрею». Несколько обалдев и обмерев внутренне, я — внешне — сказал: «Обязательно» в таком же тоне — и не пришел: среди четырех разбитных девочек я чувствовал себя несколько затравленно, несвободно — к сожалению, пожалуй, двоих из них и к гораздо большему сожалению своему; примешивалась и проблема буриданова осла, сдобренная забавно-тупой формой тактичности: я чувствовал некое моральное право на себя той, которая, собственно, поселила меня сюда, но не считал гарантированным, что она не выпихнет меня из своей постели, если я туда полезу, а принять в ее присутствии приглашение другой затруднялся, — присутствие же еще двоих усугубляло положение; в таком пикантно-анекдотическом бестолковом положении я был в первый раз (и в последний). И ни одна из них не была так чтобы слишком хороша.

(Все это время я не переставал любить другую, далекую.)

Танцы продолжают. Стою. Раз пригласил замухрышку поскромнее.

Одна девушка выделяется — в светло-кремовом брючном костюме (очень по моде), тоненькая (даже излишне худощава), прямые каштановые волосы (негустые) по плечам, личико милое (и заурядное: отвернись — забудешь).

Приглашаю ее на твист (который танцевать в общем не умею). Нерешительный полуотказ: она не умеет; во мне сразу появляется отрадное превосходство, настроение и уверенность повышаются: я вас научу. Голос у нее не красивый; у очень женственных натур случается мелодичный высокий голос, очень плавный на интонациях, буквально льющийся из горла без обрывов; у нее не такой, обычный голос.

Учу ее твисту — зрелище жалковатое. Но она мила и сама по себе выделяется, я тоже; на нас смотрят с чувством много больше положительным, чем усмешливо. Мое тщеславие польщено.

Следующий танец медленный — нечто в роде танго. Тихонько переступаем рядом, прикосновение ее рук и талии под моей рукой отчуждено. Кисть ее руки в моей длинная, худая, влажноватая и при своей безучастности на ощупь не приятна. Двигаемся мы с моей партнершей плохо, контакта движения не возникает; держится она деликатно-сдержанно, но чуть улавливается некоторое внутреннее раздражение; я теряюсь, внутренняя связанность начинает вновь увеличиваться. Пытаюсь задержать, изменить этот процесс, пробую с подобающе-нейтральных фраз завязать разговор — без успеха. Ясно уже — знакомство не состоялось, но во внешней части сознания еще не исчезла надежда (действие некоторой инерции восприятия и спекулятивной подстановки желаемого за действительное).

На следующий танец мне отказано — в деликатно-милой форме, но голос недвусмысленный.

Отхожу за край, курю. Делается грустно, какая-то возникает отверженность. Уязвленное самолюбие, несбывшаяся надежда — пусть маленькая, незначашая, но когда она разбивается, то в этот самый момент из почти ничего превращается мгновенно и неосязаемым образом в нечто значительное. Девушка в общем-то хороша, сейчас она больше чем просто нравится мне: я задет, горечь гордости и обиды просачивается; растраву души можно было бы сформулировать примерно так: «Разве ей не ясно, что я хороший; я, хороший, не нужен ей... как неправильно и плохо все устроено».

Она ничего, ничего не понимает... Она не знает, кто я, какой я, какая жизнь за мной...

И по нередкой привычке, как фразы поручика Ромашова, играю внутри себя, ориентируясь на нее, историю: я герой-курсант, у которого заглох в полете двигатель истребителя и который не катапультировался, спасая бог весть что внизу, и посадил самолет, чудом выжив после взрыва его на земле, и списан навек из

родной авиации, и трагическая любовь заставила меня страдать в сумасшедшем доме и бросить университет, а вот сейчас я полюбил по-настоящему впервые и с первого взгляда. (В психологии, вроде, подобные явления классифицируются как «косметическая ложь».)

Я танцевал с ней еще раз и нескладно как-то пытался изложить эту версию — без признаков сочувствия и успеха. Она не была расположена выслушивать, я в волнении говорил ненатуральным голосом — одно другое усугубляло.

Танцы кончились быстро.

Она прошла к юноше — видимо, ждавшему ее. Они ушли обнявшись. Выглядел юноша никак; я, по моему убеждению, производил более выгодное впечатление. Вслед им я пережил быстро улетающую сложную смесь тоски, разочарования, высокомерного презрения, зависти, злости и тихой жажды чисто плотских ощущений. Через минуту это состояние утерало конкретную направленность, и исчезло уже в обобщенной форме (кроме своего последнего пункта) тем скорее и легче, что подошли мои попечительницы, и возник веселый разговор — треп, и мы пошли к себе, и рядом были готовые разделить мои чувства — кои я и оставил опять самому себе со смутным сознанием собственной незадачливости и спекулятивными морализаторскими построениями в пользу целомудрия.

V

Он говорил обо всем с циничной издевочкой и писал стихи о паладинах и принцессах. То был человек веселый, слабый и несчастный, принадлежащий к числу тех, у кого, вроде бы, все в общем не хуже, чем у других, но имеется в их характере некая черта, которая помимо воли и сознания отравляет им жизнь. Он был привязчив — но привязанности его были неуверенно-непрочны при ласковости; по обыкновению он прикрывал неуверенность иронией, сарказмом. Его нельзя было обидеть — он уходил раньше, чем чувствовал

только возможность неприязни; при своем грязном языке был крайне тактичен. Он сходил с людьми быстро и готовно без назойливости — потребность в привязанности была постоянна, и так же постоянно рвались прежние связи: его болезненно-самолюбивая и неуверенная натура не могла быть стойкой. Стихи его — жестоко-романтические, литературные, юношеские — свидетельствовали о возвышенных идеалах чувствительной души. Картины — гуаши и акварели на опять же жестоко-романтические темы — условно-примитивные по технике, которой он и не мог обладать, но замысел бывал не банален, а композиция и сочетания цветов изобличали вкус. Выглядел он так: высокий — впечатление больше от худобы и разболтанности, в дешевом несвежем костюме, с маленькой блеклой челкой и ранними залысинами, за очками в тонкой золоченой оправе глаза с ехидцей, с ехидцей же тонкогубая улыбка и в точности соответствующий им голос. За ним не было известно никаких любовных историй — а менее всего он был склонен к аскетизму. Он пил. Дважды вскрывал себе вены — второй раз, прежде чем перевязать его и вызвать скорую, ребята набили ему морду. Лечился от алкоголизма, от психастении, дважды был отчислен из университета — второй раз окончательно. Симпатий он не вызывал — производил впечатление какой-то нечистоплотности, полной ненадежности, и при известном изяществе развязного поведения не был обаятелен.

Мы оба любили бывать в гостях в одной и той же комнате — не по-общежитски уютной и на редкость нешумно-гостеприимной. Книжки стояли аккуратными рядами, пол блестел, даже висел коврик на стене. Гостей кормили по-домашнему пахнущим варевом, и вообще окружали всегда какой-то атмосферой желанности. Хозяйка была добра и обладала редким талантом слушать: слушать, будучи естественно и органично настроена именно на твою волну, и сопереживая искренне и тактично и — вот удивительно! — именно таким образом, как тебе в этот момент было приятно.

Он подарил ей одну свою картину (внешне, надо сказать, к искусству своему он не относился всерьез).

Картину прикрепили на стенку, — и, пожалуй, всем она немного нравилась.

Лист приблизительно $0,7 \times 0,9$, густо-синий сверху и желтый конус света в нижней половине от фонаря на черном столбе, смещенного от центра вправо. Справа и чуть ближе столба — тонкая фигура девушки в белом брючном костюме, с черной сумочкой на ремне от плеча и черными прямыми волосами ниже плеч, лицо отвернуто. Левее и дальше от фонаря — юноша в стилизованном старинном костюме, со шпагой на перевязи, златокудрый и печальный. За ним, в синей тьме — парусник у набережной, углы и крыши многоэтажных домов и фигура на постаменте — памятник с простертой по ходу корабля рукой.

* * *

Я увидел ее впервые через несколько дней по возвращении из академотпуска, спустя полгода после микрособытия на танцах. И полуусловно нарисованная фигура девушки — клешеные брюки белого костюма, свободно лежащие волосы, все под фонарным светом в темноте — ассоциативно к той девушке с Иссык-Куля и всей внутренне сыгранной тогда истории присовокупила эту картину и все с ней связанное.

И материал (хватило бы на повесть — но подсознательно я ориентировался на рассказ) как художественное нечто стал завершен, — в условиях сходных с теми, в которых и возник: вечер, и в общем некуда пойти, комната общежития с тихой и доброжелательной атмосферой.

Он хранился в уголке сознания, как яйцо в яичнике.

VI

Через какое-то время так получается, что мне предлагают (отчасти случайно, отчасти по собственному моему желанию) написать что-нибудь в факультетскую стенгазету — площадью она тогда была с хороший забор, взяла раз первое место на всесоюзном конкурсе

студенческих стенных газет, делалась факультетскими знаменитостями, одаренными ребятами; короче — авторитетный орган.

Один дома валяюсь вечером на кровати (жил я в это время у деда, две очень большие комнаты, высоченные потолки с лепкой, огромные окна, обстановка в духе старомодной добротности и достатка, по вечерам свет из шелкового абажура над столом слабо достигал углов), прикидываю к изложению историю про невезучего героя-курсанта в разных перетрубациях. Если «вытягивать в ниточку», получится примерно такая диспозиция: училище, последний полет, отказ двигателя с последующей героической посадкой и взрывом, лечение, поступление и учеба в университете, связь с чужой женой и все последствия, любовь к другой, дело к свадьбе, расстраивающий все скандал, психдиспансер, уход из университета, на танцах встреча девушки-мечты и безответная любовь с первого взгляда; не забыть статический момент: картина с нарисованной девушкой, в точности какую он и встречает, потрясенный, на танцульке. Ррымантично, мелодраматично и, главное, как-то выходит длинно и по сути неоригинально; жалко — уж больно материал-то выигрышный, надо найти способ подачи, не снижающий его собственной эффективности, позволяющий сохранить накал фактов.

Темнеет; лежу без света; мозги смутно плаваются, формируется ощущение, еще не реализуемое в конкретных образах. Неясная доминанта: человек разный — один и тот же, герой, трус, подлец, рыцарь, победитель и побежденный — един во всех ипостасях; все, что сделал и делает — всегда в нем, обычно же судят одновременно только по одному, не воспринимая остального, которого больше, которое суть человека, и в человеке как неразъемной совокупности миров каждый мир главный, и не поняв и не приняв этого мы не видим человека.

И в расплавленных мозгах проскакивает искра и вспыхивает, возносится слепящий взрыв, оцепеняющий миг блаженного озарения, экстаз, оргазм, и стынувшая в счастливой уверенности и ясном умиротворении кристаллизация; познание.

И бесформенная масса материала превращается в единую картину, как если бы пляшущие на воздушном потоке частички, взметнувшись разом, опустились в стройную мозаику, которую, смутно предчувствуя ранее, узнаешь сразу, единственно требуемую и возможную.

И я как умел перенес получившееся словами на бумагу, написав рассказ «Последний танец». Впервые я писал не так, «как надо», предварительно прикинув и обдумав; впервые замысел на каком-то интуитивном, подсознательном уровне преобразовался в нечто не зависящее от моей воли и логики. И сознаюсь, я люблю этот опус первой любовью. Тогда он некоторым понравился, и вот однако за много лет не был пока ни одним человеком понят так, как мне представляется правильным; в редакциях он с уничижительным оттенком классифицировался как «поток сознания», хотя о потоке сознания я знал в те времена лишь то, что такой существует, да и поныне не читал «Улисса».

VII

В детстве я видел по телевизору интервью со знаменитым заезжим иллюзионистом. В заключение он демонстрировал секрет знаменитого фокуса: рвут и комкают газету — и разворачивают целую. Он подробно объяснял и показывал, как приготавливается и прячется вторая газета, как она незаметно подменяет первую и разворачивается, а порванную скрывают. «Так, — закончил он, — делает плохой фокусник. А хороший делает так:» — и развернул из комка ключев, с которого зрители не спускали глаз, еще одну целенькую газету.

Я помню сложение своего рассказа в фактах и в восприятии этих фактов — но этого недостаточно. Потому что для того, чтобы объяснить и обосновать именно то, а не иное восприятие этих фактов и само их выделение и отбор, необходимо было бы принять во внимание нескончаемое множество вещей:

что у владелицы картины было красивое имя, а сама она была некрасива, хотя обаятельна и женственна;

что в компании, где мне были раскрыты отношения двух присутствующих, я бывал лишь от скуки;

что Ленинград, при всей моей любви к нему, связывает меня какой-то тоской — как и многих, кто родился и вырос не в нем;

что в идеале мне нравятся блондинки (не оригинал я), а я, конечно же, обычно почему-то нравлюсь брюнеткам;

что часть детства я провел по соседству с военным аэродромом, а в пятом классе мне подарили «Рассказы авиаконструктора» Яковлева, с чего началось мое стороннее увлечение авиацией;

и так далее, и каждый момент обосновывается соседними, тянущими за собой пучки причин, следствий и ассоциаций, и чтобы добросовестно рассказать и объяснить, пришлось бы написать подробную автобиографию с развернутым психоаналитическим комментарием (Вообще сказал же с характерной шутливостью Станислав Лем: «Программу, которая уже имеется в голове обычного поэта, создала цивилизация, его породившая; эту цивилизацию сотворила предыдущая, ту — еще более ранняя, и так до самых истоков вселенной, когда информация о грядущем поэте еще хаотично кружилась в ядре изначальной туманности. Значит, чтобы запрограммировать... следовало бы повторить если не весь Космос с самого начала, то по крайней мере солидную его часть».) — для объяснения того лишь, как получился один маленький рассказ — который, по утверждениям людей компетентных, таки тоже не получился.

1977

VIII

Приложение

ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

Рассказ

Под фонарем, в четком конусе света, отвернув лицо в черных прядях, ждет девушка в белом брючном костюме. Всплывает музыка.

Адамо поет с магнитофона, дым двух наших сигарет сплетается над свечой: в Лениной комнате мы пьем мускат с ней вдвоем.

Огонек волнуется, колебля линии картины.

— А почему ты нарисовал ее так, что не видно лица? — спрашивает Лена.

— Потому что она смотрит на него, — говорю я.

— А какое у нее лицо, ты сам знаешь?

— Такое, как у тебя...

— А почему он в камзоле и со шпагой, а она в таком современном костюмчике, мм?..

— Потому что они никогда не будут вместе.

Щекой чувствую ее дыхание.

Мне жарко.

Лицо у меня под кислородной маской вспотело. Облачность не кончается. Скорость встала на 1600; я вслепую пикирую на полигон. 2000 м... 1800, 1500, 1200. Черт, так может не хватить высоты для выхода из пике.

Мгновения рвут пульс.

Наконец, я делаю шаг. Почему я до сих пор не научился как следует танцевать? Я подхожу к девушке в белом брючном костюме. Я почти не пил сегодня, и запаха быть не должно. Я подхожу и мимо аккуратного, уверенного вида юноши протягиваю ей руку.

— Позвольте — пригласить — Вас? — произношу я...

Она медленно оборачивается.

И я узнаю ее.

Откуда?..

— Откуда ты знаешь?

Я в затруднении.

— Разве они не вместе? — спрашивает Лена.

— Нет — потому что она недоверчива и не понимает этого.

— Ты просто осел, — говорит Лена и встает.

Я ничего не понимаю.

900 — 800 — 700 м! руки в перчатках у меня совершенно мокрые. Стрелять уже поздно. Я плавно беру ручку на себя. Перегрузка давит, трудно держать опускающиеся веки. Когда же кончится облачность! 600 м!!

И тут самолет выскакивает из облаков.

И от того, что я вижу, я в оторопи.

В свете фонарей, в обрамлении черных прядей, мне открыто лицо, которое я всегда знал и никогда не умел увидеть, словно сжалившаяся память открыла невозстановимый образ из рассеивающихся снов, оставляющих лишь чувство, с которым видишь ее и вдруг понимаешь, что знал всегда, и следом понимаешь, что это опять сон.

— Пожалуйста, — говорит она.

Это не сон.

Подо мной — гражданский аэродром. «Ту», «Илы», «Аны» — на площадке аэровокзала — в моем прицеле. Откуда здесь взялся аэродром?! Куда меня еще сегодня занесло?!

И в этот момент срезает двигатель.

Я даже не сразу соображаю происшедшее.

Лена обнимает меня обеими руками за шею и долго целует. Потом гасит свечу.

— Я люблю тебя, Славка, — шепчет она мне в ухо и голову мою прижимает к своей груди.

— Боже мой, — вдыхаю я, — я сейчас сойду с ума...

Она улыбается и подает мне руку. Я веду ее между пар на круг, она кладет другую руку мне на плечо; и мы начинаем танцевать что-то медленное, что — я не знаю. Реальность мира отошла: нереальная музыка сменяется нереальной тишиной.

И в нереальной тишине — свистящий гул вспарываемого МиГом воздуха. С КП все равно ничего посоветовать не успеют. Я инстинктивно рву ручку на себя, машина приподнимает нос и начинает заваливаться. Тут же отдаю ручку и выравниваю ее. Вспомнив, убираю сектор газа.

— Боже мой, — выдыхаю я, — я сейчас сойду с ума...

Я утыкаюсь в скудную подушку, пахнущую дезинфекцией, и обхватываю голову. Я здесь уже неделю; раньше, чем через месяц, отсюда не выпускают. Мне сажают какую-то дрянь в ягодицу и внутривенно, кормят таблетками, после которых плевать на все и хочется спать, гоняют под циркулярный душ и заставляют

по хитроумным системам раскладывать детские картинки. Это — психоневрологический диспансер.

Сумасшедший дом.

— Вы хотите знать! Так вы все узнаете! — визжит Ирка.

Ленины родители стоят бледные и растерянные.

— Да! Да! Да! — кричит Ирка, наступая на них. — Все знают, что он жил со мной! Все общежитие знает! — она топает ногами и брызжет слюной.

— Я из-за него развелась с мужем! Я делала от него три аборта, теперь у меня не будет детей! Он обещал жениться на мне!

Она падает на пол, у нее начинается истерика.

Лена сдавленно ахает и выбегает из комнаты.

Хлопает входная дверь.

Я слышу, как она сбегает по лестнице.

Как легки ее шаги.

Она танцует так, как, наверное, танцевали принцессы. Как у принцессы, тонка талия под моей рукой. Волосы ее отливают черным блеском, несбывшаяся сказка, сумасшедшие надежды, рука ее тепла и покорна, расстояние уменьшается,

все уменьшается...

До земли все ближе. Я срываю маску и опускаю щиток. Проклятые пассажиры прямо по курсу. К пузачу «Ану» присосался заправщик. Толпа у трапа «Ту». Горючки у меня еще 1100 литров, плюс боекомплект. Рванет — мало не будет.

Хреновый расклад.

Старые кеды, выцветшее трико, рваный свитер... плевать!.. У меня такие же длинные золотые волосы, как у моего принца, и корабль ждет меня с похищенной возлюбленной у ночного причала. Смуглые мускулистые матросы подают трап, я веду ее на капитанский мостик, вздрагивают и оживают паруса, и корабль, пеня океанскую волну, идет туда, где еще не вставшее солнце окрасило розовым прозрачные облака.

На их фоне за холодным окном, за замерзшей Невой, вспучился купол Исаакия.

— А вы все хорошо обдумали? — спрашивает меня наш замдекана, большой, грузный, и очень добрый, в сущности, мужик.

— Да.

— Это ваше последнее слово?

— Последнее.

— Что ж. Очень жаль. Очень, — качает головой. —

И все же я советую вам еще раз все взвесить.

— Я все взвесил, — говорю я. — Спасибо...

Мне не до взвешивания.

Машина бешено сыплется вниз. Беру ручку чуть-чуть на себя и осторожно подрабатываю правой педалью. Черта с два, МиГ резко проваливается. Не подвернуть. На краю аэродрома — ГСМ, дальше — ровный луг, за ним — лесополоса. Тихо, едва-едва, по миллиметру подбираю ручку.

Спокойно, спокойно...

Сейчас все в моих руках, только не осечься...

— ...Как вас зовут? — спрашиваю я.

— Какая разница, — отвечает она.

Хоть бы не кончалась музыка; пока она не кончилась, у меня еще есть время.

— Откуда вы? — спрашиваю я.

— Издалека.

— Я из Ленинграда... Вы дальше?

— Дальше.

Отчуждение.

Эмоций никаких.

Как по ниточке, тяну машину. Тяну. Не хватит высоты — буду сажать на брюхо. Луг большой — впишусь.

Ей-богу, выйдет!

— Может быть, мы все-таки познакомимся?

— Не стоит, — говорит она.

Ночной ветерок, теплый, морской, крымский, шевелит ее волосы.

Будь проклят этот Крым.

С балкона я вижу, как блестит за деревьями море. Не для меня. Мой туберкулез, похоже, идет к концу. После семи месяцев госпиталя — скоро год я кантуюсь

здесь. Впрочем, мне колоссально повезло, что я вообще остался жив. Или наоборот — не повезло?

А вот из авиации меня списали подчистую.

Кончена музыка.

— Танцы окончены! — объявляет динамик со столба.

Я провожаю девушку до места.

— Хотите, я расскажу вам одну забавную историю? — я пытаюсь улыбаться.

— В другой раз.

— А когда будет другой раз?

— Не знаю.

Господи, что мне делать, первый и последний раз, единственный раз в жизни, помоги же мне, господи.

И все-таки я вытягиваю! GSM еще передо мной, но я чувствую, что вытянул. Катапультироваться поздно.

И вдруг я понимаю — запах гари в кабине.

Значит — так. Невезеньице.

Финиш.

Выход. Аккуратный, уверенного вида юноша отодвигает меня и обнимает ее за плечи. Прижавшись к нему, она уходит.

Тонкая фигурка, светлое пятнышко, удаляется в темноте.

И вот уже я не могу различить Ленин плащ в вечерней толпе, и шелест шин по мокрому асфальту Невского, и дождь, апрельский, холодный, рябит зеленую воду канала.

Зеленая рябь сливается в глазах...

самолет скользит по траве в кабине дым скидываю фонарь отшелкиваю пристяжные ремни деревья все ближе дьявол удар я куда-то лечу

Туго ударяет взрыв.

БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА

1969, 20-е июня.

— У каждого случается впервые — весна, и прозрение сердца; есть у каждого свои Бермудские острова: душа жаждет обретения. Прекрасны и далеки Бермудские острова. Там изумрудное небо проломлено малиновым бульжником солнца и прогнуто над зеркалами лагун, где хрустальные волны дробятся в коралловых рифах и под океанским прибоем звенят пальмы, а белый песок поет о верности под узкими ступнями яснолицых девушек, встречающих из дали судьбу: отважных авантюристов с жесткими усмешками.

Человек взрослеет, и ускользящее движение лет все стремительней под растущим грузом насущных дел, и все недоступней и сказочнее за туманным горизонтом обетованный мираж, его Бермудские острова.

И есть — смиряются; так положено от веку. Они строят города и пишут книги, их любят семьи и уважают друзья. И сны их спокойны в ночи и чиста и горда совесть. Они — хлеб жизни. И никогда их твердым шагам не прозвучать на таинственном побережье, путь куда, обманен и зыбок, не сманил их, чужд.

И есть — романтики и изгои — их верность не смиряется ничем. Отковывая желание на преградах и оттачивая на неудачах, стремятся и рвутся они к старинной цели. И хрупкие и нежные ростки их душ обламываются о вечные грани мира. Пройдя шторма и

преодолев пустыни, достигают они своих Бермудских островов; но отмерившие рубеж глаза в иссеченном ветрами прищуре не умеют видеть так, как видят глаза юности, и сильные сердца разучаются трепетать, — даже внимая великой красоте познанной сказки.

И тогда понимают они, что счастье — в коротком мгновении, когда жар-птица, настигнутая через далекие годы у края света, бьется огненными крылами в твоих руках, ты овладел ею отныне, и не пришло еще сознание, что состоит она из тех же перьев и мяса, как и обыкновенная курица.

И горечь этого понимания велика.

И поэтому я хочу выпить за то, чтобы каждый из вас достиг своих Бермудских островов, сохранив всю детскую чистоту души в далекой и трудной дороге.

...Сегодня — особенный и памятный день, какой случается лишь однажды. Вы окончили школу. Вы вступаете в большую жизнь. Идти по ней не в белых платьях и черных костюмах — вы снимете их завтра. К одному призываю вас — будьте верны себе.

Вы дороги мне тем больше, что вы — мой первый выпуск. Все лучшее, что умела, я старалась вложить в вас. Семь лет назад был мой выпускной вечер. Сегодня — снова — и мой праздник; и я счастлива вашими надеждами, вашей юностью... у нас одно счастье!..

(Анна Акимовна Амелина, 25 лет, преподаватель русского языка и литературы, диплом с отличием Ленинградского университета, классный руководитель 10-го «Б», умна, мила, патетична, одинока, садится с мокрыми глазами.)

Выпускной вечер.

Аркаша Абрин любит Алю Астахову.

Алеша Аверцев тоже любит Алю Астахову.

Аля Астахова любит того, кто любит другую.

Связи класса трогательны в конечном напряжении
и истаивают на глазах.

институт	
конкурс	
сессия	— Нормально
стипендия	— Звони
стройотряд	— Поздравляю
диплом	— Я люблю тебя
распределение	— Одолжи до двадцатого
	— К чертовой матери
	— Видел его недавно

начальство
 план
 аванс
 получка
 водка
 премия

аборт
 свадьба
 ребенок
 развод

квартира
 обмен
 площадь
 кооператив
 деньги
 родители
 очередь

отпуск
 юг
 пляж
 замужем
 магнолия
 рюкзак

болеть
 джинсы
 замша

похороны
 дубленка

долги

плащ

работа

магнитофон

(За семь лет все клетки человеческого организма полностью обновляются?)

1976, 19-е июня.

Алина Астахова, метрдотель лайнера «Александр Пушкин».

На верхней палубе загорают в шезлонгах, плещутся в бассейне, фотографируются у шлюпок и спасательных кругов.

Шестые сутки идет «Пушкин» через Атлантику. Сменяются вахты в рубках и у машин, парятся повара, улыбаются бармены.

Скользят ночами огни встречных судов, уходя и теряясь среди звезд.

Она листает «Таймс», лежа в своей каюте. Крутит транзистор: тихо поют «Песняры».

Еще пять минут можно кейфовать; и пора разбираться с обедом. Меню, официанты, наштукатуренные капризные старухи, «...сегодня мы предлагаем вам...» — грехи наши тяжкие.

Сидела б я дома, детей нянчила, варила обед, ждала мужа с работы. Доля бабья, все не так, лоск этот... Детей-то хочется от любимого мужика, заковыка вот.

Ветер гонит косые капли вдоль черных бортов.

Четыре тысячи миль от Ленинграда.

Двое возьмется с лебедкой на баке.

Чайка, поводя головой, пропускает под собой белые надстройки палубы, ускользая хвостом к корме, падает, выхватывая что-то из пены кильватера.

Аркадий Абрин, переводчик советского торгпредства в Бразилии.

Сумерки коротки на улицах Рио; верхние этажи еще пылают под солнцем, севшим за малиновую кромку Корковадо.

За полтора года в Бразилии я не видел двух одинаковых закатов.

Он тянет пиво на балконе жилого особняка.

В углу сада рядом с кактусом магнолия приотпускает цветок.

У дверей магазина (с пластинки поет Доривал Каими), радостно скалясь, худенькие девчушки оттаптывают самбу, коричневые исцарапанные ноги мелькают.

Мозаичные мостовые Ипанемы и Леблона, фиолетовая вода и знаменитый белый песок Копакабаны.

Ветерок с океана не доносит вонь бедняцких кварталов близ роскошного аэропорта.

Люблю эту страну? и странно даже...

Ребята почти не едят, дьяволы.

А дома белые ночи.

Завтра трудный день.

...Под вспыхнувшими прожекторами на горе тридцатиметровый белого камня Христос простирал руки над городом.

Алексей Аверцев, лейтенант, командир огневого взвода артдивизиона 327-го мотострелкового полка.

Дождливый июнь бесконечен.

След тягача на глинистой дороге.

Полк стоит в лесу у озера; туман встает вечерами с низкого берега.

Он курит и кашляет, сидя на деревянной терраске ДОСа; кутается в наброшенный плащ.

С двадцать второго учения; скверно, если не прекратятся дожди. Полк кадрированный, людей в расчетах не хватает.

Отпуск будет в августе; далеко Ленинград...

Доски побряхтывают под табуретом.

Ельничек сбегает по сочной траве, тот берег размывает за далью.

Солдатский долг: пожизненная профилактика собственной профессии.

Неделю назад его приняли в партию.

Серое серебро струек, перебор капель.

Окурок шлепается в лужу, расходятся круги.

Он разворачивает отсыревшую газету:

«Заслуженную популярность на океанских линиях мира снискал советский лайнер «Александр Пушкин».

Комфортабельность, высокая культура экипажа привлекают любителей морских путешествий из многих стран. Экипаж коммунистического труда возглавляет один из самых опытных капитанов Балтийского морского пароходства Герой Социалистического Труда В. Г. Оганов. Вчера «Александр Пушкин», совершающий круиз по Атлантике, ошвартовался в порту Гамильтон (Бермудские острова)».

(«Комсомольская правда», 19 июня 1976 г.)

ВОЗВРАЩЕНИЕ

А в Ленинграде шел снег. Вспушились голые ветви Александровского сада. Мягко выбелился ледок, стянувший сизые разводья Невы. Ударила петропавловская пушка, взметнув ворон из-под стен.

— Ким приехал!

Колпак Исаакия плыл. Медный всадник ссутулился под снежным клобуком. Несли елки.

— Дьявол дери... Ким!

— Здор-рово! Ким! Бродяга! ух!

— Ну... здравствуй, Ким! старина...

— Кимка! Ах, чтоб те... Кимка, а!

— Салют, Ким. Салют.

— Ки-им?!

— Братцы: Ким!

Билеты спрашивали еще от остановки. Подъезд светился у Фонтанки. Высокие двери не поспевали в движении. Билетерши снисходили в причастности искусству. Программки порхали заповедно; шум предвкусал: сняв аплодисменты, двинулся занавес.

— За встречу!

— Ким! — твой приезд.

— Гип-гип, — р-ра!!

— Горька-а! Ну-ну-ну... — эть!

— Ха-ха-ха-ха-ха!

— Ти-ха!.. Ким, давай.

— И чтоб всегда таким цветущим!
— Позвольте мне себе позволить... э-э... от нашего... э-э...

- «Пр-риходишь... — привет!»
- Ну расскажи хоть, как ты там?
- Спой что-нибудь, Ким. Эй, дай гитару.
- Пойдем потанцуем!

Раскрывается свежее тепло анфилад, зеленая и призрачная нестеровская дымка, синие сарьяновские тени на горящем песке, взрывная белизна Грабаря, сиреневый парящий сумрак серовской балерины и предпраздничная скорбь Демона.

- Отлично выглядишь! здорово.
- Надолго теперь?
- Молоток. Завидую я тебе!..
- Ну ты даешь.
- Расскажи хоть поподробнее!
- Все такой же красивый.
- Что, серьезно?
- Одет прекрасно.
- Где? Ой, я хочу на него посмотреть!

Назавтра день был прозрачный, оттепель, влажные деревья мотались в синеве, капало с блестящих под солнцем крыш, девушки блестя глазами гуляли по набережным, и большой водой, фиалками и талым подмерзающим снегом пахли сумерки.

- Мошный мужик.
- Ну авантюряга!
- Вот живет человек так как надо!
- Не каждый так может, слушай.
- Этот своего всегда, в общем, добивался.
- Ким, ну идем!
- Значит, в восемь, Ким!
- Так жду тебя обязательно.
- Завтра-то свободен? всё, соберемся. Приходи, смотри!
- Так в субботу, Ким, мы на тебя рассчитываем.
- На дне рожденья-то будешь?
- Да давай Ким, не сомневайся, тебе там понравится!

В филармонии было душно, музыка звучала в барабанные перепонки, тихо вступили скрипки, нарастая, музыка прошла насквозь, захватила в мерцании и сполохах, и в отчаянии заламывала руки и падала женщина на угрюмом берегу, металась под тучами чайки, и накатила, закрывая все в ярости, огненная волна, стены города рушились в черном дыму, гремел неотвратно тяжкий солдатский шаг, но среди этого запел, защелкал невесть откуда уцелевший дрозд, и утренний ветер пробежал по высокой траве, березки затрепетали, в разрыве лазури с первым утренним лучом показался парус, он рос победно, и только пена кипела в прибрежных скалах.

«Да. Эдуард слушает. Что?! Ким, драть твои веники!! Старик сто лет когда скотина давай идет титан конечно. Да как, у меня нормально. Митьке? пятый уже, недавно вот стихотворение выучил. Анька молодцом, вертится. Обязательно, о чем речь, сейчас я смоюсь с работы. Подходи, подходи! Да у меня и останешься, и не думай, что отпущу... кто стеснит — ты? с ума сошел! посидим хоть душу отведем. Отлично! Добро!»

- Здорово!
- Даже так?
- Помнишь!..
- Помнишь...
- Помнишь...
- Помнишь...
- Помнишь...

Официант склоняет пробор: коньячок, икорка; оркестр в полумраке. Покойно; вечер впереди; твердые салфетки; по первой. Женщины красивы.

- Танька — вон, русский, высокий.
- Это и есть тот знаменитый Ким? Симпатичный.
- ... — ...? — ... — ...! — ... — ...

«...откуда ты взялся такой... господи... мне кажется, я знаю тебя давным-давно... Поцелуй меня еще... милый...»

Витрины в гирляндах яркие. Длинноногая дива склонилась к окошечку кассы. Светлые волосы легли по бе-

лой шубке. Короткая шубка задиралась. Девушка чуть приседала, говоря к кассирше. Открытые бедра подавались в прозрачных чулках. Она отошла к прилавку, переступая невероятно длинными и стройными ногами, гордая головка возвышалась.

— Дорогой, заходи же скорее, заходи!

— Спасибо, ну зачем же; спасибо, родной. О! Боренька, ты смотри какая прелесть.

— Да не снимай ты туфли ради бога. Ниночка, скажи ему.

— Ну дай-ка я тебя поцелую. Да загорелый ты какой!

— Выглядишь ты прекрасно, должен тебе сказать.

— И как раз к обеду, очень удачно! Боренька, достань белую скатерть из шкафа.

— Так; водка у нас есть? — хорошо. Сейчас я только позвоню Черткову, скажу, что сегодня мы заняты.

— Ну дай же я на тебя посмотрю-то как следует.

— Ниночка, где у нас в холодильнике семга оставалась?

— Кушай ты милый не стесняйся, давай-ка я еще подложу.

— Ну, как твои успехи? А что делать собираешься?

Болельщики выламывались из троллейбусов. Из надеющихся доказывал книжкой рыбфлота. Шайба шелкала под ревом. Лед в хрусте пылил веерами. Короткие выкрики игроков. Транслирующий голос закреплял взрывы игры.

— Привет, Ким!

— Как дела, Ким?

— Здравствуй, Ким.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

— Ким приехал.

— Он мне звонил вчера.

— А мы с ним в пять встречаемся, присоединяйся.

— Давно, давно я его не видел.

Неимоверно морозный день калился в багровом дыму над Марсовым полем. Побелевшие деревья обмерзли под кровоточащим солнцем, насаженным на острие Михайловского замка. Звон стыл.

- За встречу!
- Ким! — твой приезд.
- Гип-гип, — р-ра!!
- Горька-а! Ну-ну-ну... — Эть!
- Ха-ха-ха-ха-ха!
- Ти-ха!.. Ким, давай.
- И чтоб всегда таким цветущим!
- Позвольте мне себе позволить... э-э... от нашего... э-э...

- «Пр-риходишь... — привет!»
- Ну расскажи хоть, как ты там?
- Спой что-нибудь, Ким. Эй, дай гитару.
- Пойдем потанцуем!

Дети катались с горки, падали, ликующе визжа, те-ребили своих пап в саду Дворца пионеров. Светилась огнями елка; лохматый черный пони возил малышей, бренчал бубенчиками, струйки пара вылетали из широких мягких ноздрей. Румяный кроха восседал на папиных плечах, всплескивая радостно руками.

- Как Ким-то? Что рассказывает?
- Вчера его Гоша видел. Цветет!
- Слушай, так что там насчет места в финансово-экономическом?
- В четверг буду знать; позвоню тебе.
- Если что — с меня причитается. Как твоя публикация?
- Вроде удастся пристроить в «Правоведении».

В толпе наступали на ноги, магазины, автобусы, метро, толстые и тонкие, старость — молодость, осторожно — двери закрываются, портфели, сапожки, ондатры, сегодня и ежедневно, топ-топ-топ по кругу, вы проходите — не мешайтесь.

- Еще что нового?
- Вчера Кима видел.
- Еще что нового?
- Вчера Кима видел.
- Еще что нового?

Лыжню припорошило. Снежная пыль сеялась с сосен. Дымки стояли от крыш в серо-молочное небо. А здесь пахло промерзшим лесом, лыжной мазью, чуть

овлажневшей шерстью свитера, руки с приятным автоматизмом выбрасывали палки, отталкивались четко посылая, необыкновенно приятно было глотать лесной воздух.

— Эдуард, Митька опять ночью кашлял.

— Драть твои веники, звоню сегодня Иваницкому, у него есть знакомый хороший терапевт, а то что ж такое.

— Позвони, пожалуйста, не забудь. Как твоя изжога?

— Анька, отстань. Пью твой овощной сок.

— Как Ким?

— Нормально.

— Увидишь — передай привет. Сегодня среда, у меня семинар; буду поздно. купишь поесть.

— Добро.

— И Митьку заберешь из садика.

— Могла не напоминать.

Автобус был пуст, и темные улицы тоже пусты. Согреться удалось только на заднем сиденье, но там высоко подбрасывало и пахло сильно выхлопом. На поворотах слышно было, как позвякивают и пересыпаются в кассах медяки.

— Боренька, ты совсем себя не бережешь.

— Ниночка, не пили меня. Я купил на рынке парной телятины.

— Милый, но зачем ты ташил эту картошку?

— Умеренные нагрузки полезны. А еще нам достали билеты на Темирканова, я Черткову звонил.

— Ты поблагодарил его?

— А как ты думаешь?

— Ким не давал о себе знать?

— При мне нет.

— Ну ложись, ложись, отдохни. Вон до сих пор ел дышишь.

— Сейчас, Ниночка, сейчас, положу все в холодильник.

Девушка притоптывала, поглядывая на часы. Парень подошел, невзрачный какой-то, маленький. Они поцеловались дважды, она, сняв варежку, погладила

его по щеке, он обнял ее за плечи, они ушли прижавшись друг к другу.

— Танька — вот, тени французские, нужны? Ты что, того? Что — Ким?

Мороз заползал под брюки и жестко стягивал бедра. Дубленка была короткая, ветер распахивал полы и продувал насквозь. Руки в карманах, ветер забирался в рукава до локтей. Зато пальцы не мерзли. Каждые несколько минут приходилось вытаскивать правую руку из кармана и тереть онемевший кончик носа кожаной холодной перчаткой. На перчатке всякий раз после этого оставался мокрый след.

— Старик, моя статья будет в четвертом номере «Правоведения».

— Король! Как ты ее все-таки умудрился там просунуть?

— Уметь надо.

— Рад за тебя.

— Сигарету. Так вот, место в финансово-экономическом — сто тридцать пять без степени. Сеньшин (ты слышал) заинтересован в своем человеке, ему нужен молодой мужик против старых дур на кафедре. Смысл, пожалуй, есть. Я обещал, что ты дашь ответ послезавтра.

— Смысл есть..:

Подушка была тугая, постель свежая.

От настольной лампы резало глаза, но в темноте толку не было.

Четыре сигареты оставались в пачке.

Под серым дождем таяли сугробы на пустой площади.

В домах светились окна только лестничных площадок.

В шесть часов зашаркал скребок дворника.

МИГ

— Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — Петроградская.

Напротив сидела красивая женщина. Он смотрел на нее секунд несколько — сколько позволяли приличие и самолюбие. Страшно милая.

Хлопнули вдвойне двери. Ускользящий вой движения.

Не столько красивая, сколько милая. Прямо по сердцу. Проблеск судьбы... не упустить — наверняка упустишь; с белых яблонь дым... И это тоже пройдет. Пройдет. Подойти. Трусость. Как просто все делается. Судьба, мимо, — а если?.. если, да... слово, взгляд, касание, добрая женственность, мягкое и округлое, ночное тепло, стон, музыка, плывет, головокружение, слишком любил, не нанес рану, повелевать — а не искать счастья в рабстве, подчинить, а счастье — сразу, вместе, желание навстречу; нет в мире совершенства, — сказал лис: вместе читали, а потом то письмо, телеграмма, никогда не увидеться, дурочка милая что натворила, лучшая из всех, лучше нее, пятнадцать лет, узенький купальник, старая дача, сейчас там все другое, берег зарос, камыши, бил влет, кислая гарь, прорвемся, ветреный рассвет, белые зубы, оружие по руке, армия без мелихлюндий, в двадцать лет мир твой, по выжженной равнине за метром метр, зачем рано умер,

плакали, во дворе с гитарой, Галя, сама, не надеялся, неправда, лучше чем в кино, близость благодарные слезы преступить, куда мы уходим, когда над землею бушует весна, какая узкая талия, поздно увидел, маленькие руки ее санки спор, Света покажи, а дашь потрогать, через двадцать лет там все перестроили, зайдем на поезде, дайте до детства плацкартный билет, крутили пласты после уроков, два золотые медалиста ненавидели учителей, прав Наполеон — люди шахматная игра, презирать и использовать, еще все будет было бы здоровье, плечо на Севере застудил — опять ноет, а зубы, швейцарские протезы пятьсот рублей, врачи коновалы, а что их зарплата, загорали в Солнечном план ограбить инкассатора, деньги у тех кто их добывается, побеждают слабые — они целеустремлены к жизни: работа, семья, дом, машина, сколько лет мечтал о машине — а сейчас уже не хочу, исчезают после тридцати желания, дорога ложка к обеду, первые груши на базаре не купила — дорого, теперь не люблю груши, слушался, верил, сволочи что же вы со мной делали, хорошего человека задолбать не легко, а он с кастетом, поломал локтем коленом и в почки еле смылся, перешагнуть через страх, пять драк с Мартыном перед классом, с Воробьем ночью в походе о жизни, весь урок на лавочке за мастерскими бесконечно разговор, она выглядела совсем взрослой, а все оказалось сплетней, фата и туфли скользкие, лучше Родена, голубое и прозрачное, синее, тоска, покину хижину мою уйду бродягою и вором, цыгане, Ромка курчавый отличный слух в музыкальную школу не загнать, успеет еще накрутиться белкой в колесе, закат, и не повидал мир, в бананово-лимонном Сингапуре, в бурю, мулатки с ногами от коренных зубов всегда готовы бахрому на бедрах, Рио-де-Жанейро, белые штаны за двадцатку в Пярну, белые ночи, мосты, будильник на полседьмого, выйду на пенсию — молотком его, время, летит в командировках не знаешь как убить самолет грохнулся хорошая смерть дурак в авиаучилище насели сдался уже майор подполковник смотрят как на человека пенсия двести лопух Ленке уже тринадцать

начальство на ты, тыкни ему — ха-ха, а наряды он закрывает, премию урежут — на скандал, чего она шумит я еще не пью все домой, раковина течет проблема, слесарь бабки пивной ларек вообще миллионеры, лакеи, своя мафия, в гробу вас, не хотел, манило горько страдание романтика все познать не зарадуешься познали до нейтронной бомбы, война или кирпичом по балде — какая разница, не боится умереть а операции, общий наркоз, наркотики старому пню подкинуть и донос на него, сам подонок, добрый только язык длинный — а слово ого оружие убить можно а сам в стороне смотреть как мы хребты и головы ломаем второй по самбо бегать надо кишечник ни к черту отошал кашей дразнила вот ножки были утонула узнал год спустя страшно бедная поцелуй мою грудь густой треугольник желтая блузка одевалась кроссовки лопнули шапку новую Валька в комиссионке деньги на магах пулеметной очередью шагнуть с балкона покой золотые волосы большие ягодицы как нибудь сорок лет как отстрелянные патроны, а сколько старушек, после блокады девочками приезжали, старый город, всех не обеспечишь...

— Станция Петроградская!

Напротив сидела красивая женщина. Он смотрел на нее секунд несколько — сколько позволяли приличие и самолюбие. Страшно милая.

Знакомо... где и когда он ее уже видел?.. Не вспомнить... давно или недавно?.. но что-то было — что?..

— Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — Черная речка.

НИ О ЧЕМ

Самое простое, самое верное, всегда пройдет, понравится, затронет, оставит след, создаст настроение, произведет впечатление; изящество фразы, ностальгия, тень любви, тень потери, тень мысли: ажурная тень жизни, тонкий штрих, значительность деликатного умолчания, шелест мудрой печали, сиреневое кружево, шелковая нить сюжета; солнечный зайчик, лунный блик, капля дождя, забытый запах, тепло руки, река времени.

Нечто приятное и впечатляющее, но несуществующее, как тень от радуги, пленительная мелодия трех дырок от флейты — трех нот собственной души, тихий и простой отзвук гармонии: надтреснутое, но ясное зеркальце, отражение нехитрое, но в этой нехитрости зоркость и мастерство.

Как мило, как изысканно, как виртуозно: ломкая паутина лет, прихотливое взаимопроникновение разностей, вуаль и веянье страстей — трепет памяти, цвет весны, жар скромных надежд — и осень, осень, угасающее золото, синий снег, сумерки, сумрак, далекий бубенчик...

Архаические проблески архаизмов словаря Даля, прелесть бесхитростных оборотов — выверенный аграмматизм, длинное свободное дыхание фразы, ее текучее матовое серебро; и простота, простота; и наив-

ность, как бы идущая от чистоты души, от еретической мудрости, незыблемости исконных драгоценностей морали: добро, истина, прощение, и горчинка всепреходящести; о, без этой горчинки нет пикантности, нежной тонкости вкуса — так благоуханную сладость хорезмских дынь гурман присыпает тончайшей солью.

Как хорошо... Как талантливо... Как глубоко — и просто!.. Ненавязчивая, комфортная возможность подступа благородной слезы, нетрудное эстетическое наслаждение, шемящая душа разбережена бережно, чуть истомлена сладко, как на тихих медленных качелях любви. И как в жизни: правдиво, правдиво; но красиво, благородно; увидел, понял, разобрался, смог, сумел, показал, объяснил; о... Нет, есть и порок, и зло, и несправедливость, и трагизм, — но светло! светло! И некрасивость есть — но светом добра поднята! И борьба, возможно поражение даже — но дух добра над всем торжествует, вера в людей — как в ясном прожекторе цветок распускается, белый голубь летит, вечный флаг вьется. Пусть даже кости — так белы, дождями омыты.

Не напрягать мозги, не ужасать воображение, не мучать сердце, ничего грубого, натуралистичного, могущего вызвать отвращение, никогда; ласкать, бархатной лапкой, приятно, от понимания приятно, сочувствия, доброты, ума, образованности, — а если в бархатной лапчке острый коготок царапнет — так это царапанье ласку острее сделает, удовольствие сильнее доставит: словно и боль, и кровь, да уместные, невсамделишные, желаемые.

Не открывать америк, уж открыта, известна, у каждого своя, она и нужна — а не другая, неправильная, чужая, лишняя будет; каждый хочет то узнать, что уж и так знает, то услышать, что сам хочет сказать — да случая не имеет: вот и радость, удовлетворение, согласие, благодарность: польсти его уму — он и примет, превознесет. А что все знают? — то, что всем известно; и чуть свежести взгляда, чуть игры формы — интересно, выделяется, умно — а и понятно.

Не бить в главное, как петух в зерно: неумело, примитивно — (стук в лоб — переваривай!); а виться кругами, ворковать певуче, взмести пыль дымкой жемчужной: хвост распущенный блещет, курочки волнуются, жизнь многосложная качает, с мыслями и чувствами, хорошая жизнь.

Проблемы, тайники души, конфликт чувства с долгом, и обыденность засасывает, необыденность манит — порой пуста, обманна; коснется ребенок со смертью, разлучатся влюбленные, прав наивный, преодолеет трудности сильный... Щедра веселая молодость, умудрена старость, пылкость разочаровывается — не гаснет огонь: переплетенье по правилам, головоломка-фокус из веревочки — прихотлив и продуман запутанный узор, а потянуть за два кончика — и растянулось все в ровную ниточку; не должны запутаться сплетенья, нельзя затянуть узелки, в том и уменье.

Сталкиваются характеры, идет дело, скрыты — но явно проявляются чувства, высказывается умное, а дурное осуждается не в лоб, но с очевидностью. С болью любовь, с потерями обретения, с благодарностью память, со стыдом грех. Ласка и смущение, суровость и чуткость, богатство и пустота, достоинство и черствость... Солнце садилось, глаза сияли, годы шли, мороз крепчал...

Кушают лошади сено и овес, впадает Волга в Каспийское море, круглая Земля и вертится, во всем сколько нюансов, оттенков, открытий, материи к замечанию, размышлению, вздоху и взгляду: времена года, и быстротечность жизни, и он и она, нехорошо зло и хорошо добро, хоть сильно зло бывает — тем паче хорошим быть надо; края дальние, красота ближняя, занятия разные, времена прошлые и надежды будущие, многоликое и доступное, разное и родное, счастье с горем пополам — вот и отратно, а это главное — отратно.

СВИСТУЛЬКИ

Он очнулся нагой на берегу. Рана на голове кровоточила.

Сначала он пытался унять кровь. Прижимал рукой. Промыл рану соленой жгучей водой. Отгонял мух. Потом нарвал листьев и осторожно залепил. В дальнейшем рана зажила. Шрам остался от лба до темени. И иногда мучали головные боли.

Возможно от удара по голове, ему начисто отшибло память. Если он видел какой-то предмет, то вспоминал, что к чему в этой связи. А с чем не сталкивался — о том ничего не помнил.

Изнемогая от жажды, он четыре дня скитался по лесу и набрел на ручей. Ел он ягоды и корешки (с опаской, несколько раз отравившись). Первый дождь он переждал под деревом. При втором построил шалаш. Впоследствии он построил несколько хижин: одну из камней у береговой скалы, другую в лесу у раздвоенной пальмы, из сучьев и коры. Хижины выглядели неказисто, но от непогоды укрывали. А когда он наткнулся на глину и приспособил для обмазки, жилища стали хоть куда.

Наблюдая, как чайки охотятся на рыбу, он пытался добывать ее руками, палкой, камнем, отказался от безуспешных способов и сложил в лагуне ловушку-запруду из камней, в отлив удавалось поймать. Собирал

моллюсков. Из больших, с твердым глянцем листьев соорудил подобие одежды, защиту от жгучего солнца. Насушил травы для постели. Вылепил посуду из глины.

Жизнь наладилась, лишь немного омрачала настроение язва на ноге. Она саднила и мешала при ходьбе. Однако не настолько, чтоб он не смог предпринять путешествие на гору с целью осмотреться. Он взбирался сквозь заросли навверх с восхода до заката и остановился на вершине, задыхаясь: кругом до горизонта темнел океан, и солнце угасало за его краем. Это был остров.

На вершине горы он приготовил сигнальный костер. Рядом сделал хижину и стал глядеть вдаль, где покажется корабль. Он спускался только за водой и пищей и очень торопился обратно.

Через два года он, потеряв сначала надежду на корабль, вслед за ней потерял уверенность, что вообще существуют корабли, да и сами другие люди тоже. Нет — значит нет. А что было раньше — строго говоря, неизвестно. Голова иногда очень сильно болела. Даже из происшедшего на острове он уже не все помнил.

Он вернулся к хозяйству. Четыре добротные хижины, запас вяленой рыбы и сушеных корней, кувшины с водой, протоптанные тропинки, инструменты из камешков, палок, раковин и рыбьих костей. Конечно, обеспеченный быт требовал немало труда.

Выковыривая как-то моллюска из глубин витой раковины тростинкой, он дунул в тростинку, чтоб очистить ее от слизи — и получился свист. Ему понравилось. Он подул еще, с удовольствием и интересом прислушиваясь к звуку. Потом дунул в другую тростинку — та тоже свистела, но чуть иначе, по-своему.

Он развлекался, увлеченный. Тростинки, толстые и тонкие, надломленные и длинные — каждая имела свой звук. Он улавливал закономерности.

Первая мысль, которая пришла ему наутро — подуть в полую раковину. Раковина зазвучала басовито и мощно. Другие раковины тоже звучали. Он стал сортировать их по силе и высоте звука.

Вскоре он уже обладал сотней разнообразнейших свистулук. Были там из пяти, восьми и более неравных тростинок, скрепленных глиной, были глиняные и из раковин, с дырочками и без, прямые и гнутые. Он придумывал комбинированные, позволяющие извлекать сложный звук.

У него обнаружился музыкальный слух. Он научился наигрывать простенькие мелодии, переходя к более сложным. На лице его появлялось при этом задумчивое и болезненное выражение, — возможно, он пытался вспомнить многое... и не мог, но как бы прикасался к забытой истине, хранящейся, видимо, где-то в глубинах его существа, куда не дотягивался свет сознания.

Он познал в этом наслаждение и пристрастился к нему. Совершенствовал мелодии и сочинял новые. Иногда у него даже вырывался смешок, появлялась слеза — а раньше он смеялся только при удачной рыбалке, а плакал от боли.

Хозяйство терпело некоторый ущерб. Усладиться мелодией было иногда желанней, чем добывать свежую пищу, коли какая-то оставалась.

Он, вполне допустимо, полагал себя гением. Не исключено, что так оно и было.

Гора на острове оказалась вулканом. Вулкан начал извержение утром. Плотный грохот растолкнул воздух, пепел завесил небо. Белое пламя лавы излилось на склоны, лес сметался камнепадом и горел. А самое скверное, что остров стал опускаться в океан. Это произошло тем более некстати, что с некоторого времени человека гнело несовершенство последних мелодий, а накануне вырисовалось рождение мелодии замечательнейшей и прекраснейшей.

Он оценил обстановку, вздохнул, взял вяленой рыбы и кувшин с водой, взял любимую свистульку из восьми тростинок, четырех раздвоенных глиняных трубочек и двух раковин по краям, и стал пробираться через хаос и дымящиеся трещины к холму в дальней части острова. Там он отдохнул, закусил, и принялся с бережностью нащупывать и строить мелодию.

Устав, он пил воду, разглаживал пальцами губы и играл дальше.

Не то чтоб он не боялся или ему было все равно. Но он понимал, что — а вдруг уцелеет; и от его сожалений ничего не зависит; надо же чем-то занять время и отвлечься от грустной перспективы; хоть насладиться любимым занятием; да и — просто хотелось, вот и все.

Извержение продолжалось, и остров опускался. Через сутки волны плескались вокруг холма, где он спасся. У него еще оставалось полрыбы. Когда сверху летели камни, он прикрывал собой инструмент. Если ему не удавался очередной сложный пассаж, он ругался и топал ногами. А когда мелодия звучала особенно чисто и завораживающе, он прикрывал глаза, и лицо у него было совершенно счастливое.

ЦИТАТЫ

«А старший топорник говорит: «Чтоб им всем сгореть, иродам».

Плотников, «Рассказы топорника».

«Джефф, ты знаешь, кто мой любимый герой в Библии? Царь Ирод!»

О. Генри, «Вождь краснокожих».

«Товарищ, — сказала старуха, — товарищ, от всех этих дел я хочу повеситься».

Бабель, «Мой первый гусь».

Однако! Я заржал. Ничего подбор цитаточек!

Записную книжку, черненькую, дешевую, я поднял из-под ног в толкотне аэропорта. Оглянулся, помахав ею, — хозяин не обнаружился. Регистрацию на мой рейс еще не объявляли; зная, как ощутима бывает потеря записной книжки, я раскрыл ее: возможно, в начале есть координаты владельца.

«Я б-бы уб-бил г-г-гада».

Р. П. Уоррен, «Вся королевская рать».

«Хотел я его пристрелить — так ведь ни одного патрона не осталось».

Бр. Стругацкие, «Парень из преисподней».

«Я дам вам парабеллум».

Ильф, Петров, «12 стульев».

Удивительно агрессивные записи. Какой-то литературовед-мизантроп. Читатель-агрессор. Зачем ему, интересно, такая коллекция?

«Расстрелять, — спокойно проговорил пьяный офицер».

А. Толстой, «Ибикус».

«К тому времени станет теплее, и воевать будет легче».

Лондон, «Мексиканец».

Нечто удивительное. Материалы к диссертации о милитаризме в литературе? Военная терминология в художественной прозе?.. Я перелистнул несколько страниц:

«У нас генералы плачут, как дети».

Ю. Семенов, «17 мгновений весны».

«Имею два места холодного груза».

В. Богомолов, «В августе 44».

Я перелистнул еще:

«Заткнись, Бобби Ли, — сказал Изгой. — Нет в жизни счастья».

*Ф. О'Коннор,
«Хорошего человека найти нелегко».*

«И цена всему этому — дерьмо».

*Гашек:
трактирщик Паливец, «Швейк».*

«Лежи себе и сморкайся в платочек — вот и все удовольствие».

Н. Носов, «Незнайка».

Эге! Неизвестный собиратель цитат, кажется, перешел на вопросы более общие. Отношение к более общим вопросам бытия тоже не сверкало оптимизмом.

Странички были нумерованы зеленой пастой. На страничке шестнадцатой освещался женский вопрос:

«Хорошая была женщина. — Хорошая, если б стрелять в нее три раза в день».

*Ф. О'Коннор,
«Хорошего человека найти нелегко».*

«При взгляде на лицо Паулы почему-то казалось, что у нее кривые ноги».

Э. Кестнер, «Фабриан».

«Жене: „Маня, Маня“, а его б воля — он эту Маню в мешок да в воду».

Чехов, «Печенег».

Облик агрессивного человеконенавистника обогатился конкретной чертой женоненавистничества. Боже, что ж это за забавный человек?

Но вот цитаты, посвященные, так сказать, гостеприимству:

«Я б таким гостям просто морды арбузом разбивал».

Зоценко.

«Увидев эти яства, мэтр Кокнар закусил губу. Увидев эти яства, Портос понял, что остался без обеда».

Дюма, «Три мушкетера».

«Не извольте беспокоиться, я его уже поблевал».

Колбасьев.

«Попейте, — говорят, — солдатики. — Так мы им в этот жбанчик помочились».

Гашек, «Швейк».

«У Карла всегда так уютно, — говорит один из гостей, пытаясь напоить пивом рояль».

Ремарк, «Черный обелиск».

Цитаты были приведены явно вольно. Некоторые даже слегка перевернаны. Уж Чехова и Зощенко я помнил.

Но зачем они владельцу книжки? Эрудиция начетчика? Остроумие бездельника, отлакированное псевдообразованием? Реплики на все случаи жизни? Блеск пустой головы? Конечно, цитирование с умным видом может заменить в общении и ум, и образование...

И тут же наткнулся на раздел, близкий к моим размышлениям:

«И находились даже горячие умы, предрекавшие рассвет искусств под присмотром квартальных надзирателей».

Салтыков-Щедрин, «История одн. города».

«Проклинаю чернильницу и чернильницы мать!»

Саша Черный.

«Мосье Левитан, почему бы вам не нарисовать на этом лугу коровку?»

Паустовский, «Левитан».

Объявили регистрацию на мой рейс. Оценив толпу с чемоданами, я взял свой портфельчик и пошел к справочному: пусть объявят о пропаже. У стеклянной будочки толпилось человека четыре, и я, не отпускаемый любопытством, листал через пятое на десятое:

«Если б другие не были дураками — мы были бы ими».

В. Блейк.

«Говнюк ты, братец, — печально сказал полковник. — Как же ты можешь мне, своему командиру, такие вещи говорить?»

Серафимович, «Железный поток».

«Ничего я ему на это не сказал, а только ответил».
Зощенко.

Страничка 22 вдруг касалась как бы национального вопроса:

«Его фамилия Вернер, но он русский».
Лермонтов, «Герой нашего времени».

«А наша кошка тоже еврей?»
Кассиль, «Кондуит и Швамбрания».

«Меняю одну национальность на две судимости».
Хохма.

Я приблизился к окошечку, взглянул на длинную еще очередь у стойки регистрации — и, отшагнув и уступая место следующему за мной, полистал еще. В конце значились какие-то искалеченные, переиначенные поговорки:

«Любишь кататься — и катись на фиг».
«Чем дальше в лес — тем боже мой!»
«Что посмеешь — то и пожмешь».

Последняя страница мелко исписана фразами из анекдотов — все как один бородатые, подобные видимо тем, за какие янки при дворе короля Артура повесил сэра Дэнейди-шутника.

«Массовик во-от с таким затейником!»
«Чего тут думать? трясти надо!»

Переделанные строки песен:

«Мадам, уже падают дятлы».
«Вы слышали, как дают дрозда?»
«Лица желтые над городом кружатся».

Это уже походило на неостроумное глумление. Я протянул книжку милой девочке в окошечке справочного и объяснил просьбу.

— Найдена записная книжка черного цвета с цитатами! Гражданина, потерявшего, просят...

Я чуть поодаль ждал с любопытством — подойдет ли владелец? Каков он?

Объявили окончание регистрации. Я поглядывал на часы и табло.

В голове застряли несколько бессвязных цитат:

«Жирные, здоровые люди нужны в Гватемале».

О. Генри, «Короли и капуста».

«И Вилли, и Билли давно позабыли, когда собирали такой урожай».

Высоцкий, «Алиса в стране чудес».

«Поле чудес в стране дураков».

Мюзикл «Буратино».

«И тут Эдди Марсала пукнул на всю церковь. Молодец Эдди!»

Сэлинджер, «Над пропастью во ржи».

«Стоит посадить обезьяну в клетку, как она воображает себя птицей».

журн. «Крокодил».

«Не все то лебедь, что над водой торчит».

Станислав Ежи Лец.

«Умными мы называем людей, которые с нами соглашаются».

В. Блейк.

«Почему бы одному благородному дону не получить розог от другого благородного дона?»

*Бр. Стругацкие,
«Трудно быть богом».*

«В общем, мощные бедра».

Там же.

«Пилите Шура, пилите».

Ильф, Петров, «12 стульев».

«А весовщик говорит: Э-э-эээ-эээээээээ...»

Зощенко.

«Приходить со своими веревками, или дадут?»

Мне вспомнился однокашник (сейчас ему под сорок, а все такой же идиот), у которого было шуток шесть на все случаи жизни. Через полгода знакомства любой беззлобно осаживал его: «Степаша, заткнись». На что он, не обижаясь, отвечал — тоже всегда одной формулой «Запас шуток ограничен, а жизнь с ними прожить надо». И живет!

Вспомнил и старое рассуждение: три цитаты — это уже некое самостоятельное произведение, они как бы сцепляются молекулярными связями, образуя подобие нового художественного единства, взаимообогащаясь смыслом.

Я уже давно читаю очень медленно — возможно, реакция на молниеносное студенческо-сессионное чтение, когда стопа шедевров пропускается через мозги, как пулеметная лента, только пустые гильзы отзвывают. И с некоторых пор стал обращать внимание, как много афористичности, да и просто смака в массе фраз настоящих писателей; обычно их не замечаешь, проскальзываешь. Возьми чуть не любую вещь из классики — и наберешь эпиграфов и высказываний на все случаи жизни.

Причем обращаешь внимание на такие фразы, разумеется, в соответствии с собственным настроением: вычитываешь то, что хочешь вычитать; на то они и классики... В принципе набор цитат, которыми оперирует человек, — его довольно ясная характеристика. «Скажи мне, что ты запомнил, и я скажу тебе, кто ты»...

И тут он подошел к справочному — торопливый, растерянно-радостный. Средних лет, хорошо одет, доброе лицо. Странно...

Улыбаясь и жестикулируя, он вертел в руках свой цитатник, что-то толкуя девушке за стеклом. Она приподнялась и указала на меня.

Он выразил мне благодарность в прочувственных выражениях, сияя.

— Простите, — сознался я, мучимый любопытством, — я тут раскрыл нечаянно... искал данные владельца... и увидел... — Как вы объясните человеку, что прочли его записи, а теперь хотите еще и выяснить их причину? Но он готовно пришел на помощь:

— Вас, наверно, позабавил набор цитат?

— Да уж заинтриговал... Облик вырисовался такой... не соответствующий... — я сделал жест, обрисовывающий собеседника.

— А-а, — он рассмеялся. — Видите ли, это рабочие записи. По сценарию один юноша, эдакий пижон-нигилист, произносит цитату — характерную для него, задающую тон всему образу, определяющую интонацию данной сцены, реакцию собеседников и прочее...

— Вы сценарист?

— Да; вот и ищу, понимаете...

— И сколько фраз он должен произнести?

— Одну.

— И это все — ради одной?! — поразился я.

— А что ж делать, — вздохнул он. — За то нам и платят: «За то, что две гайки отвернул, — десять копеек, за то, что знаешь, где отвернуть, — три рубля».

Я помнил это место из старого фильма.

— «Положительно, доктор, — в тон сказал я, — нам с вами невозможно разговаривать друг с другом».

Он хохотнул, провожая меня к стойке: все прошли на посадку.

— Вот это называется пролегомены науки, — сказал он. — «Победа разума над сарсапариллой».

Мне не хотелось сдаваться на этом конкурсе эрудитов.

— «Наука умеет много гитик», — ответил я, пожимая ему руку, и пошел в перрон. И вслед мне раздались:

— «Что-то левая у меня отяжелела, — сказал он после шестого раунда».

— «Он залпом выпил стакан виски и потерял сознание».

Вот заразная болезнь!

«Не пишите чужими словами на чистых страницах вашего сердца».

«Молчите, проклятые книги!»

«И это тоже пройдет».

**СЕСТРАМ
ПО СЕРЪГАМ**

СТАРЫЙ МОТИВ

А наутро Золушка, которая была уже не Золушка, а Принцесса, достала из почтового ящика вместе с ворохом поздравлений счет за карету, коней, наряд и фею с волшебной палочкой — а сказочные услуги обходятся в сказочные деньги.

— Гм... — солидно сказал Принц, неумело примеряя к лицу такое новое выражение озабоченного мужа.

— Я так тебя люблю... — застенчиво прошептала Принцесса, прижимаясь к нему, и ему ничего не оставалось, как уверить ее в том же.

Через некоторое время он спросил миролюбиво:

— Для чего ты все это затеяла?

— А как бы иначе ты меня заметил? — убежденно возразила молодая жена.

— М-да, — сказал Принц, задумчиво улыбаясь — разумеется, от счастья.

Затрубили фанфары. Они сошли к торжественному завтраку. Старый Король увидел счет и закричал.

— Очень мило! — сказала Королева.

— Тс-с, — зашипел Король. — Ну, нельзя же... — он потер лоб и взялся за кубок.

— Хватит пить, — велела Королева. — Тебе вчера было плохо. И поговори с ее отцом. В конце концов, это и его дочери свадьба.

— Ну откуда же у него, — тихо вздохнул Король. — О чем ты говоришь. Сама же все понимаешь прекрасно.

— Еще бы, а у нас все есть. Должен сам думать. И так это невыгодная партия. Мы тоже, знаешь, если на то пошло, не испанские короли, колоний не имеем.

И после завтрака Король с потеющим от смущения отцом Золушки, а ныне Принцессы, уединились в кабинете. Оглянувшись, Король запер дверь, достал из буфета бочонок и два кубка и, вольготно вздохнув, развалился в кресле.

— Ну, — пригласил он, — давай, что ли... по-семейному, тесть.

Час спустя, спев вполголоса «Мой конь притомился, стоптались мои башмаки...», они затолковали.

— Расходы, конечно, ужасные, — с неловкостью проговорил тесть.

— Кому нужны эти церемонии... — подтвердил Король.

— Сделали бы все тихо, по-простому. Да меня моя все пилила...

— Ах, — понимающе вздохнул Король. — В наши времена...

— Да, да... при Генрихе III все было куда проще. Никакой помпы, понимаешь...

— Не говори... у меня с братом один турнирный доспех на двоих был. Кольчуга порвется — склепывали, ничего; сейчас уж забыли, давай только новые. Я женился — страусового пера на берет не было. А у кого они тогда были?.. И ничего, в доспехе. Собрались родственники, человек семь, выпили, посидели, — а было все по-хорошему. А теперь... И родни-то сколько развелось! Откуда — ума не приложу.

— А я как... и говорить не приходится, — махнул рукой отец Золушки, ныне Принцессы.

— Так ведь ославят иначе, не закатаи пир. До других дворов докатится.

— Политика.

— Именно... Хочешь не хочешь — этикет. Да и, понимаешь, все детям получше хочется.

— Как не хотеться... Моя уж так мечтала о свадьбе красивой. Девчонка, что взять. А как я ей фею эту достал... Сам всю жизнь вкалываешь — пусть хоть они поживут...

— Не говори. Войны вот, слава Богу, кончились. Пусть они не хлебнут, чего нам довелось, — и Король хлебнул из кубка. — Давай за их счастье.

Сам я договорюсь со своей, подумал Король. А лучше вообще ничего не скажу. Скажу — пополам решили. А деньги пока возьму из тех, что на строительство мостовой на окраине отложены. Все одно, когда еще эту окраину замостят...

За окном, в саду, Принц и Принцесса гуляли по аллее, трогательно держась за руки. Принц сорвал единственную розу с любимого куста Короля. Король невольно крикнул. Принц приколот розу к волосам Принцессы, она просияла, они поцеловались... они были прелестны.

Отцы стояли у окна, растроганно промакивая глаза.

— Придется им герцогство выделить, — вслух рассудил Король. — С королевствами сейчас туго. Со временем пробьём, конечно. Связи есть. Заплатить придется, ясно. А пока что ж, пусть у нас поживут. Дети...

ЗАНУДА

(обычный вариант)

Он увидел ее и погиб.

А может быть — он увидел ее и она погибла, как взглянуть.

Он пригласил ее на танец. В следующих танцах она ему отказала, намекнув, что он плохо танцует.

Он окончил школу современных, а заодно и балльных танцев.

От прогулки с ним она отказалась, дав понять, как должен одеваться настоящий мужчина.

Он перевернул подшивки журналов мод, записался на показы в Дом моделей и познакомился с четырьмя продавцами комиссионных магазинов.

На прогулке она представила его молодому человеку, и молодой человек поговорил с ним в сторонке.

Он позанимался в секции бокса и поговорил с молодым человеком.

После кафе подошла компания молодого человека и поговорила с ним в сторонке.

Он отслужил в воздушно-десантных и поговорил с компанией.

У нее появился жених — эрудит.

Он выучил четыре тома «В мире мудрых мыслей», и эрудит перестал являться таковым.

У нее появился жених — писатель.

Он написал и напечатал два романа, а писатель превратился в критика, довольно злого.

В ответ на жениха с машиной он выиграл по лотерее «Жигули», а на жениха прыгуна в воду — прыгнул с вышки, поставив еще два табурета.

Она похудела и стала печальной.

Она захотела тигренка.

Он поехал в Приморье, стал звероловом и привез.

Ее жалели.

Она призналась, что могла бы полюбить такого человека, будь он только обязательно повыше ростом.

Он общался с одним профессором-хирургом от «Мира мудрых мыслей» до спецприемов самообороны и обратно, пока тот не удлинил ему ноги на десять сантиметров.

Увидев, она заплакала. И он тоже.

Они поженились.

...Через год, в мятом костюме, по обыкновению за полночь вернувшись от приятелей, он стал каяться.

— Я негодяй, — терзался он. — Я совершенно перестал уделять тебе внимание. Зачем ты только за меня вышла...

Цветущая жена мирно слушала радио, читала журнал, грызла яблоко, вязала шарф, а ногой гладила кошку, заменившую сланного в зоопарк тигренка.

— Должна же я была подумать и о себе, чтоб остаться наконец в покое, — кротко возразила она.

МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Я — женщина.

Это утверждение может дать повод поупражняться в остроумии моим знакомым, достоверно знающим, что я не женщина. А наоборот, мужчина. Но я выше этого. Я пишу рассказ о женщине. От имени женщины. Значит, сейчас я — женщина. Бесспорно. Таков закон искусства.

Итак, я женщина, и у меня есть все, чем положено обладать женщине. И я знаю, что чувствует женщина — могу себе это представить. Неплохо представляю. Ничего себе. Уже чувствую себя почти женщиной... нет, еще не вполне.

И тогда я устраиваю генеральную стирку, и сушку, и глажку, и уборку, и мою полы, и готовлю обед, и все это одновременно и в темпе, и бросаю курить, и скачу под душ, и взбиваю поредевшие волосики в прическу и спрыскиваю ее креплаком, и смотрю на часы, хватаю хозяйственную сумку и бегу в булочную.

И взяв хлеб, ватрушку, чай, песок, халву, масло, бублики и батончики, обнаруживаю, что кошелек остался дома. И возвращаюсь, и перед дверью обнаруживаю, что ключ-то внутри...

И я отправляюсь на поиски слесаря, и его нет дома, будьте уверены. А на улице минус двадцать, и через капроны здорово дерет.

Я звоню другу и, объяснив ситуацию, прошу ночлега. Он, свой парень, зовет безоговорочно.

Друг встречает меня: свечи в полумраке, вино и музыка. И начинает лапать, и я чувствую, что влипла. На дворе мороз, не погуляешь, но друг ужасно настойчив, и в конце концов я вынуждена уйти.

Слушайте, рассказ — это все ерунда, уже первый час, я продрогла, и если утром слесарь не откроет дверь, чтоб я могла сесть за машинку и начать: «Я — мужчина», то как быть...

ВОРОЖЕЯ

— На вас на всех мужей не напасешься.

— Так я сама им запаслась! У меня есть!

— А есть — чо плачешь? Есть муж — плачут, нет — плачут. Плаксы.

— Так есть, только не со мной. Ушел, — ябедничает клиентка.

— Муж не комок, чтоб всю жизнь на месте стоять. Ноги есть — ясно дело, уйдет. — Хозяйка запахивает черный халат с драконами.

— Так он же мой, мой! — буйнит незадачливая мужевладелица.

— Сегодня он твой, а завтра ты — не его. Рабовладение отменено. Твой — дак уж держи свой крест крепче.

— Как его удержать, если я его даже не вижу! Что я, фокусник?

— Хочешь иметь мужа — приходится быть фокусником. Муж не подпорка, он подхода требует. Есть муж — орел, без свободы зачахнет. Есть индюк, этого только корми да дай покурлыкать всласть. Есть цыпленок, этого за лапку привяжи, не то первой же кошке достанется. Есть попугай: в глазах пестрит, треску много, а толку шиш.

— Что за птицеферма... зоосад! Муж — это моя половина! Полменя!

— Самоходная твоя половина. Во сколько ж ты полсебя оценишь?

— Groш ему цена!

— Одна половина грош, а другая одета на три тыщи. Ты арихметику проходила? Верну тебе твой грош за триста рублей.

— А говорили пятьдесят.

— Пиисят тебе как раз развод встанет. А он инженер, в заграницы ездил, сама сказала. А она-то — кандидат наук. А ты кто против нее? — половина своего бывшего гроша, вот ты кто без него.

— Сто, — набавляет несчастная половина гроша.

— За сто достань себе путевку в санаторий нервы лечить.

— Двести.

— За двести купи сапоги и бегай в них за мужем, пока не сносишь.

— Скр-ряга! — гаркает с люстры попугай, плюясь семечками.

Террористический вопль парализует жертву: деньги отсчитываются. Хозяйка гасит «Мальборо» в пепельнице-черепе и намешивает адскую смесь в кубке спортобщества «Урожай». Посетительница нюхает и бледнеет. Шепчет нечто ужасное; пьет. Глаза ее выпучиваются, парик соскакивает, вставная челюсть падает в кубок. Внутри нее вдруг пиликает гармонь, и она чревоушает неожиданным басом:

— Оох... глюк! Отравила, ведьма... Ну только вернись, я т-тебе.

Ворожея расшлепывает засаленные карты, суля марьяжному королю инвалидность первой группы и десять лет строгого режима. Посетительница бессильно икает, взор ее застлан фиолетовыми кляксами, как у курицы на насесте. Уходит боком на неверных ногах.

— Стоять!! — вопит попугай, гоняясь по комнате за мухой.

Посетительница пошатывается, стучается о косяк и исчезает.

Ворожея снимает халат, оставшись в джинсах и пуловере. Из-под стола достает пишущую машинку и стучит:

Заявление

Хотя у меня уже все болит, но знайте, что на склоне лет оступился и впал в упадок Заблудший Т. Д., гражданин и инженер. Еще общественник, но уже почти не человек.

Его разбитый облик был совращен с путей науки кандидатом этих наук, а точнее — кандидаткой в исправительную колонию. Брак дал вместо плода трещину, и она прошла через обнаженное место всего святого.

Может ли поездка за границу рассматриваться как повод к сожигательству при едва живой семье хотя бы и с академиком? А что ответят на это товарищи из Академии наук? Интересно узнать их отрицательное мнение. Задача науки в технике и продовольствии, а не разврате. Общество не позволит ковырять грязными пальцами свои ячейки семьи никаким профессорам лжекибернетики с их ядерными генами!

Жена Заблудшая Т. П. уже не выходит из стресса и вообще из дома, и ее угрожающее положение разрастается без заботы, как малолетний преступник на дрожжах и водке с наплевательством. Несчастливая женщина уже не женщина, а плакать все равно хочется.

Оставшись при одном скелете, ее питают лишь воспоминания о будущем, несущем возмездие вашего органа по ее проходимцу. Обманом похитил он ее гордое звание мужа, но значения этого слова не мог понять всю жизнь. А теперь пытается втереть очки назад.

Дочь Заблудшая П. благодаря развалу всего вокруг стала на скользкий путь несовершеннолетней и может выпасть из членов общества.

Паршивый клочок хоть откуда вон! Двоеженство попирает уголовный закон и жаждет тюремной ответственности. Наша мораль никому не позволит! Ни кан-

дидату по разврату, ни инженеру по глумлению. Любимый город не может спать спокойно, есть и трудиться, пока все нарушители не получают свое, что им и требуется, раз добивались и сами заслужили. Факты вопиют к актам, чтобы дали по рукам и всем чувствительным местам».

Загибая пальцы, ворожея считает по списку:

— Профком, местком, партком, прокуратура, участковый, комсомольский прожектор, дирекция, совет наставников, клуб ветеранов, товарищеский клуб, жэк... Ты, голубчик, впереди своего визга побежишь назад. Или ей твои кости в тачке привезут. Слово — не воробей, поймают — вылетишь.

НИЧЕГО СМЕШНОГО

А над чем смеяться? Плакать надо! Чувство юмора — это шестое чувство, когда остальных пяти нет. Посмотрите по сторонам: есть чувства — плачь, лишился чувств — смейся. Хуже не будет. Лучше тоже. Так сиди тихо.

Нет — смеются: не жизнь, а горе одно. Плачут: не жизнь, а смех один. Кругом недоразумение — и всеобщее веселье.

Родился по недоразумению: не знал ведь, куда попаду. Умер по недоразумению: решил вовремя прийти на работу. Задавили в транспорте. Больше не приду, не волнуйтесь. Не тратьте на меня ваше чувство юмора, его ведь отпущено каждому ровно на жизнь. Никто еще не смеялся на своих похоронах. Правда, не плакал тоже. А над чем плакать? Слава Богу, отмучился.

А это длинное недоразумение. между роддомом и кладбищем? Детский сад — недоразумение: нет мест. Кладбище — недоразумение: у них там что, план по покойникам? Места сколько угодно, так ведь скоро хоронить некому будет: расти негде.

Я не имею в виду рост над собой: тут пожалуйста. Как высунешься, так тебя мигом и всунут. Куда? Туда. Граждане, кто там? Я тоже.

Только подошла очередь в детский сад — пора в школу. Чего я там не видел, я хочу в разбойники. От-

вечают: сейчас все разбойники с высшим образованием. Тогда почему имени Стеньки Разина не Академия наук, а пивзавод?

Если школа растит разбойников — надо ее закрыть. Если школа борется с разбойниками — то что делает милиция? Плачет. Вместе со школой. А смеются разбойники. Над ними? Нет — над нами.

Я не могу смеяться, когда другие плачут. Отвечают: так будешь плакать, когда другие смеются. А третьего пути нет? Есть: с музыкой и цветами.

Я в него не верю: кругом неразбериха, похоронят вместо меня кого-нибудь более пробивного. Со связями. Без очереди.

Слушайте, вот бы их всех? А? Со связями, музыкой и цветами... Вы случайно не музыкант?

А то: его похоронят, а меня? Выпишут. Исключат. Снимут. Вычеркнут. И хоронить нечего будет: сожгут так, что только предметы легкой и обувной промышленности сплунут.

Однажды так уже похоронили вместо меня начальника. Сначала он смеялся надо мной, потом я плакал над собой. Хорошо смеется тот, кто может тебя уволить.

На работе никто ничего не делает, все над всем смеются. Один работает и плачет. Этот один, естественно, я. Вы тоже? Меня уволили по сокращению штатов: не сработался с коллективом. Вас еще нет? Теперь я смеюсь дома, а они плачут на работе.

Смотрю кино: стреляют, рубят, топят, ломают, взрывают и крушат, — пособие для диверсантов или травматологов? Написано: цветная зарубежная кинокомедия. Хорошо они там смеются. А мне здесь хочется плакать. Потому что люди гибнут, чего ж смешного?!

Говорят, смех продляет жизнь. Кому? Почему те, над кем смеются, живут дольше тех, кто над ними смеется?

Потому что смех — это оружие. Для самоубийства. Которое не тех укорачивает и не там удлинняет.

Поэтому не смейтесь над дураками. Над ними смеются — все. Так что же — все...? Тогда давайте сме-

яться зеркалу. Результат тот же — никакого, зато и опасности тоже никакой.

Осторожней со смехом — это горькое лекарство: его глотают и кривятся. Смех может убить любую болезнь — если повезет. Если совсем повезет — вы сами при этом можете остаться живы. И даже выздороветь. От чего? От всего, на что глаза бы не глядели. Пусть глядят. А вы смейтесь.

В крайнем случае, можете смеяться надо мной. Я не обижусь. Ваш смех продляет мою жизнь. Так что спасибо.

КТО ЕСТЬ КТО?

— понять невозможно. Фантасты занимаются планированием или плановики занимаются фантастикой? Читаешь роман — какой-то производственный доклад. Читаешь доклад — какой-то фантастический роман. Не говоря уже о жалобной книге — просто какое-то полное собрание трагедий Шекспира.

Как отличить? На какое место бирки привязать? Вот в морге — там ясно: у каждого на ноге — кто такой.

А то. Как называются люди, работающие в поле? Полеводы? Нет — это симфонический оркестр. В полном составе. А вот там поют. Наверное, хор? Нет — это бригада механизаторов празднует шефскую помощь. А кто, собственно, кому помогает? Механизаторы помогают — выполнить план магазину.

Те, кто разводит свиней, — это свиноводы? Ошибаетесь — это летчики. Ведут подсобное хозяйство. А где же свиноводы? А вот — ведут пионеров. Деревья сажать. А что делают лесники? Может, водят самолеты, поскольку летчики заняты?

Говорят, где-то недавно поезд с рельсов сошел. А что странного, у железной дороги тоже план по сдаче металлолома. Она его разом перевыполнила. Премии получили.

Вон в кабинете зубы сверлит — думаете, зубной врач? Нет, сверловщик третьего разряда. Врач на ово-

щелбазе картошку перебирает. А грузчики оформляют наглядную агитацию. А художник на стройке работает — квартиру хочет получить. Строитель квартиру уже получил и ушел работать в автосервис. Объясните, кем он там работал, что получил восемь лет с конфискацией?

Инженеры кроют крыши. А вот продает им шифер — это продавец? Нет, кровельщик. И сует он кому-то в лапу. Взяточнику? Нет — ревизору. Недаром призывают: овладевайте смежными профессиями!

А как отличить: какая смежная, какая основная? На основной зарабатывает сто рублей, на смежной — покупает «Жигули».

Вот в темноте из магазина топают фигуры с мешками. Воры? Не оскорбляйте, это по смежной профессии. По основной — скромные герои торговой сети.

Вот ударники вкалывают по двенадцать часов в сутки. Работяги? Нет — это отдыхают в законном отпуске научные сотрудники. На шашке. И зарабатывают за этот отпуск столько, сколько за весь остальной год. Как же они выдерживают? А они весь остальной год отдыхают: сидят в лаборатории и играют в шахматы.

А вот эти туфли шил уж точно сапожник. Нет — шофер. Сапожник работает на кране.

Учтите, что написал это все электрик, пока я чинил проводку.

НАМ НЕКОГДА

Нам некогда. Мы сдаем. Мы сдаем кровь и отчеты, взносы и ГТО, рапорты и корабли, экзамены и канализацию, пусковые объекты и жизненные позиции. Жёны говорят, что мы сдаем. Сдаем к юбилеям и сверх плана, по частям и сразу, в красные будни и в черные субботы. Сдаем в гардероб и в поддержку, на подпись и на похороны, в ознаменование и в приемные пункты, на утверждение и на водку, за мир и за того парня, сдаем на время и на ученую степень, деньгами и зеленым горошком, в местком и в архив, сдаем раньше срока, стеклотару и билеты в театр, потому что в театр некогда.

У нас — своя трагедия. Нам некогда. Мы работаем. Труд красит человека. От этой краски за месяц отпуска еле отходишь.

У нас слишком много начальников и лейкоцитов в крови, воды в сметане и конкурентов в списке на жилье, проблем для голов и голов для ондатровых шапок, поэтому мы плохо выглядим.

Нам надо отдохнуть. Прийти в себя. Полежать. Послушать тишину. Понюхать молодую травинку. А то некогда. Некогда читать книги и нотации детям, писать жалобы и диссертации, ходить в гости и на лыжах, посещать театр и дантиста, делать гимнастику, думать о жизни и рожать детей.

А если не будет детей, то на черта нам вообще вся эта карусель?

СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ

Енералов принес главному редактору условленную повесть. После ухода автора главный устало снял улыбку: Енералов имел имя, имел репутацию, имел вес, из чего следует, что он много что имел, а в частности шестьдесят процентов аванса по договору.

На редколлегии все посмотрели друг на друга, и курящие закурили, а уже некурящие достали валидол.

И стали редактировать. Завотделом прозы ознакомился с первым абзацем и передал рукопись редактору. У него было особое мнение о Енералове. Редактор не ознакомился с первым абзацем и передал рукопись практиканту. У него было еще более особое мнение о Енералове. Практикант прочитал и тоже составил мнение о Енералове, кое и высказал вслух в непосредственной форме, за что ему прибавили рецензий на десять рублей.

Практикант хотел стать писателем: он переписал все по-своему.

Редактор был начинающим писателем: он вычеркнул все «что» и «чтобы» и убрал две главы, а также одного героя, чтобы прояснить психологическую линию.

Завпрозой был молодым писателем; он снял концовку, а завязку поместил после кульминации с целью усилить последнюю.

Ответсекр был профессиональным писателем; он снизил эпитеты и повысил акценты.

Замглавного был известным писателем: он заменил название, усилил звучание и поправил направление.

Машинистка не любила писателей (кроме одного, славного...); она авторизировала, чтобы не скучать, и сократила, потому что все равно было скучно.

А главный редактор был главный редактор; он любил свой журнал и знал хорошо, что любви без жертв не бывает. Он вздохнул и понаводил глянец, хотя знал хорошо, что на валенок глянец не наводится.

На редколлегии все не смотрели друг на друга, и некурящие закурили, а курящие достали валидол.

Вычитывая гранки, Енералов сказал, что это единственная редакция, где умеют прилично работать с рукописью. Когда вышел номер, он появился в новой дубленке и сделал главному приглашение в ресторан. А прочим преподнес по журналу с трогательным посвящением от автора. Машинистке подарил шоколадку. А практиканту ничего не подарил. У того уже практика кончилась.

КЕНТАВР

Уж кто кем родился, дело такое. Стыдиться тут нечего. Бывает. У нас, так сказать, все равны. Александра Филипповича, например, — так того вообще угораздило родиться кентавром. Кентаврам еще в античной Греции жилось хлопотно. А сейчас о них почти и вовсе ничего не слышно.

Сначала его не принимали в детский сад: намекали, что нужна специальная обувь, кровать и прочее. Пришлось без боли вырвать заведующей два зуба, устроив ее к знакомому частнику-стоматологу. Но и тогда не велели ложиться в кровать с копытами, а на прогулках он должен был плестись в конце и не размахивать хвостом.

В школе, куда его записали против желания — всеобщее обучение есть всеобщее обучение, — он пользовался уважением, как личность необыкновенная, обладающая к тому же смертельным ударом задней левой. На физкультуре его ставили в пример, но когда на городских соревнованиях жюри не засчитало ему побед в беге и прыжках, он затаил обиду и к спортивной карьере охладел, несмотря на бешеные посулы заезжих тренеров.

Он стал задумываться о судьбах кентавров в истории. И выдержал конкурс на исторический факультет (хотя предпочтение отдавалось имеющим производст-

венный стаж), где прославился как достопримечательность костюмированных балов (первые призы) и душа пикников, на которых он катал верхом всех желающих девушек. Он долго боялся, что не может нравиться девушкам, но оказалось, что многие испытывают к нему сильнейший интерес. И на последнем курсе он удачно женился на профессорской дочке. Правда, семья прокляла ее, но потом опомнилась, что других-то детей нет, и Александра Филипповича оставили в аспирантуре.

Защита диссертации «Роль кентавров в современности» шла бурно: один профессор проснулся и напал с обвинениями в антинаучной фальсификации истории: утверждал, что у античных кентавров было шесть ног, две из которых в результате прогресса и превратились в руки. К счастью, выяснилось, что профессор спутал четвероногих кентавров с шестикрылыми серафимами и шестируким Шивой.

Завотделом кадров воспротивился приему Александра Филипповича в НИИ истории, заявив, что фактом своего существования он подрывает научные основы и мешает атеистической пропаганде, так что тестю-профессору пришлось закрутить все связи. Зато в отделе Древней Греции Александр Филиппович сразу стал непререкаемым авторитетом и предметом зависти со стороны других отделов: сектор средних веков даже попытался устроить к себе настоящую ведьму, но встретил резкий отпор в лице директора, заявившего, что хватит с него и тех ведьм, которые в институте уже работают.

Недолюбливали Александра Филипповича лишь комендант здания, ругавшийся, что приходится менять паркет, и вахтер, на лице которого каждое утро, когда Александр Филиппович аккуратно предъявлял пропуск, появлялось болезненное и беспомощное выражение.

Несчастья начались с разнарядки на сельхозработы. Кто возмущался, что людей много, а кентавр один, а кто возражал, что именно поэтому его и надо отправить. Жена со временем стала стесняться Александра

Филипповича перед окружающими (хотя наедине по-прежнему очень любила), и тещь-профессор не заступился. Вдобавок замдиректора, заполняя бланк, в графе «число людей» указал «1», и в мучительном затруднении пояснил в скобках: «+ один конь».

— Это ж надо, — восхитился в колхозе бригадир Вася, — какую полезную породу людей вывели! Давно пора! Во что мы уже умеем, а?

И Александра Филипповича рационально приспособили к телеге с картошкой: он сам насыпал ее в мешки, сам нагружал их, вез, разгружал, складывал и считал; а Вася отмечал палочками в блокноте.

— Как работать — так лошадь, а как кормить — так человек? — неумело пошутил Александр Филиппович в столовой. Ответили об установленных нормах порций, а кто недоволен — может хоть на лугу пастись.

А в дом приезжих его со скандалом не пустила уборщица.

Назавтра, голодный и невыспавшийся, он забастовал. Вася прибег к кнуту. Возмущенный Александр Филиппович поскакал жаловаться председателю колхоза. У того хватало проблем и без кентавров, он порылся в бумагах и кратко разъяснил в руководящем стиле:

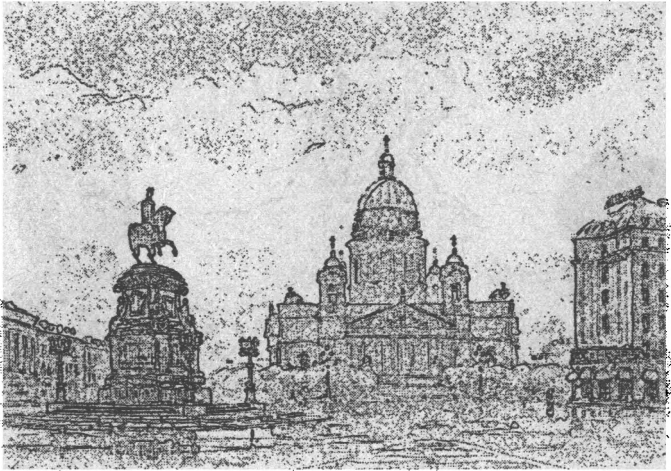
— Указано: «Один человек плюс один конь». Не хотите работать — накатим такую жалобу, что вас вообще из ученых в лошади переведут.

Александр Филиппович стал худеть. Осунулся. Глаза его запали, зато ребра выступили. На поле кони встречали его сочувственным ржаньем, и это было особенно оскорбительно. Зоотехник при встрече с ним ужасался, а завклубом норовил проехаться на его телеге и сговориться о бесплатной лекции «Разоблачение мифов».

После дня под дождем Александр Филиппович простудился, слег. Врач при виде торчащих из-под одеяла копыт и хвоста в негодованием пообещал заявить о пьяных шутках бригадира Васи кому следует и ушел. Приглашенный Васей ветеринар высказал опасение, что

Александра Филипповича придется усыпить. После такого прогноза больной лечиться у ветеринара отказался наотрез, и даже боялся принимать аспирин — черт их знает, что они могут подсунуть.

Добрый Вася принес водки, Александр Филиппович выпил и заснул. Вася стал решать вопрос: хоронить ли Александра Филипповича по-людски, или же сдать шкуру на заготпункт, а на вырученные деньги помянуть. А Александру Филипповичу снилась античная Греция, где среди цветущих холмов гуляли люди и кентавры, мирно беседуя о смысле истории и борьбе с общими врагами-чудовищами, а самый мудрый кентавр, которого звали Хирон, занимался воспитанием мальчика, которого звали Геракл, и никто не видел в этом ничего странного.





А также, еще и кроме того:

ПАМЯТНИК ДАНТЕСУ

ПАМЯТНИК ДАНТЕСУ

рассказ

Произошло это в небольшом районном центре под названием Козельск. Заштатный городишко Козельск не примечателен абсолютно ничем, кроме одной страницы в своем далеком прошлом — страницы славной и скорбной. Это тот самый Козельск, который во времена татаро-монгольского нашествия отчаянно сопротивлялся семь недель всему монгольскому полчищу и вошел в анналы как «злой город», под стенами которого монголы положили уйму воинов, и в отместку и в злобе поголовно вырезали все его население, сам же город сожгли. Когда-то это было написано во всех школьных учебниках истории и приводилось как пример героизма русских людей, сопротивлявшихся жестоким татаро-монгольским захватчикам.

У отдельных школьников, склонных от природы к размышлениям, выходящим за рамки обязательной общеобразовательной программы, факт героической обороны Козельска вызывал некоторые не то, чтобы сомнения, но вопросы, не находящие разрешения. Скажем: если маленький Козельск на целых шесть недель задержал продвижение туч монголов в Европу, то что могли бы совершить Киев или Чернигов, обороняясь они так же стойко? Городов на Руси было много, даже по семь недель на каждый — это уже сотни и даже тысячи недель, и потери монголы понесли бы неисчисли-

мые, так почему же другие города не сопротивлялись столь же мужественно? И почему именно и только Козельск защищался так героически, а прочие подверглись нашествию как-то... пассивно, что ли. Будь все такими героями, как козельцы, так и конец бы пришел на Руси монголам, наверное.

Но предметов в школе много, уроки каждый день, и даже у самых пытливых юных умов эти внепрограммные мысли дальнейшего развития не получали. Каждый новый день приносил много поводов к мыслям гораздо более серьезным и актуальным. Здесь и успеваемость, и любовь с дружбой, и взаимоотношения с родителями, и деньги, и приличные шмотки, и набить морду кому надо и не получить по рылу самому, и прочее без конца.

Некоторые же из этих школьников, особо умные и любознательные, в возрасте уже сравнительно зрелом раскрывали увлекательные сочинения блистательного историка Льва Гумилева, блистательность которого была наследственной и предопределенной генетически и биографически, как только и может быть у сына расстрелянного в ЧК знаменитого поэта и прошедшей вполне крестный советский путь знаменитой поэтессы Анны Ахматовой, и из этих сочинений узнавали с противоречивым изумлением, что накрывшие черной тучей всю Русь монгольские полчища насчитывали два тумена, то есть двадцать тысяч человек — что не есть сила неисчислимая и необоримая, но в масштабах страны и континента не такая уж и большая. Правда, они были отлично организованы, отменно умелы в бою и безукоризненно храбры. И вот этот экспедиционный корпус, состоявший из двух туменов, представлял интересы Великого Кагана на самой северо-западной границе Великой Степи, где и располагалась Русь, и от его имени рассылал посольства по городам, предлагая достаточно умеренные требования двоякого рода: признать принципиальное главенство Чингиз-хана — раз, и в порядке заключения и исполнения союза о ненападении и взаимопомощи раз в год отправлять в ставку Орды скорее символическую, нежели реально обременительную

даны, — два. Что могли взять степные воины с Руси? Кони здесь были не те, наемных войск они не применяли, оружие ценилось азиатское, качество его было куда выше, ткани тоже ценились китайские и бухарские. Так что — меха, мед, драгметаллы в очень умеренных количествах. А поскольку непосредственно перед этим на Калке русские опрометчиво попытались вступить за союзников-половцев и были быстро и крепко биты и разогнаны сильно уступавшим им в числе противником, то в городах сии посольские извещения обдумывали внимательно и решили за лучшее принять.

Собравшиеся раздавить врага четырехкратным перевесом русские войска на Калке возглавляли три Мстислава — Удалой, Киевский и Черниговский. Удалой Мстислав бежал первым, Черниговский — вторым, Киевский сдался. Вследствие этой удали семьсот пятьдесят лет спустя районный цензор Козельска, в силу своей татарской национальности тонко чувствительный к отдельным историческим моментам, снял с разворота газеты рассказ Джека Лондона «Белое безмолвие», поставленный к юбилею последнего и начинавшийся фразой: «Сколько ни встречал я собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились».

Но Козельск стоял на отшибе и не играл никакой заметной роли в тогдашней Руси не только, похоже, в силу своей незначимости, но и в силу умственных и моральных качеств своих жителей, каковые качества, как мы вскоре увидим, и до сих пор не могут позволить Козельску выбиться в приличные города. Потому что еще до этих печальных известий в козельцах, выслушавших монгольское посольство, разыграло чувство превосходства: ишь ты, десяток всадников неизвестно откуда, а тоже туда же — давай еще им что-то!.. Жадность, как давно, но все равно позже чем следовало сформулировали в Одессе, есть мать всех пороков: пожадничавшие насчет дани козельцы объяснили друг другу, что дело не в дани, а в унижительности самого требования, и, согласившись в этом друг с другом, решили послов тут же унижить ответно и в порядке унижения вообще перебили на месте. Как ни мал был

Козельск, но с посольством храбрые горожане вполне сумели управиться.

Сын убитого поэта Гумилев своей обстоятельностью и исторической справедливостью озадачивал и смущал ум. Монголы имели массу предрассудков, диковатых на европейский или русский взгляд. Например, посол был лицом абсолютно неприкосновенным, а его убийство — тягчайшим оскорблением правителю и народу. По «Великой Ясе» Чингиза убийство довершегося расценивалось преступлением непрощаемым и каралось исключительно смертью всех к нему причастных: если кто полагает, что беспомощного посла, рассчитывающего на твою честность и благородство и прибывшего для переговоров, можно вот так взять и убить, так этот убийца — человек с червоточиной, с неправильным устройством души, а душу такую он получил от родителей и передал детям — ну так придется вырезать весь род и весь город, потому что такие люди не должны осквернять собою наш мир. Вот такая суровая и простая логика.

На Козельск было отправлено пять сотен всадников. Сил у монголов было мало, и расходовали они их экономно и рационально. Ко времени прибытия полутысячи под стены козельцы уже знали, что неизбежно следует за их поспешным вероломством, и рассчитывать на пощаду им не приходилось никак. Отчаянная защита объясняется не героизмом характера, а безвыходностью положения — все равно умирать со всей семьей и городом, так единственный шанс хоть продлить жизнь — драться на стенах, альтернатива чему — подставлять горло под нож, как барану.

И не потому монголы упомянули Козельск как «злой город», что он сопротивлялся, а потому, что преступил священный закон неприкосновенности доверившихся и убил послов.

Однако с тех пор минуло без малого восемь веков, давно уже монголы прокатились до Адриатики и Египта и отхлынули обратно, раскатали Китай, сели в Индии, были биты Тимуром, зацепились за Волгу, качают нефть за Казанью, держат дворницкое дело в Москве

и живут в ней без малого миллионным землячеством, и нет этому нашему рассказу до них никакого дела, и упомянули-то мы о них только потому, что было это дело в Козельске, о котором ничего больше примечательного и не сказать.

Итак, в районном центре Козельске, в порядке единения со всей страной и еще более глубокого приобщения к русской культуре, было решено ко дню двухсотлетия Александра Сергеевича Пушкина поставить ему памятник. И выделили на это из городской казны посильное количество денег. Интересно заметить, что в контексте слово «посильный» всегда синонимично такому однокоренному ряду, как «малосильный», «бессильный», «несильный». То есть денег выделили не сильно. Долго кроили и отрезали из зарплаты учителей: мол, акция внутрикультурная, из того же кармана и возьмем. Учителя могли посильно, оно же бессильно, воспротестовать, но их об этом обрезании не известили, чтобы не огорчать лишний раз и без всякого конструктивного результата.

Из соображений той же экономии Пушкина решить делать не ростового, а бюст. Все поддержали друг друга: душа поэта отражается в его лице, а не ногах или других нижних частях тела. Особенно аргументированно говорил один член городского управления, бывший санитарный врач: изображать живот и спину человека, которому всадили свинцовую пулю в живот так, что она повредила позвоночник — это негуманно, жестоко, и лишний раз привлекать к этому внимание поклонников его таланта совершенно неуместно. Болезненная смертельная рана, ну зачем же нам скульптура с животом. Конечно, в Москве или Петербурге Пушкин изображен в полный рост, но у них там, в столицах, во-первых денег наворовано немерено, а во-вторых народ торопливый и равнодушный, не задумывается над тем, что видит.

Итак, проголосовали за бюст. Стали выбирать скульптора. Всем хотелось талантливого и недорогого. И районное управление культуры такого посоветовало. Человек был уже немолодой, когда-то кончил знаме-

нитое Мухинское училище в Ленинграде и всю жизнь зарабатывал на хлеб Лукичем. Лукичем скульпторы советской эпохи называли промеж собой Ильича; это был профессиональный жаргон. Еще Ильича называли «Кормилец» — не за то, что кого-то накормил, а за то, что кормились им: лепить его приходилось часто, скульптуры Лукича втыкали где только можно, и денег на них отпускали не скупясь, здесь главное было плотнее пристроиться к кормушке.

А после советской власти кормушка резко съезжилась, и когорты осиротелых лукичевцев остались без работы, без куса хлеба и глотка водки. За умеренную мзду они готовы были ваять хоть Чебурашку.

Скульптор получил аванс, заплатил за отключенное в квартире электричество, побрился электробритвой, выпил в праздничном свете и приступил.

Мудрить он не стал. Взял глиняную заготовку Ленина подходящего размера, бородку переставил на бакенбарды, лысину обрастил кудрями. Нос удлинил, губы приплюснул — как живой Пушкин. Сейчас вскинет руку и скажет: «Зд'гаствуй, милая под'гужка!»

И повез готового ко второму рождению поэта в свет, в областной центр, где на заводе металлоконструкций был литейный цех. Бюст было решено сделать чугунный: бронза — это крутовато, дорого, цветной металл, валюта; и кроме того справедливо рассудили, что бронзовый бюст обязательно сопрут. Город бедный, зарплат не платят, а тут — бронза! Не меньше доллара за килограмм. Обязательно сопрут, в первую же ночь. Тут медные провода от электричек каждый месяц срезают, одного мужика током убило, когда он в работающую трансформаторную будку за медным проводом полез, а вы — бюст! Ясное дело сопрут. Пусть лучше будет чугунный. Оно и несравненно дешевле. Все равно бронза на воздухе быстро зеленеет, чернеет, окисляется птичьими какашками, что ж к бюсту — лакея с опахалом приставлять? Нет: дружно решили чугунный.

Через неделю скульптор привез Пушкина на попутке. Комиссия прибыла в его полуподвальную мастерскую и встала полукругом с распорядительным и опас-

ным видом семейства Борджиа, принимающего у Микеланджело изображение главы рода.

Бюст понравился. В его прищуре смутно угадывалось что-то родное, от истоков. Постановили одобрить, и комиссия брызнула на этот пир духа тонкой струйкой золотого дождя: из расчета скульптору заплатить за квартиру, выпить и сделать каменный постамент.

Скульптор сумел не только выпить, но и закусить, потому что постамент он купил в кладбищенской мастерской, где мастер-каменотес давно перешел исключительно на тройной одеколон, поскольку из живого нищего еще никому не удавалось сделать богатого покойника, и денег на приличные памятники не было ни у тех, ни у других. Обычно варили кресты или пирамидки из железного уголка и красили нитроэмалью. Так что прекрасный гранитный параллелепипед удалось приобрести за сущий бесценник.

На радостях экономный скульптор загулял, строя горячечные планы опушкивания всей страны. В своем заказе он узрел симптомы нового скульптурного подъема родины, и в шалмане угощал знакомых, повторяя: «Лиха беда начало!»

Говорят, когда козельцы мочили послов, кто-то тихо предостерег: «Не буди лихо, пока оно тихо». Насчет начала скульптор оказался прав, ибо устами младенца глаголет истина, а пьяный человек — в сущности тот же младенец.

Беда и вправду оказалась сравнительно лиха: когда скульптор вышел из запоя по причине отсутствия наличия денег, что выяснилось непосредственно в винном отделе магазина «Ласточка» и имело следствиями отбирание сумки с водкой и бычками в томате, драку с продавщицей и получение по хребту милицейской дубинкой, он побегал в мастерскую пошукать по выпитым бутылкам на предмет сливания остатков, и выяснил, что ЖЭК выселил его из мастерской. Переговоры с конторой успехом не увенчались: не плачено было за три с половиной года, и пока деньгами не пахло — то терпели, а когда всем стало известно, что скульптор с шиком пропил сумасшедший гонорар за

памятник Пушкину для центральной площади, но за мастерскую так и не заплатил, чиновники воспылали ненавистью фискалов к нагой музе ваяния и зодчества, и утром в понедельник все атрибуты и аксессуары его искусства были выкинуты к чертовой матери на чахлый газон меж кустов и экскрементов.

Полезную мелочь скульптор перетащил в квартиру, а с бюстом обнялся в тени и задумался. Святотатство низовых властей уязвило. Но квартира была на верхнем этаже, пятый без лифта. Легкий гений поэта в чугунном варианте стал неподъемен. И кладбищенский постамент не легче.

Он пошел в шалман и пожаловался друзьям. Друзья тоже любили поэзию Пушкина, они налили скульптору и наперебой стали читать стихи. Один выпил, выдохнул и сказал: «Я помню чудное мгновенье». Второй пошутил: «Моя дядя самых честных правил», — и изобразил, как стреляет соседу в ухо из пистолета: правит контрольным выстрелом, значит. Третий, проиграв борьбу с судорогой собственного кадыка и метнув меню в угол, печально сказал: «Приветствую тебя, пустынный уголок». А еще один, упав со стула, процитировал из постановки Белорусского оперного театра: «Паду ли я, дручком пропэртый». Все засмеялись, со стола упал стакан и разбился рядом с головой декламатора, после чего тот продолжил: «Чи мимо прошпындярит вин». Короче, к Пушкину здесь относились как к родному.

Поэтому, допив, пошли к мастерской, захватив имевшуюся у одного тележку для сумок и чемоданов, и коллективом перевезли в центр площади сначала постамент, а потом и памятник.

Площадь была скромная. Небольшая. В середине ее был газон, но это был такой газон, который вроде бассейна без воды. То есть он не был заасфальтирован, но трава там тоже расти не хотела, хотя по части удобрений все было в порядке со стороны собак и прочих крупных животных, не полностью контролирующих физиологические акты своего кишечника...

В глубине души каждый пьяный — патриот и любитель Пушкина. Потому что сбежали за метлой, под-

мели песчаный газон, в центре утоптали ногами площадку, поставили поровнее гранитный параллелепипед и, кряхтя из всех мест, подняли и установили бюст на предназначенное ему место.

Полюбовались, поправили, заботливо протерли от пылинок, и пошли спрыснуть это дело. До дня рождения Александр Сергеевича оставалось еще тридцать дней, это тоже дата, а уже все в порядке.

Внимания на это событие никто не обратил. Кого удивишь в России памятником Пушкину. Да хоть бы и памятником кому бы то ни было. Да хоть бы и не памятником. Времена пошли интересные, сейчас вообще никого ничем не удивишь. Если б они на тот постамент поставили живого Жириновского, произносящего речь о раздаче водки каждому, кто примет участие в экзекуции над коммунистами — это бы еще имело хоть какой-то шанс собрать любопытных, а так... стоит Пушкин — ну и ладно. Кому ж и стоять, как не Пушкину.

Но в день юбилея было намечено провести торжественное открытие нового памятника. Естественно: а иначе на хрена его и ставить. Памятник с ночи накрыли новой простынкой, пришив к середине тесемку, чтоб можно было красиво сдернуть. Принесли несколько горшков с цветами. Поскольку разбежавшихся на каникулы школьников собрать невозможно, привели из ближнего детского сада нарядно одетых детишек. Из районной газеты пришли журналист и фотограф, с районного радио — девочка с магнитофоном. Десяток любопытных собрался. Скульптор чистую рубашку надел. Дама из управления культуры три гвоздики в руках держит — чтоб возложить после открытия. Все чин чинарем.

В половине двенадцатого приехал на черной «ауди» мэр города господин Корнейчук, бывший боксер и челнок, следом — луноход, менты расчистили посреди маленькой толпы место для мэра, и он объявил торжественный митинг, посвященный открытию памятника, посвященного двухсотлетию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, открытым. Все поаплодировали и утерли пот: уже солнце припекало.

Мэр сказал, что всем лучшим в себе мы все обязаны Пушкину, и теперь отдаем ему дань. Быстро глянул на крыши и добавил: «И никакому Дантесу не удастся убить наше солнце!» После чего скромно отошел к машине, и холуй налил ему кока-колы.

Дама из управления культуры, жестикулируя своими тремя гвоздиками, сказала о славных культурных традициях древнего русского города Козельска. А директор единственной в городе платной гимназии сказал, что без Пушкина нет ни русской культуры, ни культурного человека, которыми мы все должны быть, и, кстати, только наша гимназия готовит самых культурных в городе людей, которые не уступят в культуре москвичам и петербуржцам. В завершение детсадовцы исполнили литературную композицию, прочтя по строчке поочередно и радостно: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный!»

Нормальная скука, хотя и недолгая. Радиодевица пихала всем под нос свой микрофон, газетчик — диктофон, фотограф приседал, забегал и щелкал камерой. Все как у больших.

После чего культурдама включила магнитофон с увертюрой к «Пиковой даме», а мэр отошел от машины, приблизился к зачехленному памятнику, продолжительно улыбнулся в фотокамеру и дернул за веревочку.

Все бурно заплодировали. Простынка сползла с бюста на горшки с геранью. Аплодисменты несильно взорвались и как-то вразнобой осеклись. Вот ладони начали сближаться для хлопка — и вдруг перестали сближаться, а стали опускаться. А у некоторых — подниматься. Директор гимназии прижал их к животу, а культурдама выронила гвоздики и прижала ладони к щекам, смазывая защитный крем и макияж. Капитан городской милиции сложил руки на гениталиях скорее рефлексорным жестом футболиста перед штрафным, нежели как фюрер, и выгнул спину. И только детсадовцы еще поплескали в ладошки и нестройно закричали «ура», но с детской интуицией ощутили непотребство своих действий и виновато стихли.

Мэр позировал перед памятником, как именинник перед пирогом. Непонимающе вперился он в лица, чер-

ты которых застыли в асимметричном беспорядке. Образовался стоп-кадр с открытыми ртами, словно хорю обрезало фонограмму. Все мы не красавцы, но удивление как-то уж очень быстро стирает грань между богоподобным обликом человека и мороженой щукой. Мэр нырнул и оглянулся через плечо. И тогда все увидели и даже услышали, как у него сама собой опустилась молния на брюках.

На постаменте лоснился свежий чугунный бюст, и изображал тот бюст юного нордического красавца в локонах, на плечах которого вспушились разлапистые эполеты. Даже самый продвинутый фанат Пушкина не сумел бы усмотреть здесь и отдаленное сходство с поэтом. Но при этом не походил он и на Лермонтова, Некрасова, Пржевальского и Маркса.

В поисках разгадки заинтригованные участники действия вспомнили о своей грамотности, с усилием перевели глаза с бюста на постамент и бросились читать и перечитывать надпись, вразумительно оповещающую:

**Поручик
ЖОРЖ ДАНТЕС
1812—1895**

Если ошеломить означает наполовину победить, то победа была полной. Зрелище настолько отшибало мозги, что в поисках реальности и логики всем даже показалось на миг, будто так и должно быть, и по какой-то причине, которую все просто упустили из виду, они и собрались здесь на открытие памятника именно Дантесу.

Отдав дань кошмара нетривиальному памятнику, перенеслись дикими взорами и помраченными умами на автора творения. Тут уже руки на подбрюшье сложил мэр, а капитан милиции, напротив, переложил руки на кобуру. В этом средоточии внимания скульптор необыкновенно замедленно, впившись в Дантеса, поднял кулаки на уровень ушей подобно бандерильеру, мечущему стрелы в быка, рывками вобрал воздух и выпустил взмывшую фистулу:

— Убью-ю-ю-ю!!!

Это выглядело так, словно он не может перенести вида убийцы Пушкина и сжигаем праведной мстью. Реакция достойная патриота, но никак не объясняющая феномена живучести Дантеса и появления его здесь вместо убитого им поэта. Если бы это был не Дантес, а Ленин, все бы решили, что скульптор в белой горячке или же просто по привычке изваял того, кого ему заказывали всю жизнь. Но Дантеса, черт побери, никто же и никогда не лепил!..

За спиной скульптора и на приличествующем отдалении стояла группа его приятелей-ханыг, и они также выглядели скандализированными трансформацией памятника, который собственноручно устанавливали. Учитывая торжественность повода и время дня, они уже условно находились в пристойном градусе. Поэтому никакого злого или циничного умысла не было у того, кто первым обрел дар речи и с благородным возмущением пробубнил, имея в виду интонацией древнего анекдота осудить происходящее:

— Идут, понимаешь, по площади два снайпера... мля! и один говорит: — Слушай, не пойму я — почему памятник Пушкину? Ведь Дантес попал! Ну?!

И тут напряжение лопнуло истерическим гоготом, произвольным и неудержимым. Визгливо хохотала культурдама со смазанным лицом, трубно ржал капитан, глюкал и хрюкал директор гимназии и раскатисто грохотал мэр, все приседали, тыкали пальцами, держались за животы, топали ногами, хлюпали, икали, стонали и падали. Детишки, разделяя общее настроение, залиvisto подсмеивались и прыгали на месте. Радио-журналистка в джинсах сжимала коленки и отползала в задние ряды — с ней произошла маленькая авария. Ханыги в паузы хохота вставляли от полноты чувств народные междометия, звучавшие так любовно и уместно, что никого не шокировали.

И среди этой вакханалии судорог, колик и спазм бесчинствующих любителей отечественной словесности один только скульптор хранил каменную скорбь. Он раскачивался и утирал пот. И губы его беззвучно шептали традиционные слова, где самое приличное — «суки».

Скандал вышел страшный. Первым опомнился фотограф: бешено защелкал камерой и удрал раньше, чем успели схватить: продавать уникальные снимки куда можно. Кара настигла папараццо вдогонку: мэр тут же проорал фотографа из газеты уволить.

Вторым привел себя в чувство этим криком сам мэр. Он продемонстрировал скульптору профессионально сложенный кулак с набитыми костяшками, пнул цветочный горшок в колено директору гимназии, кивнул капитану на памятник и хлопнул дверцей машины, отбыл прочь.

Капитан отрывисто приказал грузить бюст в луноход. Туда же втолкнули скульптора и увезли обоих государственных преступников в ментовку. Зрители сопровождали это комментариями в том духе, что наконец-то Дантеса постигнет справедливое возмездие. Это тебе не либеральный царизм, жаль что только бюст, почки отбить не удастся.

Вторым рейсом в ментовку доставили и постамент, привели вещдок в комплектное состояние. Раймилиция бросила изображать работу и сбежалась смотреть. Им в лицах пересказали событие, все долго и счастливо хохотали, а отсмеявшись взялись за скульптора. Треснули пару раз для большей вразумительности и начали снимать показания.

Скульптор побои принял с пониманием, почти поблагодарил за сдержанность, и изъявил полную готовность чистосердечно и бескорыстно помочь следствию всем, чем может.

— Вам известно, как этот бюст оказался на месте, предназначенном для Пушкина?

— Нет! Клянусь — нет! Неизвестно!

— Так. А где же Пушкин?

— Не знаю! Я сам его устанавливал! Не знаю!

— Что же он — пешком ушел? Так у него ног нет, это бюст. Или его опять в ссылку отправили? Или не понравилось ему у нас? — пошутил капитан, который вел допрос лично: ему было любопытно.

— Клянусь — ставил! Не знаю!

— Хорошо. Так и запишем. А вы вообще кого делали?

— Я делал. Я делал Пушкина. Есть свидетели. Комиссия принимала.

— Это мы проверим. А кто же сделал Дантеса? Это — Дантес? — спросил для верности капитан, не знакомый, как и большинство людей, с внешним обликом знаменитого убийцы-кавалергарда.

— Возможно, — неохотно ответил скульптор.

— Что значит — возможно? А кто ж это — маршал Жуков? Надпись соответствует? — соответствует! Ты давай не юли! Так и запишем: «Бюст, идентифицированный согласно надписи... как поручик... Жорж Дантес...» Так... Вам известно, кто его сделал?

— Известно...

— Ага. Уже хорошо. Назовите фамилию.

— Да чего там...

— Точнее.

— Я...

— Что — «я»?

— Изваял...

— Кого изваял?

— Дантеса.

— Кто?

— Я.

— Вы?!

— Я...

— Дантеса!?

— Но и Пушкина тоже!

— Зачем???!!!!

— Пушкина? К юбилею.

— Дантеса!!!

— Ну, так вышло...

— Как вышло?! Тоже к юбилею?!

— Ну... получается да.

— Зачем???!!!!

— Это была моя ошибка... — поник скульптор повинно.

— Что значит «ошибка»?! Как можно так ошибиться, чтобы к юбилею Пушкина сделать памятник Дантесу?! Вы что, не любите Пушкина?!

— Я люблю Пушкина! — горячо опроверг скульптор.

— Вы, может, не русский?..

— Русский, — после крошечной паузы с достоинством ответил скульптор.

— Вы вообще Пушкина от Дантеса отличить можете?!

— Вообще — да.

— Это вот кто?!

— Видимо, Дантес.

— Что значит «видимо»? А где Пушкин?!

— Наверно, у цыган.

— Каких цыган?..

— Кочующих. — Скульптор устал и озлобился.

— Где?

— По Бессарабии. Шумною толпой.

— Не понял. Что делает Пушкин у цыган?

— Шампанское пьет.

Ему было необходимо опохмелиться.

— Я за ним следить не приставлен, — сказал он. — Не жандарм, слава Богу. Вы милиция — вот вы и ищите, где Пушкин.

Капитан применил легкую степень физического воздействия — привстал и через стол дал ему в ухо.

— Говори толком, — рявкнул он, — ты все-таки кого больше лепил — Пушкина или Дантеса?

— Больше я лепил Ленина.

— А как же вышел Дантес? Семейное сходство?

Скульптор пожал плечами.

— М-да. Талант. Да я б тебе даже Троцкого не доверил лепить!

— Тебя об этом Троцкий сам просил? — поинтересовался скульптор и для симметрии получил в правое ухо. — И хватит руки распускать... Майк Тайсон! Ты еще ухо мне откуси! Каннибал!

— Кто каннибал? — зловеще спросил капитан.

— А кто меня хотел заставить Троцкого лепить?

— При чем тут Троцкий?..

— А при чем тут каннибал?

Капитан помолчал и спросил пронизательно и мирно:

— Тебе что, опохмелиться надо?

— Ну. А то нет.

— Так бы и сказал. — Он вышел и вернулся со стаканом, где было граммов сто пятьдесят.

— А закусить?

— Занюхаешь, — хмыкнул капитан и подержал у него под носом кулак. — И давай сотрудничать со следствием, хватит коту бейцы крутить. На, закуривай. Итак. К юбилею Пушкина ты больше лепил Ленина, но на этот раз получился Дантес. Кто здесь дурак — ты или я?

— Вам виднее.

— Под дурдом косишь? Излагай по порядку, не своди органы с ума.

По порядку оказалось следующее.

Опохмелившийся скульптор частично восстановил свои умственные способности, травмированные происшедшим, и сделал заявление: прежде всего он хочет представить оправдательный документ. Заинтригованный капитан отправил на квартиру скульптора сержанта с ключами и инструкциями. Был доставлен красивый бланк с французским флагом, французским же, вероятно, текстом и печатью. Внизу красовалась размашистая подпись.

— Это что?

— Это благодарность Министерства культуры Франции.

— Кому?

— Мне.

— За что?

— За Дантеса.

— Что-о?.. Читай!

— Я не знаю французского.

Капитан шумно вышел и подержал голову под холодным краном. Потом он выпил стопарь, понюхал нашатырь из аптечки и вернулся почти в здравом рассудке.

Французский знали два человека в городе: референт мэра и учительница французского из платной гимназии. Учительницу привезли. Она стала читать, вытаращила глаза, ахнула и засмеялась.

— Ну?

— Здесь есть ошибки.

— Ничего себе министерство культуры!
— Это не министерство культуры.
— А что же это?! — дуэтом спели жертва и палач.
— Читать как есть?
— Переводи!
— На бланке написано: «Министерство самых глупых художников за границами Франции».

— Блядь... — сказал скульптор. — Простите, пожалуйста, это не вам.

— Дальше переводить? «Мы искренне благодарим этого дурака за его работу. Для небольшие деньги он может делать памятник даже про козел. Но эта работа помогает для торжество справедливость. Просьба для власть не наказывать его строго. Подпись: помощник старший ассенизатор Жорж Клемансо».

— Так, — сказал капитан. — Да. Это документик. Ничего не скажешь. По существу. Впечатляет.

— Ну, блядь, — сказал скульптор. — Простите, пожалуйста, это не вам.

— Так. Гм. А на печати что?

— А на печати: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

— Соединились на нашу голову. И что вы можете про это сказать?

— Я? Про это? Что Клемансо давно умер.

— Ценная информация. Ну ничего... Мы этих... помощников старших ассенизаторов... еще вые... найдем!!

Учительницу прогнали пешком. Скульптора трижды треснули по башке телефонной книгой и вытянули наконец раз дубинкой по почкам. И капитан лишний раз утвердился во мнении, что подобные процедуры надо проводить сразу, без ложного гуманизма. Потому что скульптор резко перестал острить, и из него тут же вылетела нужная информация. А именно:

Через несколько дней после того, как бюст Пушкина был преждевременно поставлен на полагающееся ему место, к скульптору в гости пришла юная пара приличного вида. Лет по двадцать, а точнее кто их разберет. Они спросили, может ли он принять заказ на срочное изготовление чугунного бюста, и даже достали бумажку

с размерами. Скульптор объяснил, что он сейчас без мастерской, так что трудно, но вообще можно воспользоваться мастерской знакомого. Парочка намек поняла, и парень сказал, что готов сразу дать пятьдесят долларов аванса. Сошлись на ста, учитывая цену глины, литья, квалификацию скульптора и общую трудность жизни. После чего девушка вынула из сумочки два сложенных листка — один старой и желтой бумаги, а другой — свежую компьютерную распечатку. На обоих были гравюрные портреты в стиле девятнадцатого века, изображающие юного красавца в мундире с эполетами. На старом листке, вырезанном явно из книги, портрет был маленький и в три четверти, а на новом — крупно, анфас, и не очень четко. Подписей под ними не было.

Парень сказал, что это его дальний предок, дворянин и русский офицер. И теперь он, восстановив свою родословную, хочет поставить ему памятник. Деньги есть, но лишний блеск ни к чему, нужен хороший вкус.

Польщенный и обрадованный заказом скульптор ничего странного здесь не усмотрел. На парне были дорогие часы, дорогие кроссовки, цепь на шее, но на бандюка он похож не был, а скорее юный бизнесмен или сын нового русского. Сейчас модно искать аристократический корень своего генеалогического древа. Тем более, он сказал, что предок был французского происхождения.

Скульптор взял столярник, отметил эту удачу и новый рост своей славы, и приступил к исполнению. В мастерской приятеля, коли уж речь зашла, тоже пропадало несколько старых заготовок Ленина. Он выбрал нужный размер и одного довел до кондиции заданного портрета.

Принимать бюст заказчики пришли уже впятером, но он не придал этому значения. Глиняный оригинал понравился и был одобрен. Договорились, что через три дня художник сгрузит уже чугунный здесь же, у мастерской, а те будут ждать и заберут сами; тогда же и полный расчет.

Так и произошло. В тот день шел дождь, и компания ждала его у подъезда, не вылезая из вишневой «Нивы». Бюст перегрузили из попутного грузовика, подряжен-

ного художником на заводе в облцентре, в их «Ниву», заметно просевшую на рессорах. Скульптору честно отдали второй столик. А кроме того, парень торжественно сказал, что у него есть для скульптора награда. Они зашли в мастерскую, выпили за память предка, и под аплодисменты друзей заказчик вручил скульптору этот красочный бланк. Он сказал, что его предок был во французской истории не последним человеком, а Франция очень щепетильна по части своего исторического наследия, и когда он сообщил своим недавно найденным, очень далеким, но родственникам в Париже о том, что ставит их общему предку памятник, те страшно прониклись, написали в газете и получили для автора памятника благодарность Министерства культуры Франции — там это вполне принято: пустяк, но все-таки дорогое внимание.

А где похоронен-то предок? Да не так далеко. А фамилия-то как? Парень сказал: не то Нерегек, не то Мерегек. А твоя-то как? А вот не суйся, отец, не в свои дела, сказала на это компания. С тем и укатили. И больше их скульптор не видел.

А увидев сегодня этот бюст, он был потрясен до помрачения рассудка. Тем более такая надпись! Клянется — не подозревал!

Номера вишневой «Нивы» он, разумеется, не запомнил. Но внешность юной парочки описал с профессиональной детальностью. Парень был ростом около ста восьмидесяти, атлетического сложения, скуластый, светлый, стриженный под ежик, с круглым подбородком и прямым сжатым ртом, глаза серые, уши маленькие. Девушка же невысокая, фигура очень хорошая, прямо идеальная, классическая фигура и идиотски сожженные «кислотные» волосы — не то чтобы вовсе панк, но с отчетливым оранжево-фиолетовым переходом, а лицо продолговато-стандартное, чуть припухлое; носик вздернут, верхняя губка короткая, общее выражение чувственное и даже готовное, очень сексапильная девушка.

По этим характеристикам наблюдательного скульптора составили фотороботы и раздали нарядам. Так что

когда позвонили из канцелярии мэра и поинтересовались успехами, капитан отрапортовал, что преступники установлены, осталось только идентифицировать. Это как?.. Это так, что мы уже знаем, какие они, осталось только узнать кто. Идиоты... ройте быстрее! Так точно.

Пока идиоты рыли, капитан пролистал свежую прессу, полную юбилейных статей, и отчеркнул абзацы про Дантеса.

— Как, говоришь, они тебе назвали фамилию якобы предка?

— Ну, типа Нерекек... — услужливо наморщился скульптор. — Или Керенег... что-то такое от нарцисса с керогазом.

Капитан обвел ручкой в газете:

— А может, Нереккег?

— Может... очень похоже.

— Что ж ты такой тупой. Кроссвордов не решаешь? Барона Геккерена не узнал... лох! А еще Ленина лепил, а?..

Скульптор схватил газету и мучительно замычал.

В назидание эстетам надо отметить, что пока искусство мычало, милиция работала. И что вы думаете? — нашла!

Их взяли в девять вечера у дискотеки «Артемон». Повязали как миленьких и привезли в ментовну.

Сначала они фордыбачили. Пришлось немного вразумить. Показали Дантеса. Показали скульптора. Провели очную ставку: они! Показали дубинку.

Посмотрев на дубинку, парень ухмыльнулся и сказал:

— Ну, как хотите. Пишите: фамилия, имя, отчество.

И, сделав таким образом шаг навстречу следствию, немедленно оказался сыном мэра.

Следствие попятилось. Милиция не любит попадать в яму, которую по долгу службы роет другим. На Дантеса, в конце концов, глубоко плевать, да и Пушкин, хоть и национальный гений, все-таки не отец родной, а мэр — это мэр. Говорят: Пушкин — это наше все. Это преувеличение. Не совсем все. Наше все — это местные власти. Платит тебе не Пушкин, и неприятностей нужно ждать не от него.

Капитан позвонил мэру с почитительностью массажиста. Мол, глубоко деликатный вопрос, тут ваша семья может быть затронута, не почтите ли присутствием.

Мэр прибыл на разборку, вник в вопрос и в ярости явил такую крутизну чувств и посулов, что случись это в тринадцатом веке — быть бы татаро-монгольским полчищам заваленными и разогнанными. Юпитер, мечущий грома и молнии, рядом с ним показался бы голубем мира, пьющим бром.

Когда барабанные перепонки отказались выполнять свои функциональные обязанности, а мозги подали заявление о переходе на другую работу, мэр сказал, что займется делом лично.

И в результате его личных занятий выяснилась история, вполне характеризующая натуру козельцов по своему не менее ярко, чем его древняя героическая оборона и убийство послов.

Милые детишки учились в той самой аристократической платной гуманитарной гимназии, директор которой столь прочувственно говорил о культуре и ее наглядном наследии. Там собрались лучшие учителя города, и им платили зарплату, достаточную для того, чтобы молодая и незамужняя учительница литературы, окончившая Петербургский университет и теперь подыхающая в этой глуши от скуки, малокультурья населения, а главное — от отсутствия регулярной личной жизни, возымела, явно в порядке сублимации, высокопедагогическую глупость устроить с десятиклассниками диспут на тему, должен ли был Пушкин рисковать своей жизнью, драгоценной и бесценной для литературы и потомков, дабы следовать идиотскому светскому предрассудку и идти на дуэль с каким-то недоноском. Она, конечно, гнула к тому, что стреляться было недопустимо, что Пушкин принадлежал не себе, а истории и стране, и должен был стать выше этой мерзкой интриги.

Вполне естественно, что школьники высказывали и другие мнения. Что Дантеса можно было просто заказать. Что можно было обратиться в частное сыскное бюро, и его скомпрометировали бы так, что изгнали

не только из славных рядов кавалергардов, но вообще линчевали бы. Что Пушкину следовало как минимум брать уроки стрельбы и стрелять только из знакомого пистолета.

И тут учительница сделала промашечку. Она раскрыла какую-то книгу с портретом Дантеса и пустила по рядам. И когда школьники увидели мужественного юного красавца, и сопоставили с репутацией Натальи Николаевны как блестящей красавицы, и сравнили с портретом Пушкина на стене кабинета литературы, где и дискутировали, они как-то задумались. Ибо Пушкин на портрете красавцем не выглядел, и таковым никогда не числился.

Девочки сказали, что ревность в мужчине отвратительна, это чувство собственника, и даже странно, что Пушкин мог быть таков.

Мальчики же заявили, что, несмотря на внешность, если серьезный человек берет телку замуж, то ее дело — лизать его без остановки, и следовало просто спихнуть ее на лестнице так, чтобы она свернула себе шею, и дело с концом. Нет, а Дантеса, конечно, заказать. Пушкин ее взял из глуши, поднял, содержал в роскоши, так она еще хвостом вертела.

Тут учительница возразила, что Пушкин был вечно в долгах, жизнь дорогая, жена мотовка, денег всегда нехватка, дело не в уровне жизни, а в вещах более глубоких.

Класс серьезно задумался. Если Пушкин был стар, лысоват и беден, то на что он рассчитывал, женясь на красавице? А Дантес — крутой: лейб-гвардеец, стрелок, здоровый, связи в дипломатических кругах. Так он ее, простите, Светлана Олеговна, трахал или нет? Уж чтобы для ясности.

Учительница пошла пятнами и закричала, что это ужасный цинизм, ничего не было, просто было компрометирующее поведение. Это как? Ну... глазки строил, визиты делал.

И за это — вызывать на дуэль? Хм, а что же тогда Дантесу оставалось делать?.. В конце концов, он же не виноват, что баба понравилась. Что же, вообще подойти

нельзя? Его бы за отказ от дуэли тоже, наверно, все презирали. Нет, Пушкин, похоже, был не совсем прав. Явно погорячился. Что их, развести не могли?

Девочки начинают задавать вопросы, а как был сам Пушкин насчет верности жене? Нет, все мужчины, конечно, одинаковы, но все-таки Пушкин — может быть, он-то был верным мужем? Учительница начинает сбиваться и путаться, что не в этом дело, дело тут не в верности, а в чести. Бросьте крутить, Светлана Олеговна, ходок был Пушкин, да?

Девочки, как у вас язык поворачивается! Вы понимаете, что речь о великом гении русской поэзии! Ясно, говорят девочки, ему можно, ей нельзя: это мы проходили. А ей, значит, и не пофлиртовать с красивым мужчиной. Кстати, у нее дети были? Сколько?! Четверо, а всего шестеро?! Ничего себе!.. Мать-героиня... бедная. А это правда, что она еще не всех доносила? А сколько лет было? Двадцать пять?! Это она уже столько детей родила, и вот, под конец молодости... так что ж, если ей захотелось от этой жизни хоть трахнуться на стороне, так муж уже с волыной по стриту забегал? «Вот скотина...» — отчетливо произнес кто-то, и учительнице почти стало дурно. Самое ужасное, что ей тоже было двадцать пять лет, и она представила себя в положении Натальи Николаевны, и представила Дантеса, и осудила ее еще раз в душе страшно, но чувства совершенно же разделила.

А мальчики интересуются дальнейшей судьбой Дантеса, и выясняют, что женился он вообще на сестре Пушкинской жены, и уволили его из рядов вооруженных сил без пенсии, и вынужден он был свалить за бугор и, можно сказать, провел жизнь почти в бегах и бедности. И находят это несправедливым, потому что разборка была честной, а предьяву Пушкин сделал не по понятиям.

И все начинают жалеть Дантеса, потому что это что же — все против него, от грязи не отмыться, а в чем он, собственно, виноват?

Все это, заметьте, те самые дети тех самых полукриминальных воротил районного масштаба, хапнув-

ших кусок в период дикого накопления начального капитала, которые дети, по уверениям и прогнозам либеральных культуртрегеров, должны стать образованными, моральными, меценатами, чистыми душой от грязных денег отцов. Третьяковы, Щукины, Саввы Морозовы. Мол, всегда так бывает. Трудно сказать, как бывает всегда, но что деньги родителей придают детям самостоятельности отношения даже к устоявшимся фактам истории — это точно.

Потому что класс стал резко хуже относиться к Пушкину. Юношеский негативизм, что вы хотите.

Возможно, главная причина тут в том, что в душе они стихов Пушкина не любили. Может, не доросли. Школьники вообще не любят того, что изучают по обязательной программе. Предпочитали они из поэтов Гребенщикова и Иртеньева, а из прозаиков — Бушкова и Дашкову. И теперь они не только друг другу стали признаваться, что от «Капитанской дочки» их тошнит и читать скучно, а «Дубровского» так просто невозможно, язык сломаешь и вообще никак, — они в этом учительнице признаваться стали.

Там был в классе очкастый один сомнительной внешности, так этот несчастной учительнице просто печенку выел.

— С чего бы это, — спрашивает, — русалка на ветвях сидит? И как она со своим рыбым хвостом на дерево забралась, и с какой целью?

Над этим моментом учительница никогда не задумывалась. Ну, мифологический образ. А класс ржет обидно и нагло. Ну негде им прочесть, что древнерусская русалка — полуптица, а не полурыба, это как-то обычно мимо комментариев к тексту проскакивает.

А телевизор каждый день долбит, сколько дней осталось до дня рождения Александр Сергеича, и как весь народ его читает — от дошколят и бомжей до банкиров и политиков. И если раньше класс при этих кадрах слегка терзался своей низкой культурой и непониманием классической поэзии, то теперь приходит в дикое раздражение и считает это все фальшью и враньем. Поспорили с учительницей: стали подряд останавливать

перед гимназией на улице людей и предлагать процитировать четыре строчки Пушкина. Примерно треть говорила: «Мой дядя самых честных правил». Из этой трети еще половина помнила чудное мгновенье. Прочие стеснительно пыхтели или же говорили слова, отсылающие реже к Пушкину, а чаще гораздо дальше.

Из чего класс сделал вывод, что любовь народная — такое же вранье, как политика, налоги и здоровье алкоголика-президента. И прав был Пушкин — нечем тут дорожить.

Эта война дошла до директора, и он натянул учительницу по самые помидоры. Простите, ради Бога, грубую непристойность вполне устойчивой идиомы, не включенной в литературную норму, но исправно входящую в активный лексическо-грамматический запас большинства населения. Это школьники так и выразились, когда любимая учительница вышла из директорского кабинета пунцовая и вела урок с истерическими нотами: «Натянул дир наш Светлану Олеговну по самые помидоры».

Учительница в ультимативной форме заявила, что Пушкин — гений, а они — кретины и сволочи!.. На дворе стоял конец марта, и у нее был сексуальный невроз. Она была сочная брюнетка с огненными глазами, а мужика у нее не было, поэтому были головокружения, ночная потливость и эротические сновидения. Вот она и дергалась. И если она думала, что семнадцатилетние школьники все это не понимают — она это зря думала, потому что школьники все видят, и даже в одиннадцать лет такие вещи понимают прекрасно и называют своими именами. Но уж эти имена мы здесь приводить не будем, это чересчур. Хотя эти слова тоже все знают.

Что все знают — плевать, вот что Пушкин их знал — это открытие класс поразило. Они подозревали это, но подозревать — одно, а убедиться — другое. Это опять гнусный очкарик устроил.

Он полез в Интернет и нарыл, падла недозрелая, в самой полной в мире библиотеке американского конгресса дополнительный том к самому полному собра-

нию сочинений Пушкина, вышедший в Берлине в одна тысяча девятьсот двадцать девятом году. И в известном письме, написанном из Михайловского в тот же самый день, когда и стихи «Я помню чудное мгновение», со злобным и радостным изумлением прочел то, что знатоки и так всегда знали, ну, это самое: «Вчера ко мне приезжала Анна Керн, и с Божьей помощью я еел.»

Очкарик, переживающий трудности пубертатного периода, был ошеломлен, потрясен и так далее. Когда потрясение прошло, он отпринтовал текст и назавтра приволок его в свою платную гуманитарную гимназию.

Но сам прочесть не решился. И дал сыну мэра, которому, естественно, все было по фигу. И тот на уроке литературы встал и спрашивает:

— Светлана Олеговна, вот тут у нас есть письмо Пушкина. Можно прочесть?

Учительница все-таки кончала петербургский филфак и сразу почувствовала, чем тут дело пахнет и в каком духе это письмо. Именно это письмо она тоже знала, только в пересказе. Поэтому читать категорически запретила, и скверный недоросль огласил текст без разрешения, под ее негодующие и протестующие вопли.

— Ну? — спросил он. — И вот это, значит, как вы на прошлом уроке читали нам у Белинского, тот самый русский человек в своем развитии, которого достигнет только через двести лет? Так как раз двести лет прошло. Достиг! И вот мы здесь! Мы вам нравимся?

От этой наглости и от своего бессилия учительница зарыдала. Класс, надо отдать ему должное, стал ее утешать и просить не принимать близко к сердцу пошлость всяких писем и связей, даже у великих поэтов. Но рыдала она долго.

Они ее подломили этим письмом. Она очень гордилась своей миссией: приобщать детей в глуши к великим вершинам бессмертной русской литературы. А ее — вот так... Она чувствовала себя лидером и проводником культурного прогресса, и вот ее лидерство немного лопнуло. И впору было увольняться, но боль-

ше нигде в городе нельзя было учителю литературы рассчитывать на зарплату.

И тогда она заключила с классом диковатый, хотя и внешне прекрасный договор: они будут хорошо готовиться к урокам, а в конце каждого урока честно отводим шесть минут для Пушкина: три им, и три ей. И через короткое время она им покажет, какой великий поэт был Пушкин, какой блестящий человек, и они все поймут, осознают и повзрослеют.

Так началась эта окопная схватка на Олимпе, эта битва земного и небесного начал за душу поэта.

На первый же урок литературы сын мэра пришел демонстративно поддатый. Не сильно, но с запахом. И в ответ на замечание заявил:

— Да, Светлана Олеговна, пил. Причем полночи. С двумя лейтенантами в офицерском общежитии — знаете, на Благовещенской? А теперь скажите: почему это плохо, если лицеист Пушкин пил по ночам с офицерами тоже, и это было хорошо?

— Это были гусары!.. боевые офицеры, они вернулись после победы над Наполеоном из Франции, принесли высокие идеи Французской революции! Они читали стихи!.. Там был Чаадаев, трагический философ!..

Но получила крепкую домашнюю заготовку:

— А это мотострелки, тоже боевые офицеры, они вернулись из Чечни. И мы пели Высоцкого! Что ж, если они не победили, а Чаадаев давно умер — то пить нехорошо? А с гусарами ром трескать — это, значит, хорошо?

— Они пили шампанское!

— У них зарплаты были другие. А лейтенантам полгода не платят, водку я покупал. Объясните: почему когда пьет Пушкин — это хорошо, а когда пью я — это плохо?

— Потому что пьяниц много, а Пушкин один, балда вы, простите меня, пожалуйста!

— Да пусть он Пушкин, я не спорю, но чего хорошего, что он пил?! Это что — пример для подрастающего поколения? Из двух одно: или пить плохо всем, или хорошо всем! Нечего идеализировать!

Потом они вцепились в то, что Пушкин был лодырь и имел массу двоек.

— Когда у нас кто чего не выучил, так сплошные выговора, а как Пушкин лодырь — так это милая шалость. Вы не находите, что это несправедливо, Светлана Олеговна? Это необъективное, предвзятое отношение! Что он ни сделай — все хорошо! Пьет — мило, лодырничает — мило. И это, значит, образец для всех нас?

Ночью бедная учительница имела виденье, неподвластное уму. Она сидела на ветви, нагая, и это было естественно и легко, иногда она даже парила над этой ветвью. Грудь у нее была удивительно упругая и красивая, и она радостно открыла, что не замечала этого раньше. Огорчало только, что вместо ног теперь рыбий хвост, но хвост выглядел совершенно как ее ноги, и, убедившись в этом, она перестала беспокоиться. Розовато-сиреневое пространство было ее свадьбой, и это пространство представляло собой учительский стол, на котором стояла бутылка водки. А по двум сторонам стола сидели Пушкин и Дантес и играли на нее (нее ли?) в карты. Пушкин был в черном сюртуке, а Дантес в белом мундире, и она отметила, что сознательно сравнивает их с добрым чертом и злым ангелом, и постеснялась литературности этого сравнения. Карты воздушно трещали, как лопасти вентилятора, но делалось понятно, что это поет соловей. Они уже выиграли ее оба, но она оттягивала конец игры: ее ужасала преступность блаженства, которое за этим следовало. Но никаких дикостей шведской тройки, к счастью и облегчению, не оказалось: ветка, на которой она давно сидела, на самом деле была огромным фаллосом, потому и сиделось на ней так легко и приятно, наслаждение стало нестерпимым, и это и были Пушкин и Дантес одновременно, и перед тем, как закричать, она успела подумать, что теперь ее обязательно выгонят из школы.

Она проснулась в горячем поту, со слезами на глазах, рывком села в постели. Несколько раз порывисто вздохнула, потрясла головой и пошла под холодный душ. «Бром пить надо», — сказала она зеркалу, засме-

ялась, постелила свежую простыню и плюхнулась до-сыпать в чудесном настроении.

В классах, где учатся дети мэров, редко случаются проблемы с деньгами на экскурсии, и на весенние каникулы учительница вывезла группу хулителей поэта в Петербург. Кстати о хулителях. Сам факт их наличия по идее свидетельствует, что Пушкин все-таки кое-чего стоил, если два века спустя он мог вызвать такие страсти у юных людей, которым и своих проблем хватает выше крыши. Это она сказала им в самолете, и они вынуждены были с ней согласиться. Хотя есть и другое объяснение, характера более общего: скажи молодому «стрижено» — и он ответит «брито», то есть плевать с чем не соглашаться, главное — отрицать ценности старшего поколения. Вечные проблемы отцов и детей. Впрочем, о юношеском негативизме мы уже упоминали.

Главной целью учительницы было отвести их в музей-квартиру Пушкина на Мойке, где один ее однокашник работал младшим научным сотрудником. И вот с этим посещением она допустила очередную ошибку. Она-то полагала, что школьники проникнутся духом пушкинской поэзии, прикоснувшись к святыне, — но, как говорил папа-Мюллер, «мы не сможем понять логику непрофессионалов». А ее милые школьнички не были профессиональными поклонниками русской поэзии, они были совершенно обычными ребятами с гипертрофированным самомнением, что типично для детей новых русских, да и вообще всех состоятельных людей.

Они оценили класс квартиры — «ничего себе хоромы, да еще в ста метрах от царского дворца, райончик приличный», — но, довольно равнодушно внемля экскурсоводу, составили коварный план. С особенным цинизмом, как выражаются протоколы и Уголовный кодекс, они изобразили необыкновенный интерес к рассказу, льстиво поели глазами однокашника-мэнээса, одетого по зарплате во все самое непрезентабельное, и мальчики пригласили его с дипломатической вежливостью и достоинством где-нибудь после работы посидеть и рассказать им еще о Пушкине. У учительницы же на

вечер была назначена встреча с петербургскими подругами, отказаться от которой было выше ее измученных сил. Итак, вечером в номере гостиницы они аккуратно-нейшим образом подпоили двадцатипятилетнего мэнэса и стали провоцировать на выдачу служебных тайн: сколько Пушкин зарабатывал, сколько тратил и на что, и вообще как у великого поэта было по части фанаток и спонсоров.

Подсчет денег и трат великих гениев прошлого есть одно из слабых мест нищих мэнээсов. И любители подноготной узнали от слабого на банку гуманитарара, в опьянении особенно гордящегося своими познаниями, ибо больше ему было гордиться нечем, что проигрывал Александр Сергеевич бешеные тыщи и десятки тысяч в картишки, что жил не по средствам, ведя при своем приличном достатке бурную жизнь столичного аристократа, что приданое жены пристроил с редким умением и скоростью, и что после смерти долгов за ним осталось больше ста тысяч — при том, что двадцать тысяч в год были прожиточным уровнем самой что ни на есть золотой молодежи и сливок аристократии. Долги заплатил царь из уважения к памяти и таланту поэта. А сам поэт при жизни закладывал и продавал драгоценности и шали жены, устраивая ей сцены, если она смела оплакивать свою жизнь. Если бы эту лекцию услышала дирекция музея, она вышибла бы мэнэса вон немедленно.

На школьников это произвело сильное впечатление. Это и сейчас влезть на сто штук грин — круто, а тогда на столько же золотых рублей, при том что чиновник мог получать в месяц сорок рублей, на них снимать квартиру и содержать служанку, — да, это не слабо. Черт возьми, что же за песни о нищете им пела милая Светлана Олеговна? Да он сорил деньгами, как лох, кто ж ему виноват? А царь, черт возьми, достойный же человек, оказывается. Мог ведь этих долгов на себя и не брать, такие бабки и царю не лишние.

И как умелые провокаторы, они стали поддевать исправно хлопающего рюмки мэнэса, что не может этого быть, Пушкин был верный муж, как же он мог продавать брюлики жены, это мэнээс свистит.

— Верный муж! — сардонически захохотал гнилой филолог, и в ответ стал рассказывать историю, давно известную пушкиноведам (одним — как реальную, другим — как гнусную), как Пушкина застукали под кроватью у Долли Финкельмонд, и как там насчет свояченицы, и вообще ходок и распутник (он употребил другие слова) был известный, немалое стадо почтенных мужей оснастил рогами, это все знали, и репутацией своей весьма гордился.

Вообще если всех сотрудников музеев Пушкина допросить на детекторе лжи, народ узнал бы много нового об истинном отношении к поэту со стороны тех, кто кормится на его памяти. Для психологов только ничего нового тут не будет: с кого кормлюсь, от того подсознательно и хочу освободиться, и к тому ищу всяческие аргументы. Дорожить или нет любовью этого народа — личное дело каждого, но цену ей знать надо.

В сознании также подвыпивших школьников вырисовался абсолютно отрицательный образ прелюбодея и чуть ли не кидалы, не отдающего долгов. Это глупости, что современная молодежь испорчена: так всегда говорили. В душе современная молодежь так же романтична и взыскует идеалов, как и во все времена. И наши школьники почувствовали себя оскорбленными в лучших чувствах. Раньше они все-таки не очень сами верили в свой эпатаж — ну так, себя показать, ум явить, самоутвердиться. Но когда специалист по Пушкину, работающий в его квартире-музее в Санкт-Петербурге, такое говорит — господа, да где же в жизни святое?! И вот этой фигуре им приказывают поклоняться и объявляют идеалом человека?

Одна девочка даже заплакала и сказала сквозь слезы:

— Какое гнусное лицемерие!..

А мальчики выражались уже как те лейтенанты в казарме.

Что же касается Дантеса, продолжал разливаться перед благодарными слушателями мэнээс, то Пушкин распускал слухи и делал намеки насчет того, что Дантес — пед и любовник голландского посла, усыновив-

шего его, потому что был бездетен, а Дантес был сирота. Когда Пушкин вызвал его, секунданты Дантеса всячески предлагали мягкие условия дуэли, но Пушкин настаивал стреляться с полной серьезностью, и добился своего. Кстати, после дуэли кавалергарды единогласно подтверждали безупречность поведения Дантеса.

— Твою мать, — спросили все, — так чего же от Дантеса хотят? Чтобы он оскопился и застрелился? Потому что Пушкин — великий поэт, и ему все можно? Кстати, — он правда так велик?

Мэнээс сознался, что на его взгляд и вкус Баратынский был не худшим поэтом, чем Пушкин. И вообще ни Жуковский, ни Вяземский не считали Пушкина выше себя — скорее наоборот.

— А как же толпа простых людей, стоявшая день и ночь на улице у подъезда умирающего?

Мэнээс захохотал и подавился. Подл пьяный интеллигент.

— Какая толпа? Каких простых людей? Сочинения поэта издавались тиражами от одной до трех тысяч максимум, и читали их люди исключительно образованные, составлявшие узкий круг и тонкий слой — вроде как сегодня в Москве какие-то литературные страсти кипят, а кроме тысячи от силы человек литераторов, критиков и профессоров, плюс пара сотен фанатов, никто ничего даже не подозревает.

В четыре часа утра мэнээса отвезли домой на такси, и, к чести юного поколения надо признаться, по дороге обсуждали вариант скидывания его в Мойку с такой серьезностью, что таксист забеспокоился и предложил их высадить тут же. Из двух одно: или врет сволочь мэнээс, или Пушкин и правда здорово не того...

За завтраком учинили допрос учительнице. И потому, как она пошла пятнами, и завертелась, и замычала, и запротестовала, стало ясно, что мэнээс не врал. И от этого, что интересно, стал восприниматься точно же как сволочь: знает одно, а говорит другое... и лишает людей последней надежды на все светлое.

С тем вернулись догуливать каникулы дома.

А первого апреля сын мэра преподнес любимой учительнице шутку вполне в духе Дня дураков.

— Светлана Олеговна, — спросил он невинно и даже тоном, как бы просящим совета, — мне один большой человек в другом городе, ну, вуз там хороший, поступать думаю, предлагает жить в его доме, всем пользоваться.

— Гм. И что же?

— А у него жена молодая, я ее видел, и, кажется, она ко мне задышала. Как вы думаете, если у меня с ней что-нибудь будет — это ничего? Или нехорошо?

— Как вы можете! — застонала учительница. — Боже, и еще с таким вопросом!

— Подумаешь, — пожал плечами юноша. — Разве наставить рога доверчивому мужу — это не забавно?

— Господи, откуда в вас столько цинизма?

— А почему Пушкин мог жить в доме графа Воронцова с женой графа Воронцова, жрать и пить на деньги графа? — заорал юный негодяй. — А на графа писать еще эпиграммы? А по службе ни фиги не делать? Это ж надо найти себе работенку — бороться с саранчой! А когда у него спросили отчет — чего делал, мужик? — так он написал: «Саранча летела, летела и села. Села, посидела и дальше полетела». И за это получал зарплату от государства? В гробу я видал такой пример для юношества!

На первое мая компания этих падл отправилась в Михайловское и там два дня пила с сотрудниками тамошнего музея. И собрала компромата больше, чем потребовалось, чтобы посадить министра юстиции России, который по сравнению с молодым Пушкиным выглядел просто отшельником-богомольцем.

Там им нарасказали, что Пушкин жил с сестрами Вольф из Тригорского и «развратил их, как сладострастная обезьяна», но не брезговал и крепостными девками, а поскольку девки имеют от природы обыкновение рано или поздно беременеть, то получается, что у Пушкина были собственные дети от крепостных, что вообще было отнюдь не редкостью в те времена, и, значит, собственные дети Пушкина были его же

крепостными и, выросши, должны были работать на него и его законных детей, как рабы, могли быть проданы и т. д. Рассказы эти отдавали явной завистью, но довольно полно совпадали с книжицей «Любовницы Пушкина», каковую познавательную книжку школьники купили в киоске непосредственно на станции.

Назад группа вернулась какой-то ячейкой движения за свержение культа Пушкина и реабилитацию Дантеса.

Они сказали учительнице, что любовь не может быть всеобщей и обязательно-приказной, что отношение к поэзии — личное дело каждого, и они предлагают разговоры о Пушкине впредь оставить. Они им сыты по горло. Буря мглою небо кроет. Где же кружка. Отчизне посвятим. Не сотвори себе кумира.

Разумеется, эта битва титанов за солнце русской поэзии не могла не дойти до директора, и он вновь вызвал учительницу: хватит мозги крутить детям серьезных людей. Ее зачем в гимназию приняли? Что она развела!

— Мы постоянно говорим о развитии у детей самостоятельного творческого мышления! — защищалась учительница. — Ничего, позже они все поймут, зато у них возник живой интерес! Вы знаете, что они у меня вчера спросили?

— Могу предположить, — сказал директор. — Что-нибудь в таком духе, сколько у Пушкина было внебрачных детей?

— Нет! Они спросили: в стране десятки тысяч площадей, улиц, переулков Пушкина — а почему нет ни одной улочки Шекспира или Гомера? Что это — культурная самоизоляция? Или шовинизм? Или боятся, что наш гений не выдержит сравнения с мировыми? А один вообще сказал, что это проявление комплекса национальной неполноценности, который прикрывается гипертрофированным комплексом величия.

Задумался директор о том, что даже быку тяжело вспахать ниву народного просвещения, и выгнал ее вон. Не вообще, а за дверь.

И тут-то и возник в центре площади бюст Пушкина. Все остальное было делом техники. Класс провел сбор средств на «альтернативный памятник». Помирая

в восторге от своей предприимчивости, они еще сложили на компьютере издевательский «французский бланк», напечатали на цветном принтере и торжественно вручили скульптору. Резвились и падали.

Бюст подменили ночью накануне открытия. Постамент ночью же свозили к кладбищенскому каменотесу, от глаз подальше, и он выбил требуемую надпись быстрее, чем допил бутылку.

...Делу решили хода не давать.

Пушкина, прикопанного в детской песочнице, не нашли. Вероятно, отрыли бомжи и продали во вторчермет. Но глиняный оригинал был у скульптора еще цел. На следующее же утро компания сына мэра погрузила Дантеса в вишневую «Ниву», принадлежавшую самому мэру, туда же сел скульптор с Пушкиным, и исторических врагов повезли в литейку. Работа оплачивалась за срочность, и бюст в тот же день перелили и водрузили на место. У постамента уже ждал трезвый и напуганный каменотес, сбивший непотребную надпись. Это место он прикрыл одновременно отлитой чугунной табличкой:

**АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ПУШКИН**

Дат жизни не поставили. И так все знают. Пушкин бессмертен.

На том все и закончилось.

И теперь бюст стоит в центре маленькой пыльной площади. И людям, склонным во всем искать символы, видится какая-то трудно формулируемая аллегория во всей этой метаморфозе обликов, явленных из одного и того же материала. Но таких людей, надо заметить, в Козельске почти нет. Не задерживаются они там.

КАЗАК-АТАМАН

Фамилию Мишка носил Казак, да коней-то видел больше в новомодных кино, где кони — как бы не просто кони, а должны обозначать некие условные существа, символизирующие близость к природе, стремление к свободе и прочее в таком духе. И отношение к коню у Мишки выработалось заранее — трепетное и почтительное, слегка даже снизу вверх: эдакое идеализированное уважение к прекрасному и древнему животному, воспетому мастерами мирового экрана. У мастеров мирового экрана кони в основном скачут табунами, гуляют по берегу, едят яблоки, взмахивают хвостами под дождем и красиво стоят на фоне заката.

Скотогонскому коню из этих красот на долю выпадает лишь одна — махать хвостом под дождем до полного удовлетворения, так и то он хвост норовит прижать. Слабо разбирается алтайский конь в условностях киношедевров. И Мишкин взгляд на жизнь снова налетел на реальность, как арбуз на бульжник — треск и семечки, всем смешно, но хозяину жалко. Конь-то — он, как известно, существо живое и крайне разумное, со своим характером, пониманием жизни и часто даже чувством юмора.

Правда, Мишке было не привыкать к столкновениям с реальностью. И повидал, вроде, немало, и занимался многим, — но, если один идет по жизни широким шагом, другой норовит бегом, третий продвигает-

ся на цыпочках, то обычный способ Мишкиного жизненного движения был — кувырком.

Срочную службу он в Средней Азии, в стройбате. Кратко характеризует его службу армейская кличка — «Швейк». Она прилипла еще в маршевой команде, с легкой руки сержанта, осатаневшего от Мишкиного простодушия.

После службы «Швейк», добросердечно раздав корешам в бессрочный долг почти все деньги, накапавшие на счет за два года, решил отойти от одуряющей жары на Севере. Тайгу повидать, и внести лепту в ее покорение.

Народу в леспромхозе не хватало, и Мишка сочинил, как служил, дескать, шофером, да права по пьянке отобрали (а машину водить он в стройбате подучился, верно). По-быстрому организовали ему сдачу экзамена для проформы, и посадили поначалу на водовозку. Полтора месяца Мишка исправно разъезжал на цистерне, а в ноябре он свою водовозку сжег. Разогревал с утра двигатель, запалив под днищем, как водится, ведро с тряпками и соляром, а сам как-то задремал в мастерской. Выскочил, когда мужики закидывали с треском пыляющий «газон» снегом и охаживали пеногоном.

Завгар разъярился, директор страшал судом, и определили Мишку на полгода в... трубочисты. С удержанием тридцати процентов.

Когда Мишка развалил гирей вторую трубу, а после полдня отсиживался на крыше, отпихивая ногами края лестницы (обитатели дома хотели взять его штурмом), директор велел писать заявление по собственному желанию.

Мишка пообещал директору, что тот о нем еще услышит, и поехал в Ленинград — поступать учиться на актера. Многие в жизни называли его актером и уверяли в способностях.

В Ленинграде он быстро и легко поступил в дворники. Это дало прописку, служебную жилплощадь — приличную комнату в полуподвале с газом и туалетом, деньги на еду — и массу времени на усиленную подготовку к экзаменам.

На первом экзамене его попросили показать, как солят хлеб. Мишка обстоятельно взял ломоть в левую ру-

ку, нож — в правую, и с кончика посолил. Комиссия за длинным столом закивала и велела солить без ножа. Мишка посолил с черенка ложки. Тут дремавший в отдельном кресле у окна длинноволосый старик («Хиппует», — еще подумал Мишка: «Эх-ма, мир театра») недовольный голос подал:

— Нет у вас ножа, сказали же.

— Это ложка, — пояснил Мишка и показал, как берет ложку наоборот.

— И ложки нет, — приказал старик. — И вилки. Солите!

На культуру проверяют, догадался Мишка. Достал из кармана воображаемый складной ножик, раскрыл...

— У вас только хлеб и соль. Все! Солите...

Мишка взмок. Стал солить через край солонки. Подумал, сдул излишек. Пересолил — не прожужеешь...

Старик вовсе рассердился.

— Солите пальцами!

«Не поймашь!..»

— Пальцами нельзя. Некультурно, — твердо сказал Мишка, глядя на старика уверенно и даже наставительно.

Комиссия развеселилась.

— А вот сыграйте некультурного, — приказал старик.

Ну, посолил Мишка пальцами. Потом еще пальцы обтер от соли об штаны. Старик сразу заулыбался и ласково махнул рукой — все.

В дверь уже выкрикали следующего. После Мишка узнал, что вся суть была именно в том, чтоб вытереть пальцы об штаны. Чудаки...

Фамилии своей в списках второго тура Мишка не нашел, пошумел в приемном, пожалел три зря выученные за весну роли — из Гоголя, Шекспира и одну современную — из журнала «Театр», узнал, сколько платят актерам после института — ужаснулся, не поверил — просто утешают... И поехал отдыхать на Черное море.

Из экономии спросил в кассе общий билет, но не было вообще никаких, и за цену билета его приняла зайцем проводница, с условием помогать: топить титан, носить чай и мести пол. Не все ж знаменитым актерам отдыхать на море, объяснил Мишка, он тоже

имеет право. А делать все равно ничего не пришлось, только в буфет за бутылками на остановках бегать — проводница деньги сама давала.

Народу потом, кстати, набилось в вагон — будто эвакуация; и почти все с билетами. И где они их взяли?..

На Черном море Мишка нанялся матросом-спасателем в санаторий. С утра до вечера загорал у шлюпки на пляже и официально объявлял в мегафон температуру воды, и чтоб за буйки не заплывали.

Раз на танцах одна шибко образованная девица, с которой он вздумал наладить контакт, обхихикала Мишкин рассказ о театре, и расстроенный спасатель сидел в сгустившейся черноте под пляжным грибком. Слушал плеск моря и стрекот цикад и предавался думе о вечности и непонимании. Тут захрустели шаги по гальке, у кромки берега возникла пара, зашептала, зашуршала одеждой и, высвечиваясь незагорелыми выпуклостями тела, двинула в таком виде в воду, благо темно. Может, завидно Мишке стало, может оскорбительно, а только накрыл он их казенным голосом, как прожектором:

— Граждане! купание без купальных костюмов строго запрещено!

Женщина ойкнула и бурно плюхнулась в волны, мужчина же нахально обернулся и сдавленным тоном пообещал Мишке засветить. Разозлившийся Мишка, распаяясь сознанием законного права заставить их соблюдать инструкцию, бросился к будке спасателей, вытащил два гвоздика, на которых держался пробой с замком, и с помоста зловеще-официально загудел в мегафон, чтоб голые граждане покинули зону купания. Там раздалось неожиданно много шума и даже смех, а половина санатория как-то оказалась гуляющей у парапета.

Скандал замяли. Мишку утром уволили.

Но еще вечером одевшийся гражданин притащил Мишке завернутую в газету бутылку вина — чтоб он не очень возникал, проникся пониманием. Вино Мишка выпил, а газету прочитал. Газета оказалась красноярская, и помещалось в ней среди прочего объявление, где расписывалось, какое это чудесное и выгодное занятие — перегонять скот в горах. Так Мишка попал в «Скотоимпорт».

И вот теперь Мишку включили в бригаду и дали коня.

Конь поведением напоминал бывалого солдата: он не лез вперед и вообще стремился не попадаться на глаза, и в хошане (загоне) смирно держался в задних рядах. Но когда с двух сторон к нему пошли с веревками, и он уловил направленные именно на него взгляды, он лишь переступил с ноги на ногу и беспрекословно позволил увести себя в рукав, взнуздать, оседлать, послушно продемонстрировал тихонькую рысь, немощный галоп.

— Примерный пенсионер, — сказал Юрка Милосердов.

— Самоходный диван, — сказал Третьяк. — С таким ничего не случится. Я его уж сколько лет вижу — все ходит.

И вручили Мишке повод.

Мишка протянул коню кусок сахара. Конь обнюхал его и посмотрел на Мишку с удивлением. Он не знал, что это. Скотогонских коней сахарком на балуют.

Мишка сунул ладонью сахар ему в черные мягкие губы. Конь покорно вздохнул и взял сахар в рот. Мишка полез в седло. Повозился там, устраиваясь. Утвердился в стременах. Неуверенно толкнул каблуками. Конь сдвинулся с места с задумчиво-отрешенным видом. Потом он пожевал, прикрыл глаза, черная спутанная челка его зашевелилась, глаза раскрылись с видом глубокого изумления, он остановился и обернулся. Мишка мгновенно сунул ему еще кусок сахара, и конь им мгновенно захрустел. Мишка сжал ноги, и конь готовно затряс его рысью. Потом бережно остановился и обернулся снова. Мишка заулыбался.

— Признает! — сказал он гордо, и счастливо хлопал коня по шее.

— Сахар он признает, — прогудел начальник связки, старый Чударев. — Эдак разбалуешь! С конем строгость нужна...

И скотогонны согласно забубнили, каждый приводя свой довод в пользу того, что да, именно, с конем нужна строгость.

— Животному ласка нужна, — возразил Мишка и скормил коню четвертый, последний кусок сахара.

Через десять метров конь снова встал и обернулся.
— Давай-давай, — солидно сказал Мишка, подталкивая каблуками.

Конь пошевелил губами, глядя ему в глаза.

— Давай! — толкнул Мишка и покраснел.

Конь прошел два шага и оглянулся.

— Что, кончился сахар? — засмеялся Милосердов.

— Горючего требует!..

— Закурить ему дай, — прогудел Чударев.

Перед коновязью Мишка полез было из седла, но конь решительно прошел мимо, то и дело оборачиваясь. Мишке со смехом советовали — что можно сунуть коню в рот, чтоб он успокоился и больше не просил. Из палаток подходили посмотреть — в чем причина веселья и смеха.

— Хана всему, — вынес приговор Третьяк. — Теперь он главнее тебя, Мишаня. Упустил ты коника.

— Чо это — упустил? — удивился Мишка.

— Характер свой ему сразу не показал. Теперь он тебе свой будет показывать. А уж это коник опытный, хитрозадый.

— Терпи теперь, Казак, — сострил Чударев на Мишкину фамилию. — Атаманом будешь.

— Атаманом коник теперь будет, — тонким голосом предрек Третьяк. — Тут все ясно. Так что то ли Казак теперь поедет на Атамане, то ли атаман на казаке.

И в незатейливом хохоте так к коню кличка и прилипла. И Мишку звали теперь только по фамилии. Удачно пришлось. Но ему это удачи принесло мало.

Поехали в гости к бригаде, уже получившей скот и пасшей его недалеко от лагеря — коней промять, самим обвыкнуться, да и от скуки. Мишка, растопырив локти, цепко держал повод двумя руками.

— Ты что — растопырился, как баба на таратайке? — удивился Крепковский.

Мишка, гордый своим обнаруженным умением ездить верхом, обиделся. По его представлениям, сидел он отлично: покачивался в седле, а повод держал обеими руками, пропустив слабинку под мизинцы — так в кино, он специально запомнил, держал повод один герой-пограничник.

— Лево́й руко́й — во как, — Крепковский показал, как пускается повод вокруг кулака. — А правая — свободна: камчу там держать, гнать ею, еще чо. Да хсть закурить достать чем?

Мишка принялся манипулировать поводом. Теперь, если надо было повернуть, конь заносился как-то боком, недоуменно поматывал мордой и пускался следом за остальными раздраженной рысью. Раздражение сказывалось в том, что он больше дергался вверх-вниз, чем двигался при этом вперед.

— Пострадаешь, паря, — предупредил Третьяк.

— А что? — не понял Мишка.

— А задницу состругаешь, — объяснил Милосердов. — Ты плотней сиди, прыгай меньше.

В распадке открылся костерок скотогонов перед двумя палатками. Курящие там с любопытством наблюдали Мишкину джигитовку.

— Ты чо подпрыгиваешь? — поинтересовался веснушчатый пацан, помешивая обструганной палочкой в ведре пахнущее бараниной варево.

Коней отпустили, распустив чумбуры — чтоб потом легче взять за них, волочащихся по земле. Уселись отведать свежанины — в ведре чуть не полбарана крошено было. Третьяк с другим гуртоправом, стариком Осиповым, треснули по флакошке значенного одеколона: за благополучную ходку. Мишка блаженствовал.

— Ребята, чей воронок, сивый такой?

— Мой, — небрежно сказал Мишка. — Ничо конь.

— Ничо, — сказал Осипов, щурясь вдаль. — Он, похоже, к монгольской границе решил прогуляться, ты б его одержал...

Мишка вскочил и увидел своего коня, легкой рысцей трусящего на юг. И припустил за ним.

— Да ты б на коне его догонял! — оторопел Осипов.

— Ничего, — остановил его Третьяк. — Пусть побегает. Поймет службу. Потом мы словим. Юра словит.

— Я чо — пограничник, чтоб ловить? — удивился Юра.

— Полбанки пусть ставит — я словлю, — предложил Милосердов.

— А он за него уже расписался? — спросил Осипов.

Мишка расписался. Выбрав коней, оседлав, проехавшись — шли в конторку завпунктом и расписывались в фактурах; коней получили, целых и сохранных. Теперь в случае потери коня эта подпись обходилась в четыреста рублей.

Четыреста рублей скакали к монгольской границе в тридцати шагах перед Мишкой. А длина чумбура, который волочился по земле, была двадцать пять примерно шагов. Мишка надавал — и конь надавал. Мишка шел шагом — и конь шагом. Мишка останавливался — а конь все равно шел.

Мишке уже рисовалась граница, проволока, контрольно-следовая полоса, конь берет препятствие, он — за ним, предупредительная очередь из автомата, поднятый по тревоге наряд, и — десять лет строгого режима. Почему-то в голове встряло, что за нарушение государственной границы он получит десять лет строгого режима.

Через два часа он лежал на пузе и запаленно дышал, отмахав километров пятнадцать. Конь пасся рядом — на безопасной дистанции. Из-за горы вывернул Третьяк, шагом подъехал к коню и взял повод, концом подсунутый под седло, чтоб не болтался. И повел спокойно за собой.

Гонка эта закончилась, как оказалось, в двух шагах от лагеря: заложил конь петельку — и поближе к своим. И то — куда ему одному деться в горах?

— А вот и казак-атаман, — приветствовали Мишку и коня в лагере. И — как влипло это. Казак-атаман. И все тут.

А поскольку атаман казака главнее, то что Атаман хотел — то Казак и делал.

На ночь повели коней привязывать. Мишка накрутил на кол узел — пояс верности, наверное, в средние века так старательно не закрепляли.

Утром разбудили:

— Спишь, казак? А атаман уже гуляет.

— Где гуляет? — в страхе вскинулся Мишка.

— Где ж атаману гулять? На воле... Догоняй.

Казак догонял Атамана до обеда, — а завтрака он тоже не успел съесть. Перед обедом Юрка-конюх, кото-

рому лень было варить обед и он решил съездить пообедать в лагере, увидел эту погоню, гаркнул на мгновенно стихшего Атамана и несколькими окриками пригнал в лагерь. Мишка утомленно пылил следом — не то пеший скороход, не то мальчик для битья.

— Ты его отмочаль. Пусть руку знает, — велел Юрка.

Мишка сел в седло, конь пошел под ним готовно, старательно.

— Не жалей, хуже будет! — орал Юрка.

— А, — Мишка махнул рукой и дал коню сухарь.

— Ну, мать твою, чудак, — покрутил головой Юрка. — Смотри, предупреждали.

Но Мишка, наверное, не мог побороть своего отношения к коню как к существу необыкновенному, высшему, свободолюбивому. А свободолюбия Атаману было не занимать, и теперь ехали обычно в ту сторону, куда больше хотелось Атаману, и с такой скоростью, какая ему представлялась предпочтительней.

Назавтра выехали навстречу монголам-пастухам — принимать свой гурт. При виде спускавшихся к ручью людей с уздечками в руках Атаман насторожился и принялся жрать траву со скоростью бензиновой сенокосилки. Мишка терпеливо стоял рядом.

— Живей! — одернул Третьяк.

— Дак... он голодный же, — пояснил Мишка.

Прочие захохотали. Конь стриг челюстями суетливо, как кролик, умудряясь при этом тяжело вздыхать.

Шестеро привели коней к палаткам и стали седлать. Оседлав, увидели седьмого члена бригады: Мишка взгромоздил седло на плечо и потащил к ручью, как бы желая хоть этим облегчить жизнь своему голодному коню — не заставляя его идти лишние сто метров.

Увидев седло, конь лег. Мишка опустил седло ему на спину и стал подсовывать подпруги под брюхо. Конь обернулся и укусил Мишку за руку.

— Ах ты паразит! — Мишка замахнулся.

Конь прикрыл глаза. Но просунуть подпруги под плотно набитое брюхо не удавалось. Мишка надел узду и стал тянуть кверху, забыв вложить удила коню в рот.

— За хвост, за хвост тяни его! — подсказали сверху. Там на косогоре столпилось пол-лагеря: пронесся слух, что Казак седлает Атамана в позе лежа.

Однако человеческий гений победил. Казак смахнул пот и повел Атамана в поводу. Переходя ручей, тот уперся всеми четырьмя ногами, опустил морду в воду и стал пить. Казак терпеливо ждал.

— Да поехали, ты!.. — прогорланил Третьяк.

— Да пить же он хочет! — беспомощно кричал Мишка.

— Все хотят! — радовались сверху.

Конь функционировал как пожарная помпа, откачивая воду из ручья. Он раздувался на глазах, стал неуверенно покачиваться, фыркнул и нагло взглянул на Казака: ну что, в чем еще дело?

И Мишка поехал догонять своих.

Он их долго догонял. А вечером приехал Крепковский и поинтересовался, где Казак-Атаман.

Наутро Мишка явился в лагерь под конвоем в лице пограничника-ефрейтора. Удостоверившись в личности подконвойного, ефрейтор взял у завпунктом бумажку с печатью — расписку, покрутился на кухне, купил банку сгущенки, покрутил пальцем у виска, глядя на Мишку, и убыл для дальнейшего прохождения службы. Мишка же стукнул коня по лбу, привязал понадежнее, попросился отдохнуть в чужой палатке (своя бригада уже стала отдельным лагерем далече), лег на живот и закрыл глаза.

На ужин он прошел к столовой странной деревянной походкой и пристроился со своей миской стоя, у подоконника.

— А ты садись, казачок, — ласково сказал Володя-повар.

— Ничо, — пробурчал Мишка, — я так...

— Это «так» — на две недели, — сказал Толик-ковбой. — Возьми вазелина у веттехника. Смажь казенную часть.

Мишка загорал стертым задом кверху девять дней. На пятый день его бывшая бригада закончила стрижку баранов и ушла в перегон.

— Терпи, казак, — главное атамана будешь! — проорал издали Крепковский, вертясь в седле и мasha камчой. Мишка смотрел, как они уменьшаются вдаль в зеленом распадке меж гор, как идут за гуртом кони, — и сдерживал слезы.

Теперь ему ничего не светило. Брать его в бригаду никто не хотел. Как ни удивительно — но вовлекший его в беду Атаман из нее же и выручил.

Сдавать Атамана упрямый Мишка категорически отказался и каждый день загорал рядом с ним, разговаривал — приучал к себе. И тут оказалось, что всех упряжных коней в табуне (а приученных не только к седлу, но и к тележной упряжи — мало, они ценятся в перегоне) — гуртоправы уже разобрали, и Толик-ковбой, который гуртоправом шел первый год, остался без коня в таратайку. Толик засуетился, упрашивал, — но запас «на подхват» еще не пригнали, монгольских коней тоже еще не пригнали, несчастный Толик стал проверять всех коней подряд — не пойдет ли какой под упряжь. Ему и подсказки кто-то про Атамана — конь-то старый, смиренный, всякое небось испытал. Толик покатился к Мишке.

— Конь пойдет со мной вместе, — категорически сказал Мишка.

— И ладно, — скривился Толик. — Поедешь на таратайке, сам с ним будешь.

Мишка проглотил унижение — ехать на таратайке с лагерным барахлом, — хотя вообще это считается отдыхом, и за него спорят.

Пошли пробовать. Конь увидел оглобли и пошел в них передом. Вывели обратно — ан назад не идет. Еле управились. Стали его разворачивать наоборот.

С неслыханной ловкостью эквилибриста Атаман заходил мимо оглобелей, переступал через них, пятился. Толик плюнул, велел двоим держать коня, сам с Генкой-Винни-Пухом взялся за таратайку и накатил к нему.

— Очумел! Нельзя, чтоб конь видел, как телега без него движется! — закричали из зрителей. — Бояться будет!

— Этот заботится, — усомнился Толик. — Этот атомной войны не заботится, раньше тебя спрячется.

Атаман покорно дал себя запрячь и тронул легкую двухколесную тележку.

— Ат-лично! — расплылся Генка-Винни-Пух, обязанный кличке своим бесконечным добродушием.

— Атаман-то, конечно, ничо... а вот казак, — вздохнул Толик.

— Покупка с нагрузкой, что ли? — удивился Винни-Пух.

— Ну, — Толик нахлобучил свою лихую черную шляпу.

— Ладно, — милостиво решил Винни-Пух. — Мы гоним, он сзади на таратайке. Пусть едет.

Вообще с Толиком идти в перегон любителей мало. У Толика уж очень здорово поставлен прямой в челюсть, прямо как в вестерне. Чуть что не нравится — бац! — и смотрит с легким недоумением, как человек падает, как будто бы сам он тут не при чем, а так, зритель, удивляющийся действию своей правой руки.

...И погнали. Показали Мишке, как запрягать, уложили добро в таратайку, палаткой сверху накрыли, обвязали веревкой. Мишка взгромоздился сверху, разобрал вожжи и чмокнул.

— Держи прямо за нами! — приказал Толик.

До Кош-Агача высокогорная равнина как стол — на сто километров. За два дня прошли ее почти всю. На пункте попарились в баньке, взяли продуктов и сигарет, свели в кузню перековать коней, — и двинули по Уймонской трассе, в перевитые таежным буреломом горы.

К Кураю — четыре дневных перехода — скотопрогонная трасса проходит вблизи Чуйского тракта. С рассветом Толик и Винни-Пух пересчитывали сарлыка (монгольский як) — двести семьдесят восемь голов, — седлались, глотали разогретый Мишкой завтрак и наставляли:

— Сейчас — вон туда, по распадку налево, и выходишь обратно на тракт. И по тракту — до ручья, четырехста шестой километр там будет. Раскладывай огонь, вари поесть и жди нас.

И двигались с гуртом в горы.

Мишка послушно ехал. Распадок раздваивался и шел в разные стороны. Ручьев оказывалось множество,

а километровых столбов не виделось вовсе. Он выбирал самое подходящее место, до полуночи помешивал варево на костерке, и из темноты выныривал осатаневший Ковбой на измученном коне:

— Што, дурик, иждивенец, опять заблудился?! Уж ни лагерь разбить, ни пожрать сварить, ни до места дойти... так даже по шоссе доехать не мог?! Трогай, чего стоишь!!

Издали показывался костерок: голодный Винни-Пух варил чай — пачка чаю и кружка всегда в кармане плаща. У костерка — кучка топлива на ночь: один не спит, дежурит, стережет гурт.

Поставили дежурить и Мишку.

— Смотри, чтоб не отошел какой в сторону! Отойдет — топни на него, он сам обратно всунется. И к воде не пускай, — сарлыку только дай в воду залезть, потом сам за ним лезь вытаскивать, он воду любит. Обходи почаще тырло, не спи!

И, снабдив Мишку этими напутствиями, полезли в палатку.

Старательный Мишка всю ночь ходил вокруг лежащего гурта и бурчал под нос все песни, какие знал, — чтоб не уснуть. К часу темень сгустилась такая, что камни под ногами, казалось, светились лунным светом, — хотя луны не было и в помине. Сигарета при затяжке слепила, как фонарь в глаза. А с первым светом сарлык стал подниматься. Приказ же был — будить в пять...

В полпятого Мишка, изнемогший от беготни вокруг трехсот разбредающих в разные стороны сарлыков, не выдержал:

— Мужики! — в отчаянии воззвал он. — Не сдержать их мне!!

— Держи! — бездушно приказали из палатки.

— Мужики! — взмолил Мишка. — Разбегаются они!

— Куда разбегаются? — поинтересовались из палатки.

— Да всюду разбегаются!

Заспанный Винни-Пух вылез наружу, поежился от прохлады, покашлял и пешком, тихонько, погнал гурт пастись на крутой косогор. Мишка еще не знал, что

сарлык вообще встает со светом, проголодавшийся за ночь, и удержать его на лежке невозможно.

— По Чуйскому до Курая! — кратко скомандовал Ковбой, прыгая в седло.

Мишка нашел Курай легко, дома прямо у тракта стоят; он самостоятельно выбрал место у ручья, сопя разбил палатку — а одному это трудно и неудобно, — набрал кизяков, разжег костерок, принес ведро воды и стал варить хлебово, предвкушая похвалы.

Показался Винни-Пух и помянул его родню недобрым словом. Мишка очень обиделся.

— Кто тебе здесь вставать позволил? — разозлился Винни-Пух. — Опять не жравши, опять тебя искать... На пункте ждать надо, завпунктом место для стоянки укажет, гурты ведь постоянно подходят, всех разместить надо! Ничего не понимаешь, что ли.

На пункте Ковбой, не глядя на Мишку, сказал:

— Замена тебе пришла.

— Какая замена?.. — не понял Мишка.

— Вон парень стоит. Из той бригады ушел. В общем, вместо тебя будет.

— А я?..

— Что — ты... Работа тяжелая... На что тебе, раз не выходит.

А Мишка вдруг вспомнил, как воевал с сарлыком, когда его поставили пасти — во второй раз, по очереди. Все паслись более или менее кучно, а этот, здоровый, серый, все в сторону норовил. Через полдня этого мучения Мишка разъярился, подобрал здоровенную каменюгу и кругом, кустами, пробрался в том направлении, куда все пытался улизнуть свободолюбивый сарлык. Сарлык как раз направлялся к зарослям, где Мишка засел в засаде; сарлык спокойно озирался, не видя никого, кто мог бы нарушить его замыслы. Увидев поднявшегося Мишку, он очень удивился. Остановился и стал на него смотреть. Мишка с натужным стоном размахнулся и двумя руками пустил камень. Камень с глухим стуком осадил сарлыка в лоб. Тот с удивлением выслушал звук, нагнул рога и беглым шагом атаковал Мишку. Мишка взвизгнул, замельтешил

на месте и взвился на дерево. Через полчаса его спустил вниз Ковбой.

«Сколько раз говорил — ханика не трожь, — поучительно произнес он. — Сарлык — он безответный, если только не заболел. А ханик — он с норовом, его зря задевать не надо». (Ханик — это гибрид, смесь сарлыка с коровой. Отличается размером посолиднее, шерстью покороче и нравом покруче. Уважает себя. Словом, ближе к быку.)

...И — ушел Мишка.

Переспал на пункте, в комнате, на койке с простынями. Уж и отвык от них. Наутро сел на попутную и через день был уже в Бийске, на пункте главном.

— Что, не выдержал? — спросила завкадрами.

— С бригадой не поладил, — буркнул Мишка. — На подхват пойду. Нужны люди на промежуточных пунктах, никто с маршрута не сбежал?

— А зачем тебе на подхват? — удивилась она. — Еще не все гурты приняты, можешь опять с начала идти. По Чуйскому хочешь, там легче?

— По Уймону пойду, — буркнул Мишка.

— А — дойдешь?

— Уж теперь-то всяко дойду, — ответил он. — Что я, зря уродовался, что ли?

В общаге Мишку встретили почтительно — заросший бородой, черный от загара, монгольская монета на шее — скотогонский шик. В общаге все новички собрались, ждали отправки на границу, где принимается скот: кончался июль, бригады шли по трассам, еще никто не вернулся, а старики все пошли в перегон пораньше — пока тепло, и корма больше, и гнать легче. Мишка давал новичкам советы и учил играть в «шубу с листом». Пытался еще читать вслух книгу Питера Брука «Пространство сцены», прихваченную с собой, но слушали ее плохо: далеко, видимо, были от проблем театра.

МЫ НЕ ПОЕДЕМ НА ОЗЕРО ИШТУГОЛЬ

Рассвет в алтайских горах напоминает переводную картинку в детстве: полупрозрачная размытая пелена стя-а-агивается — и взрываются чистейшие небесные акварели. Утром я вытаскивал спальный мешок из палатки, закуривал и наслаждался зрелищем.

В то лето мы с женой проводили отпуск, путешествуя по Горному Алтаю. Туристический маршрут.

В группе нас собралось пятеро: еще двое — студенты из Львова, и семнадцатилетняя москвичка. Маршрут двухнедельный. На четырнадцатый день нам задавалось выйти к Белому Аную, сесть там на автобус и вернуться в Бийск; а там самолет — и фью домой в Ленинград: конец отпуску.

Из всех видов отдыха я с институтских лет предпочитаю исключительно туризм. Когда одиннадцать месяцев корпишь в лаборатории, то потом лежать на пляже или сидеть с удочкой — скучно: душа просит движения и простора. О возделывании дачного участка я уж не говорю... Нет: видеть мир, познавать новое, преодолевать трудности первозданной жизни, — вот настоящая смена обстановки.

Кто проходил по сорок километров в день с сорокакилограммовым рюкзаком за спиной, кого мочил дождь и продувал ветер, кто обжигаясь хлебал у костра припахивающий дымом кулеш и ночевал под звездами

в спальном мешке — тот поймет меня. В наш цивилизованный стрессовый век ничто не заменит неповторимого чувства туристского великого братства.

Доводилось мне спускаться по реке на плоту, доводилось в раскаленной степи делить на четверых последнюю фляжку воды, и в отчаянный шквал ставить рвущуюся из рук палатку, и идти по азимуту в таежных буреломах. Я и со своей будущей женой познакомился некогда в походе.

В нынешней нашей группе отношения определились сразу и естественно. Я был старшим, жена руководила приготовлением пищи, студенты, Саша и Толя, исполняли работу типа заготовки дров, носки воды и мытья посуды, а семнадцатилетняя Маринка пользовалась всемерным их покровительством — соперничество было честным и благородным — и делала что могла, а не могла она почти ничего. Но такое кроткое и прелестное существо полезно в группе: поддерживает дух рыцарства, заставляет даже самого растяпистого мужичонку чувствовать себя почти охотником на мамонтов, воином-охранителем детей и женщин. Психологический климат в группе был прекрасный.

И вот все подошло к концу... Каменистым косогором мы спустились к домишкам Белого Ануя и разбили лагерь у речки, в сотне метров от дорожного моста; а утром подойдет автобус...

Ребята принесли два ведра воды, натаскали валежника на костер, Маринка, внемля жене, мешала поварешкой и снимала пробу, мы раскинули проветриваться спальники — садящееся за лесистый склон солнце еще грело, август стоял отменный.

Костер трещал, ужин побулькивал, зазвенели струны Сашиной гитары... нам было грустно от предстоящего завтра расставания, мы сроднились за эти две недели; где еще узнаешь человека так, как в походе, когда все на виду и характер проявляется до конца.

Потом заварили кофе на последней банке сгущенки, пели тихо туристские роднящие песни, и гитарные переборы грустили сладко о пережитом вместе,

где: быстрые перекааты рек, пьянящий луговой аромат, снежные вершины спят во тьме ночной, и ноют от лямок рюкзака натруженные плечи. Туристу всегда есть что вспомнить.

Но судьба одарила нас еще одной встречей, еще одним воспоминанием.

Из перелеска на склоне появились какие-то черные точки. Они выползали, множились и недлинной плотной колонной двигались вниз.

Я достал свой полевой бинокль. Это были яки! Черные, обросшие мохнатой черной шерстью, с крутыми длинными рогами. Два всадника повернули их к дороге и, пыля, стадо начало удаляться стороной.

— Смотри, Маринка — настоящие яки, — протянул я бинокль.

Не успели мы все рассмотреть как следует яков, как оттуда же показалось большое стадо овец. Не меньше нескольких тысяч голов. Выходя на свободное пространство, они разбредались широкой многослойной шеренгой и медленно скатывались вниз эдаким подобием македонской фаланги. Еще четверо всадников сопровождали их.

— Ковбои, — замороженно произнесла Маринка, не отрываясь от бинокля.

— Пастухи, — солидно-пренебрежительно поправил Саша.

Двое всадников, маша плетями, завернули край стада так, что оно стало двигаться почти к нам. Уже различались бородатые лица, слышались гортанные выкрики и блеяние овец.

И тут один из ковбоев ударил коня и направился к нам ровным неторопливым аллюром.

— Здравствуйте, — степенно сказал он, осаживая коня у костра.

Выгоревшая армейская панاما в сочетании с сапогами, многонедельной бородой и черным загаром придавала ему вид киногероя-первопроходца. Какой-то амулет болтался на засаленной веревочке в распахнутом вороте рубахи, пятнистой от солевых разводов. Он соскочил с седла, развязал моток привязанной к луке

веревки и, намотав свободный ее конец на руку, пустил коня пастись на такой вот привязи.

— Издалека? — спросил я.

— Из Монголии, — хриплым, сорванным голосом ответил он.

Ого!

— И давно вы оттуда? — спросила жена.

— Два месяца. Все лето идем.

Он отрубил кусок валежины, заострил кол и вбил поодаль топором в землю, привязал к нему веревку, чтоб конь пасся сам, и присел к нашему костру.

Маринка налила ему кофе; Саша дал сигарету. Ощутился запах пота, человеческого и конского, пыли, овечьей шерсти — пахло терпко, волнующе, прямо какой-то ковбойско-романтический букет.

Он с медлительным достоинством прихлебывал кофе и выдувал дым колечками, глядя перед собой.

— Вы их пасете? — спросила жена.

— Гоним. Из Монголии. Ну, и пасем по дороге.

— А потом?..

— Потом — в Бийск.

— А что там?

— Мясокомбинат.

— А зачем из Монголии?

— Покупаем скот у них.

Трудноопределимая первозданная сила, какое-то спокойное и естественное единение с природой, с миром исходили от этого человека, проводящего жизнь в седле, среди гор. Кто б мог подумать: не в голливудском Техасе, а у нас, без колыта и стетсоновской шляпы — вот рядом с нами сидит настоящий ковбой. А!

— А оружие у вас есть? — с придыханием спросила Маринка, бессовестно колыша ресницами и округляя розовый ротик.

— Карабин.

— А... что?.. нужен?

— Ну. Волки могут ночью подойти... или что.

— А вы что же — и ночью... пасете?

И представилось, как ночью этот черный бородастый парень стоит с карабином на фоне звезд, чутко

прислушиваясь к ледящему волчьему вою в горном распадке.

— И бывает, что пропадают овцы у вас?

Он усмехнулся — оскалился легко:

— У нас лично не пропадают.

Выждав столько, сколько, очевидно, полагалось его приличиями, он вежливо изложил просьбу: ручку или карандаш и листок бумаги. Ему надо написать письмо. Где, кто, в каком краю земли ждал от него весточки?

Мы подарили ему шариковую ручку, два конверта и блокнот.

— А можно прокатиться на лошади? — отважилась Маринка.

Он отставил пустую кружку, плюнул на окурок, пустил его в костер и предупредил:

— Конь монгольский. С норовом, по-монгольски выезжен.

За седлом был привязан какой-то тюк, мешавший перекинуть ногу.

— Плащ, — пояснил он. — Ватник. В горах ведь погода за час трижды меняется.

Подсадил Маринку в седло, шлепнул коня по крупу, и тот послушно побежал по кругу, удерживаемый веревкой. Действительно — через десять секунд при резком толчке Маринка свалилась на землю, ничего, к счастью, не повредив.

— Хорошо обошлось, — скупно обронил ковбой.

Его товарищи со стадом удалились уже на несколько километров.

Взлетев в седло, он кивком поблагодарил нас, вытянул коня плетью и, в мягком перестуке копыт, умчался в сгущающиеся сумерки.

... — Вот так, — сказал Толя. — Живешь — и не знаешь, что такое существует.

Да; экзотика окружает нас, но почему-то нам, чтобы ее увидеть, необходима рамка телевизионного экрана; того, что рядом с нами, мы порой не замечаем всю жизнь...

Эти бородатые резкие ребята, черные от горного злого солнца, пропахшие конским потом и овечьей

шерстью, видали такое, что и не снилось киношным ковбоям в их теплом Техасе.

И под крупными и яркими алтайскими звездами, в свой последний походный вечер, мы еще долго говорили о том, что одна такая встреча, один такой взгляд в тот неведомый мир, о котором раньше и не подозревал, — уже стоят двух недель, и дальней поездки, и перенесенных трудностей, ибо это — еще одна прочитанная и перелистнутая страница прекрасной жизни, окружающей нас.

* * *

— Гм. Ну вот. Да, — бодро сказал редактор. — Проза, конечно, есть, — с пустой приподнятостью констатировал он. — Видите — можете же писать просто. И материал прекрасный! Действительно, это же интересно... — внутри него явственно стучал метроном, отсчитывая ритм и время беседы.

— Вы уже почти достигли уровня публикаций... — Чело его туманилось, баритон тускнел.

— Но тут вот какой недостаток... — проямлил он и окреп, определившись: — Понимаете, чувствуется в этом всем какая-то внешняя, интеллигентная описательность. Вот не отпускает вас ваше филологическое образование!.. Ну смотрите: ваш ковбой очерчен прекрасно, такими скупыми романтическими штрихами. А ведь было бы гораздо правильнее — перспективнее! богаче! — именно его сделать центральным героем рассказа. Глубже проникнуть в этот образ, расширить его, дать психологию, показать — понимаете? — что же заставило его выбрать эту действительно необычную профессию. Развить, разработать эту линию, показать это стадо овец, этих яков, могучих, непокорных животных...

Сам ты непокорное животное, тоскливо подумал я. Ну что, что тебе расскажешь, скотина безрогая? Что яка на Алтае называют исключительно сарлык, и что более покладистое создание и вспомнить трудно?..

подавитесь вашей романтикой. Шестидесятники хреновы.

И не было в этом, разумеется, ничего романтического.

В отделе кадров мы именовались «гонщики» (!), а так — скотогоны.

Бумага и ручка мне были на фиг не нужны, а подъехал я — для разнообразия, перекинуться словом со свежими людьми: за три месяца мы семеро друг другу изрядно приелись.

И коня рысью я не гонял, пускал в шаг, — конь после такой ходки по горам — шкура на ребрах гармонью, что ж его гонять. Девчонка потому и шлепнулась через голову, что Лелик мой, бедняга, на ровном месте на передок засекался стал. Почему я его Леликом назвал — специально, чтоб отвечать на вопрос: кому Лелик, а кому Леонид Ильич. Ребята радовались.

Чего я мог рассказать-то? Что урабатывались иногда так — не то что в седлах, на ходу засыпали? Что на узких приторах или в чащобах, когда баран не шел, проклинали жизнь и срывали глотки в сип? Что когда пониже в долинах деревни пошли, продавали за полтинник барана и тут же пропивали все? Одеколон пили, потому что приказано было скотогонам спиртное не продавать? Что крали все, что плохо лежало — топоры, ведра, веревки, миски, а чайник я нашел на помойке — потому что выпускали нас в перегон, по нищете и раздолбайству, почти без инвентаря? Какая к... романтика костра, если костер — единственный источник тепла и света; не были б дураками — имели б примус. И карабинов нам уже давно не давали — одни осложнения от них: сезона не проходило, чтоб кто-то кому-то в брюхо не всадил по пьяни или стычке между бригадами. И волков мы не видели и не слышали. И ходили в ватниках и шапках: ночи-то наверху ледяные. В одну ночь я, дежуря с гуртом, в горизонтально летящей в абсолютной тьме шуге, подморозил руки и не мог держать сигарету; напарник вставлял мне в рот зажженную, а когда уже жгла губы — я ее сплевывал. Мы люто завидовали спящим — под тентом на кошме, не раздеваясь трое под одним одеялом: тепло и покой!..

А днем солнышко: не то что носы обгорали — у меня с левой кисти, что все время на поводе, короста ожога не слезала.

Мысли: дневной переход бы покороче и полегче, место для пастьбы (если твоя очередь) пошире да поудобнее, дни и переходы до Бийска считали. Поспать-пожрать побольше (гуся украли — праздник), поработать поменьше. О бабах — ни чувств, ни разговоров; чифирик варили для бодрости.

Народишко: кто от алиментов в бегах, кто после отсидки трудовую книжку зарабатывает, кто на вербовочное объявление сдуру клюнул, а там уж поздно: уйдешь до окончания — ни хрена не получишь. Я от невроза и мировой тоски лечиться в эти пампасы отправился. И вылечился — сразу и надолго: еще полгода двери только ногами открывал, и спал как бревно. Скот-то мы принимали под полную материальную ответственность; разбежится гурт — всю жизнь бригада алименты государству выплачивать будет; вот и вибрируешь! Не дай бог что — сапожками тебя стопчут и в озеро кинут, и никто искать не станет: свалил и пропал, бывает. В соседней бригаде, в переходе за нами шла, вот так Коля-Школьник пропал: вышел с одного пункта, а на другой не пришел. А в соседней перед нами старик Осипов ногу ночью отморозил — потом в Бийске до бедра ампутировали. А в четвертой — Ваську Лобанова полоснули по руке ножом по пьяни — через месяц отсохла. Эмоций не сдерживали. Раз-два — шарах! — через час уже пьют в обнимку. Короче, скотогоны.

А уж этим туристам я тогда мозги попудрил, лапши на уши навертел, не отказал себе в удовольствии. До сих пор, клянусь, помнят красочные истории из крутой ковбойской жизни. Туристов за глупое безделье я всегда презирал, а там мы на них просто как на недоделков-недоумков смотрели: уж очень глупое и ненастоящее их занятие по сравнению с нормальной жизнью, надуманное какое-то, эрзац.

* * *

А только ведь и это неправда. Потому что давно хотел я увидеть это, хлебнуть, прожить, да и подзаработать на зиму, чтоб сидеть и писать потом спокойно. Если выспался, и утро ясное и теплое, то слова: «Ну чо, седлаем-

ся, ребята», — ах, какие хорошие слова. И выдастся иногда минута легкая: баран идет пасом, солнце светит негорячо, качаешься в седле, затягиваешься сигареткой, запах кругом обалденный стоит, — такое счастье, ребя...

Было: перевалили мы в снегу Чигед-Аман, проталкиваем гурт вниз по тропе в чашобе, на полкилометра растянулись наши две тыщи барана, не хочет он в мокрядь вниз идти, инстинкт, а дождина с градом сечет, и день в темень клонит. Коней привязали, мокры в кисель, пар валит, сучья одежду рвут, в голос проклятия рыдаем, тычками и пинками по шагу проталкиваем скотину через тайгу.

И вдруг — в минуту одну! — тают тучи, яснее небо, бурелом в редколесье переходит; сели верхами, свободно течет баран, перевели дух, закурили, — и вдруг! — расступается аркой лес впереди, блещет синева вверху, а внизу — зеленая чаша альпийского луга окаймлена снежной горной кромкой, и в центре чаши сияет озеро круглое, синее неба, и пахнет медуница и клевер, жужжат пчелы, белыми пятнами мирно пасутся наши барашки, и уж не знаю, когда еще испытывал я такую благодать.

И мечталось мне, что пройдет лет пятнадцать, и приеду я сюда когда-нибудь с женой и сыном, куплю в колхозе трех коней подшевле (потом за полцены обратно сдам), — и по всем этим местам проедем мы втроем. Золотые ее волосы будут развеиваться по ветру, конь скосит карий глаз, зажжет солнце сахарную кромку луговой чаши, откроется нам аркой из буреломного леса сказочная долина озера Иштуголь.

И закачают нас низенькие и неприхотливые до крайности алтайские кони, и не будет тесно втроем в палатке на кошме, и расскажу я им, вспомню, как ковылял в молодости, как меня мотало и швыряло, как без копейки сидел, счастлив был и судьбу арканил.

И будет нам так хорошо, что лучше не бывает.

* * *

Много лет с тех пор прошло. Прошли они в каком-то другом измерении, а то, что было, словно по-прежнему совсем рядом.

Встретил я ее, золотоволосую, сияющие глаза, жизнь и радость. Встретил и потерял.

Все в моей жизни правильно было, ни о чем не жалею, а это вот — иногда точит. Потому что неправильная разлука наша, не по истине, не по душе, не по путям сердца своего разошлись мы. Одна нам была дорога, и вела та дорога через дурманящую зелень затерянной долины, через небесное озеро Иштуголь.

Не выехать мне больше верхом из леса в ту долину, не вдохнуть томительного забвения, не испить кристальной воды из заколдованной чаши.

И ей тоже.

* * *

Сгрызет ее тоска, источит сердце, измучит душу. Истомит сон, где пасутся кони на горном склоне, и просечен туманец молодым солнцем.

* * *

А может, и неплохо мне. Может, и неплохо. Был я там. Все со мной было. Все осталось, пока жив.

* * *

Так ведь и это же не так. Стирается все, избывается, и только пустая дурь вертится в голове детскими дебильными строчками:

Хорошо в степи скакать,
свежим воздухом дышать!..

ТЕСТ

Первого августа, за месяц до начала занятий в школе, мама повела Генку на профнаклонность. Генка не боялся и не переживал, как другие. Ему нечего было переживать. Он знал, что будет моряком. Его комната была заставлена моделями парусников и лайнеров. Он знал даже немного старинный флажной семафор и морзянку. И умел ориентироваться по компасу.

Вот Гарька — Гарька, да, волновался. Он семенил рядом со своей мамой, вспотевший и бледный. Вчера он упросил Генку, что будет проверяться после него. Он во всем с Генки обезьянничал. И модели с него слизывал, и тельняшку себе выклянчил, когда Генка впервые вышел во двор в тельнике. Ему тоже хотелось стать моряком. Генке было не жалко. Пожалуйста. Море большое — на всех хватит. Даже так: когда он станет капитаном, то возьмет Гарьку на свой корабль помощником.

С солнечной улицы они вошли в прохладный вестибюль поликлиники. Генке мама взяла номерок на десять сорок. Гарькин номерок был на десять пятьдесят.

В очереди ждало и томилось еще человек пять. Трое девчонок сидели чинно, достойно; девчонки... что с них взять, сначала им куклы, потом дети — весь интерес. Пацаны тихо спорили, с азартом и неуверенностью. Профнаклонность — это тебе не шутка, все понимали.

Настала Генкина очередь. Они шагнули с мамой за белую дверь.

— Останься в трусиках, — сказала медсестра. — А вы, — к маме, — подождите здесь с одеждой.

Генка независимо вошел в кабинет. Доктор оказался совсем не такой; не старый и в очках, а молодой и без очков. Из-под халата у доктора торчали узкие джинсы.

— Садись, орел! — Он подвел Генку к высокому креслу. — Сиди тихонько, — пошелкал переключателями огромной, во всю стену, машины с огоньками и экранами. Снял со стеллажей запечатанную пачку карточек и вложил в блок. — Не волнуйся, — приговаривал он весело, успокаивающе, а то, можно подумать, Генка волновался... хм. Доктор надел Генке на голову как бы корону, от каждого зубца тянулся тоненький проводок за кресло. Подобные же штуковины доктор быстро пристроил ему на левую руку и правую ногу. И прилепил что-то вроде соски к груди. — Так. Вдохни. Выдохни. Расслабься. Сиди спокойно и постарайся ни о чем не думать. Будто бы ты уже спишь... — Он повернул зеленый рычажок. Машина тихонько загудела. — Вот и все! — объявил доктор и снял с Генки свои приспособления.

— Доктор, я моряк? — для полного спокойствия спросил Генка уверенно.

— Одну минуточку... — Доктор открыл блок, вынул карточки, нажал какую-то кнопку, и машина выбросила пробитую карточку в лоток. — А ты, брат, хочешь стать моряком?..

— Ну естественно, — снисходительно сказал Генка.

— Ого!.. Сто девяносто два! — Доктор одарил Генку долгим внимательным взглядом. — Сто девяносто два! Поздравляю, юноша.

— Я буду адмиралом?! — подпрыгнул Генка.

После паузы доктор ответил мягко:

— Почему же обязательно адмиралом?..

И то ли от интонации его голоса, или еще от чего-то странного Генку вдруг замутило.

— Что... там?.. — выговорил он, борясь с приступом дурноты.

Доктор был уверен, весел, доброжелателен:

— Чудесная и редкая профессия. Резчик по камню! Нравится?

— Какой резчик, — шепотом закричал Генка, вставая на ноги среди рушащихся обломков своего мира, и замотал головой, — какой резчик!

Появившаяся медсестра положила добрую властную ладонь ему на лоб и что-то поднесла к лицу, от едкого запаха резануло внутри и выступили слезы, но сразу отошло, стало почти нормально.

— Нервный какой ты у нас мальчик, — ласково сказала медсестра и погладила его по голове.

— Редкая и замечательная профессия, — убедительно и веско повторил доктор. — И у тебя к ней огромнейшая способность. Утречко, а? — обратился он к медсестре. — В девять был этот мальчишечка... Шарапанюк... резчик по камню, сто восемьдесят. Теперь, пожалуйста, этот — сто девяносто два, а?

— И тоже резчик? — сестра взглянула на Генку особенному и вздохнула. — Талант...

— Посмотри на его убитое выражение. — Доктор даже крикнул. — А поймет, что к чему, еще ведь зазнается, возгордится. Ты еще прославишься, мальчик.

— Я не хочу прославиться, — горько сказал Генка. — Я все равно моряк...

Мама поняла все сразу, когда Генка вышел обратно в приемную. Она взяла профнаправление — и лицо ее посветлело. Она взволнованно поцеловала Генку куда-то между носом и глазом и принялась сама надевать на него рубашку, как будто бы он маленький.

— Чудесно, сынок, — сказала она. — Замечательно! Пойдем с тобой сейчас в художественную школу.

— Я пойду в мореходку, — ответил Генка непримиримо.

Мама покусала губы.

— Хорошо, — сказала она. — Пойдем сейчас домой. Пусть папа придет, там решим вместе.

Генка хмуро сидел во дворе под старым кустом акации, когда его отыскал там Гарька. Гарька самодовольно сиял.

— Меня уже оформили в мореходку, — похвастался он. — Что же ты меня не подождал, как договаривались? А мама сказала, что ты теперь пойдешь в художественную школу... Я не поверил, конечно, — доверительно сообщил он. — Какой у тебя уровень? У меня девяносто один! Почти сто! А у тебя? Сто один?

— Тыща, — сказал Генка, поднялся и ушел, пряча глаза.

Семейный совет был тягостен. Папа настаивал:

— У тебя все данные к редкой и замечательной профессии. Тысячи ребят были бы счастливы на твоём месте. Послушай нас с мамой, сынок. Ты ведь, хотя и взрослый, не все еще понимаешь... А в свободное время ты сможешь купить катер и плавать где душе угодно.

— А доктор не мог ошибиться? — безнадежно спросил Генка.

— Как?..

— Ну... может, машина его испортилась...

Папа молча взъерошил ему волосы.

— Я пойду в мореходку, — сказал Генка и заплакал.

Месяц прошел ужасно. Предатель Гарька дразнил его во дворе и похвалялся синей формой. Генка не отвечал ни на чьи расспросы (все, казалось ему, только и думают об его несчастье и позоре) и отказывался выходить гулять вообще. Мама с папой переглядывались.

Тридцатого августа мама сказала:

— Гена. Ты уже большой. Послезавтра тебе идти в школу. Ты — резчик по камню. Понимаешь? Кем бы ни стал, но все равно ты — резчик по камню. Иди тебе в мореходку — ну... как если бы птице учиться быть рыбой.

— Чайки плавают... — сказал Генка.

— И кроме того, в первую очередь все будет предоставляться ребятам с профнаправлением, ты понимаешь?

— Понимаю, — упрямо сказал он.

Назавтра они с мамой отнесли его документы в мореходку.

Завуч, взяв его профкарточку, с некоторым недоумением воззрился на Генку, потом на маму, потом снова на карточку, потом покачал головой.

— На вашем месте, — порекомендовал он, — я бы без всяких сомнений и вариантов отдал его в художественную.

Мама неловко помялась и развела руками:

— Он хочет... Мечтал... Ему жить.

— Вырастет — поймет. Благодарен будет.

— Не буду, — угрюмо пообещал Генка. Он ждал, обмирая в отчаянии.

— Что ж, — сказал завуч и кашлянул. — Мы возьмем тебя, конечно. Характер есть — уже хорошо. Но тебе придется трудно, учти, друг мой. Очень трудно.

— Пускай, — сказал Генка неожиданно ослабшим голосом и впервые за этот месяц счастливо перевел дух. — Морякам всегда трудно!

Через неделю Генка понял, что такое профнаправленность. Гарька давно гулял во дворе, а он еще готовил домашнее задание. Класс успевал решить три задачи, а он корпел над первой. Все уже усваивали новый материал, а он разбирался в старом и задавал вопросы. Полугодие он закончил последним в классе.

— Ты бы не хотел перейти в художественную школу, сынок? — печально спросила мама. — Тебя всегда примут. Подумай!

— Нет! — бросал Генка и зло сдвигал брови. — Нет!

Он шел последним до третьего класса. В третьем он передвинулся в таблице успеваемости на две строки вверх.

— Так держать, — сказал завуч, встретившись в коридоре. — Уважаю!

В шестом классе Генка стал достопримечательностью. Он был включен в состав команды, посланной на олимпиаду мореходных школ. Команда заняла третье место. Генка был единственным участником олимпиады, не имевшим профнаклонности. Гарьку в команду не включили.

Сознание необходимости делать больше, чем требуют от других, больше, чем делают другие, укоренилось в нем и стало нормой. Он привык, как к естественному, весь вечер разбираться в пособиях, чтобы на следующем уроке знать то, на что по программе, составленной с учетом профнаклонности, хватало и учебника.

Генка окончил мореходку десятым по успеваемости. Это очень нужно было. В числе первого десятка он получал право поступления в Высшее мореходное училище без экзаменов.

На медкомиссии он проходил исследование на профнаклонность. «Резчик по камню. Сто восемьдесят один», — последовало не подлежащее апелляции заключение. Комиссия уставилась на Генку непонимающе и вопросительно.

— Да, — сказал Генка. — Ну и что? Я моряк.

Комиссия полистала его характеристики.

— Будете сдавать экзамены на общих основаниях. Таковы правила.

Он проходил комиссию каждый год. «Резчик по камню».

На преддипломной практике он впервые не трювил при сильной волне — четырнадцать лет тренировки вестибулярного аппарата.

Гарька получил уже под команду сухогруз, когда его еще мариновали в третьих помощниках. Потом он четыре года ходил вторым. Потом старшим. Потом ему дали старый танкер-шестнадцатитысячник, двадцать восемь человек экипажа.

В пароходстве привыкли к необычному капитану и перестали обращать на него особенное внимание, пока внимание это не возникло вновь, уже в благосклонном плане, когда третья подряд комиссия по аварийности признала его самым надежным капитаном пароходства. В тридцать девять лет, являясь исключением из инструкций, он стал капитаном трансатлантического лайнера. Капитан лайнера без профнаклонности.

Он приезжал в отпуск, проходил двором мимо куста акации домой и каждый раз говорил стареющим родителям: «Ну как?» — и раскрывал чемодан с заморскими подарками.

— Как надо, — отвечал отец.

— Никогда не сомневалась, что из моего сына в любом случае выйдет толк, — говорила мама и на несколько секунд отворачивалась с платочком.

В сорок семь, капитан-наставник флотилии, он сошел в августе во Владивостоке. Пять широких старого золота галунов тускло отливали на его белой тропической форме. Широкая фуражка лондонского прошива затеняла загорелое лицо. Солнце эффектно серебрило седые виски. Навидавшиеся моряков владивостокские мальчишки смотрели ему вслед.

Дворец был вписан в набережную, как драгоценность в оправу. Линии его были естественны и чисты, как прозрение. Воздушная белизна плоскостей плыла и дробилась в сине-зеленых волнах и искрящейся пене прибоя.

Стройный эскорт окружая отграненных колонн расступался при приближении. Причудливый свет ложился на резьбу фронтонов и фриза, предвосхищая ощущение замершего вдоха.

Экскурсовод произносил привычный текст, и негромкие слова, не теряя отчетливости, разносились в пространстве: «...уникальный орнамент... международная премия... потомки...»

Капитан вспомнил фамилию, названную гидом. Она держалась в его памяти с того дня, того, главного дня, когда он смог... смог вопреки судьбе, вопреки всему... Это была фамилия того мальчишки, резчика, у которого было сто восемьдесят в то утро, а у него сто девяносто два. Шарапанюк была его фамилия.

Корабль уходил в море ночью. Спелые звезды августа качались в волнах. Полоска портовых огней притухала за горизонтом. Капитан стоял на открытом крыле мостика. Он снял фуражку, и ветер шевелил пордевшие волосы.

— Я лучший капитан пароходства, — сказал капитан и закурил.

И только холодок печали звенел, как затерянный в ночи бубенчик.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

милая пьеска

«После кончины Иисуса Христа начался период перестройки, длившийся примерно один миллион лет».

Курт Воннегут, «Сирены Титана».

1. Трави пар

Бункер, хотя скорее это — зал для заседаний; нет, все же бункер.

Партбосс. Они сейчас высадят наружные двери грузовиком.

Генерал. Я отдаю приказ открыть огонь.

Серый. Достаточно взять несколько зачинщиков.

Секретутка. Бандиты. Звери. Хамье.

Мент. Зачем винный склад им открыли!

Лакей. Они заклинили дверь, и теперь блокировка не работает!

Серый (*леденяще*). Что?

Все. Что?!

Лакей (*отчаянно*). Не открыть нижний бункер!!

Партбосс. Генерал!!!

Генерал. Связь не работает (трясет рацию).

Серый (*леденяще*). Почему?

Генерал. Видимо, слишком большая ионизация воздуха.

Партбосс. А телефон?

Генерал (*дует в трубку, швыряет ее*). Телефон! А кому звонить — Господу Богу? Все уже драпают, куда могут.

Секретутка. Господи, что же будет...

Серый. Достукались, гуманисты хреновы? «Законность, правопорядок...» Вот теперь и околевайте здесь, перед дверью. Ну, что молчишь, руководящая сила, мать твою?

Партбосс. Попрошу держать себя в руках. И сохранять порядок — хотя бы между собой. Сержант! Откройте наружную дверь и переходной шлюз.

Генерал. Что?! Чтобы они — сюда? Все?

Партбосс. А вы что предлагаете? Чтоб сначала они загнулись там, а потом — мы здесь?

Лакей (*с вескостью профессионала*). В конце концов, наш долг — забота о народе.

Серый. Заткнись, попугай. Мятеж... рвань!.. позор...

Генерал. Второй, второй! Спецбатальону окружить Главное здание и рассеять экстремистов! Второй! (*швыряет рацию об стену*)..

Партбосс. Защитнички. Дармоеды-дерьмоеды. Сержант! Исполнять!!

Мент. Слушаюсь. (*Вращает штурвалы в бетонной стене, броневые створки медленно расходятся*.) А дальше-то что будем делать?

Партбосс. Нет у нас другого выхода, нет! Впустить, задраить дверь, а там получим передышку — как быть дальше.

Толпа (*вдавливается судорожно в бункер, кашляя и качаясь*). Суки... гады... сами попрятались...

Серый (*леденяще*). Кто это сказал? Попрошу выйти вперед.

Простой. Чего? что? а чего?..

Трусливый. Я-то чего? я не слышал... я вообще не говорил.

Секретутка. Это спецбункер! спецбункер! вы понимаете, где вы находитесь! и если впустили, то ведите себя прилично!

Опасный. А ты нас поучи.

Мент (*закрывает двери*). Граждане, соблюдайте порядок. (Передергивает затвор автомата): Не надо выступать; не надо.

Лакей. Закрылась! (*Счастливо*): Закрылась! Серый. Включи очистную вентиляцию.

Партбосс (*радушно и уверенно овладевает толпой*). Здравствуйте, товарищи. Все зашли? Никто там не остался? Ну, теперь все в порядке. Дверь немного заело, сами знаете, какие у нас строители (*улыбается, в толпе согласные смешки*), но теперь мы все здесь, поистине, так сказать, едины; так что можете убедиться, что мы здесь, с вами, никто никуда не сбегал, ничем от народа не отгораживался, воздух у нас тут один на всех, вода одна, все одинаковое. Так что судьба у нас одна, условия одни, и как нам быть дальше — мы все вместе будем вот решать. Садитесь, вы здесь не гости — хозяева, давайте.

Толпа (*рассаживаясь по бункеру, все-таки больше похожему на зал заседаний*). Что? Как? Почему? Откуда? Когда? Сколько? А дальше?

Партбосс (*садится со свитой за стол под портретом Вождя на стене — чистый президиум*). Над анализом причин сейчас ведется работа, результаты будут немедленно обнародованы, уже приступили к ликвидации последствий.

Желчный. Раньше, чем вы ликвидируете последствия, эти последствия ликвидируют нас.

Партбосс. А вот паники не надо, эти упаднические настроения нам только мешают; надо мобилизоваться, организовать.

Нервный. Четыре рентгена!

Серый (*подходит к нему*). Сдайте дозиметр.

Нервный. Почему?

Серый. Существует общее положение, обязательное для всех. Вам известны допустимые дозы? Тип излучения? время? Так чего вы без понятия будете только панику наводить? На это есть специалисты. (*Забирает дозиметр.*) Он еще пригодится.

Генерал. Товарищи, напоминаю: действует военное положение.

Партбосс. Честно признаём трудности. Смотрим в лицо. Улучшение зависит от нас. Не только возможно — но обязаны. Труд, дисциплина, единство. Консолидировать усилия. Под руководством твердо идти по намеченному пути. Решительно отметить. Свободно, по-деловому, обсудим.

Голодная. Когда улучшится положение с продовольствием? Ну совершенно ведь жрать нечего. Заботы не о работе, а о прокорме.

Партбосс. Все меры принимаются. Расширение закупок за рубежом. Дополнительно в сельское хозяйство сто миллиардов рублей. Аренда, семейный подряд. Рост производительности три процента в пятилетку. Планируем отмену талонов на сахар, чай, хлеб.

Бездомная. Жилье в этом веке будет? Двадцать лет работаешь — а жить негде! У них под забором безработные, а у нас?

Партбосс. Шесть миллионов квадратных метров. Огромные цифры. Нарращиваем мощности строительных материалов. Жилищная программа. К концу следующей пятилетки — каждой семье отдельную квартиру.

Больная. В больницу очередь два года! а там лежишь в коридоре, жрешь помой и готовишься в морг! Лекарств нет, одноразовых шприцов нет, обезболивания нет, всем плевать!

Партбосс. Дополнительные средства. Повышение зарплат медперсоналу. Оборонные заводы — на медицинское оборудование. Импорт лекарственных препаратов. Кооперативы при больницах. Мировой опыт.

Беспокойная. Воздухом нельзя дышать, воду нельзя пить, нельзя купаться — даже тараканы в нейдохнут, когда же будут фильтры, безотходная технология, ведь вырем же!

Партбосс. Дополнительные очистные сооружения. Повышения штрафов предприятиям. Санитарные зоны. Строго наказывать злостных ответственных. Но выравнивается, улучшается.

Астматик. Когда поступят новые противогазы? Обещали в этой пятилетке!

Партбосс. Вопрос решен, замена уже производится. Подключено Министерство обороны.

Генерал. Так точно. Готовится расконсервация крупных партий противогазов новейших образцов, абсолютно надежных, скоро мы передаем их ВЦСПС для распределения через профсоюзные организации.

Недоверчивые. Когда? Сколько? Нечем дышать!

Партбосс. Уже ряд кооперативов по восстановлению отработанных фильтров. На комбинате перенастроена линия в цехе ширпотреба: каждому будет обеспечена еженедельная смена фильтра. Кроме талонов на фильтры, будет введена продажа наличным расчетом, по договорным ценам.

Мать. Когда разрешат отпуска для свиданий с детьми?

Партбосс. Вопрос к руководству вашего предприятия. Обязаны всем родителям, раз в год, десять суток. Особая забота государства, дети в благоустроенных интернатах, натуральные хлеб и картофель, экологические чистые зоны, безопасный радиационный фон.

Отец. Так очередь на билеты на поезд два года!

Партбосс. Большой объем ремонтных работ. Обновление вагонного парка. Рост грузооборота. Не поспевает. Выделяем лимиты топлива, переводим локомотивы на торф и сероводород.

Грамотный. А почему письма по месяцу идут? И редко доходят?

Серый. Министерство связи неудовлетворительно. Порядок наведем. Саботаж. На переписку никаких ограничений нет, заявляю официально, особенно родителей с детьми внутри государства. Халатность на местах, просьба сообщать, бороться беспощадно.

Старая. Дак на пенсию ничего не купить, а талоны отоварить дак в очереди сутки сил нет, и в богадельню не берут, как жить?..

Партбосс. Инфляция, соцобеспечение, остаточный принцип неприемлем, обязаны изыскать средства, ветераны наша слава, старикам везде у нас почет, за

столом никто у нас не лишний, все там будем, старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас, вечная память.

Часы. Тик-так, динь-дон, бим-бом, бамм, бамм, дрень, шарах, бздынь!

Нацмен. Однако опять вечером били говорят чурка узкоплечный!

Серый. Коррупцированные круги, враги перестройки.

Генерал. Не было никаких саперных лопаток, солдаты спасали детей!

Лакей (*аплодирует*). Самая народная армия в мире!

Партбосс. Расцвет наций при социализме. Дружба народов. Право на самоопределение. Братская помощь!

Беременная. В роддомах мрут! Грязь, равнодушные, нищета!

Партбосс. Дети — наш привилегированный класс. И когда перед началом уроков пионеры салютуют: «Спасибо товарищу Генсеку за наше счастливое детство!» — у меня слезы наворачиваются.

Работяга. Когда уменьшится рабочий день? Ведь десять часов! И вернут выходной в субботу? Обещали временно, на год, а уже сколько!

Партбосс. Вынужденная мера. Кризисное состояние. Экономика. Прирост. Материальная компенсация. И оправдало! Отменим. Могу поделиться, что мой рабочий день, товарищи, продолжается двенадцать-четырнадцать часов, без всяких выходных, да.

Отрывной календарь. Порх, порх, порх, шуршур-шур.

Лозунг. Решения XXXII Съезда партии — в жизнь!

Трезвый. Так что решили-то? Что будем делать дальше? Ведь уже невозможно! Нужны конкретные, кардинальные решения!

Активный. Товарищи, сколько можно болтать. Надо приниматься за работу, надо делать дело! Только работой можно что-то сделать, от наших разговоров ничего не изменится! (*Аплодирует себе, поддержанный президиумом и половиной зала.*)

Нетерпеливый. Хватит, пора расходиться, нас дело ждет.

Партбосс. Ставлю вопрос на голосование. Кто за? Кто против? Воздержался? Единогласно.

Лакей (*стоя, читает*). Образовать, обязать, оказать; сказать, показать, наказать. Вперед. Повысить — понизить, увеличить — уменьшить, расширить — сузить. Углубить. Повести, привести, довести, навести, донести. Инициатива, дисциплина, энтузиазм, оптимизм, руководство. Невзирая. Мудрый, стойкий, непреклонный, верный, многомиллионный, честный, сильный, вооруженный, убежденный, оснащенный. Еще более. Туженик, поедитель, рабец, стоитель, травец, первооткрыватель, интеррационалист. Комиссия, бюро, коллектив, народ, партия, вождь. (*Аплодисменты.*) Совет, комитет, минет. Добиться — разбиться. Наладить — нагадить. Чувство глубокого удовлетворения. Плановый, внеплановый, сверхплановый. План-план-план-план-план. План, клан, монблан, анаша, конопля, дурь. Планомерно. Неуклонно, решительно, последовательно. Право, обязанность, долг. Достижение. Ячейка. Шаг. Победа. Знамя. (*Аплодисменты.*)

Поэт. Я планов наших люблю громадьё.

Читатель. Пиф-паф, и адьё.

Народник. Любишь кататься — люби саночки возить.

Юноша бледный со взором горящим.
Всех не переве-ешае-те!

Черномаечник. Всех, может, и не перевешаем, но уж на тебя-то, сволочь, веревка найдется.

Партбосс. Цели ясны, задачи определены, — за работу, товарищи!

Гармонист. Эх, яблочко! да куды котисся! в наш дурдом попадешь — д-не воро-тис-ся!

Голубой. А ты не ходи в наш садик, очаровашечка.

Генерал. А вот скажите: если вы все такие умные, то отчего вы не ходите строим?

Подголосок. Добровольно, с песней, верным путем! Смело, товарищи, в ногу...

Толпа (*вытекая в открытую ментом дверь*). ...купола закрывать надо над жилыми — районами... ..я спальню свинцом изолировал — и сразу кашель прекратился... ..овёс в парники на гидропонику — и годится как пищевое зерно...

Мент. А вы что стали, товарищ? мешаете движению. Проходите!

Еврей. Я не пойду.

2. Ум, честь и совесть

Мент. Рабинович, решайте — туда или сюда, газ выходит!

Черномаечник. Угрохали страну, сионисты проклятые, а теперь е, видите ли, жить хотят! Эх, не со всеми покончили...

Пьяный. Если в кране нет воды — значит, выпили жида.

Возмущенный. Вечно от них только беспорядок. Все идут, а он, видите ли, не пойдет! Давай, животное, иди со всеми людьми!

Еврей. Куда идти, вы что, с ума сошли. Там уже птицы передохли, листва опала! поросята трехглазые!

Спокойный. Все же идут, и ничего. Что вы такие трусливые-то?

Честный. Другие будут работать, спасать страну, а вы как всегда — отсиживаться?

Еврей. Что спасать? Как спасать? Когда спасать? Чем? Вы что, вообще ничего не понимаете?

Сметливый. Э-э, они всегда что-то знают. Чуют. Нет, я тоже не пойду, раз так.

Спокойный. Ну, давайте подождем. А только чего ждать-то?

Возмущенный. А меня что — другого нашли? крайнего? Хватит, походили в козлах отпущения! Пока все не выйдут — я остаюсь здесь!

Мент (*беспомощно*). Не останавливаться, проходите! Проходите! Ну!

Остаток толпы. Давай закрывай! Закрывай живо! Сам иди! Закрывай!

Лакей (*в панике*). Закрывай же быстрее! пропадем все!

Партбосс. Я вижу, осталиеь—неясности, вопросы. Хорошо. Закройте, пожалуйста, дверь.

Мент (*закрывает*). А вот привлечь и дать два года.

Народ (*рассаживаясь*). А если виноват — так и дать.

Партбосс (*крутит диск телефона*). Алло! Семенов? Ну, как там у тебя дела? Почему в штаб не докладываешь? Ну так что — «ездил по объектам», — докладывать надо! Людей не хватает? Да вот тут есть у меня еще, кто потрусливее. Да, скоро придут к тебе. (*Кладет трубку.*) Люди работают, без отдыха, а вы тут... стыдно. Несознательно.

Серый. Вы видите! Там люди работают, борются, рук не хватает, а вы... Как же можно не доверять!.. Это выпад! провокация!

Народ. Это он все! Пошли. Пойдемте. Ладно, пора.

Слепой. Секундочку.

Сосед. Чего?

Слепой. Я, правда, ничего не вижу...

Сосед. Твое счастье.

Слепой. ...зато слышу хорошо.

Сосед. Ну, и что ты слышишь, интересно?

Слепой. Ничего я не слышал.

Сосед. А ничего не слышал, так чего ты!

Слепой. Из трубки его телефонной я ничего не слышал. Кроме сплошных длинных гудков.

Сосед. То есть ты чего?

Слепой. Ни с кем он там не разговаривал. Никто ему не отвечал. Спектакль изображает, понял?

Спокойный. Точно?

Сметливый. А вот пусть он позвонит еще раз. А мы послушаем.

Возмущенный. Опять! под себя! на костях народа! а ну пусть еще позвонит, а мы проверим!

Генерал. Я повторяю: никто не отменял военного положения! И ответственность виновные будут нести по законам военного времени!

Мент. Есть! *(Передергивает затвор автомата.)*

Недоверчивый. Значит, правда. Врет.

Пацифист. Дождешься правды от генералов.

Генерал. Ты чем недоволен? Дезертир!

Пацифист. Забыли девяносто девятый год, генерал?

Генерал. Что вы имеете в виду?

Пацифист. Что? Военную доктрину в действии. Пояснить? Концепцию тактического ядерного удара! Когда — ах! — в трое суток мы разгромили врага. По его войскам и центрам — шарах! — и танки вперед, десант на броне, мотопехота, — и вся территория под контролем. А войска, которые по приказу преодолевали зону после ядерного удара — они знали свою судьбу? Свои дозы и свой срок? Первый эшелон — восемьсот рентген! — двадцать четыре часа боеспособности, и финиш, гуляй Вася! Второй эшелон — семьдесят два часа! — и от винта! А потом складывались штабелями в палатки, на сотню умирающих — один фельдшер для присмотра: обречены, свое выполнили, пустьдохнут. Вы их предупреждали, что они смертники? Что еще в мирное время они были определены штабистами в смертники? Что ни один из них не имеет ни одного шанса уцелеть? Полтора миллиона ребят!

Генерал. Война есть война.

Пацифист. Армия создана для войны, как цепной пс — для охраны дома. Но никто не объявит цепного пса главным в доме на том основании, что он загрыз грабителя.

Генерал. Я бы тебе показал пса...

Наглый. Разрешите еще вопросик к руководству.

Партбосс. Пожалуйста.

Наглый. Вот, скажем, объявят: атомная тревога. Это что значит? Что минут через пять-семь ракеты ближнего и подводного базирования грохнут свои мегатонны нам на головы. Знаете, что у меня есть на случай атомной тревоги? Давно припас.

Партбосс. Что же?

Наглый. Бутылка коньяка — настоящего! — плитка шоколада и пачка сигарет. По сигналу выпиваю ста-

кан, закусываю, закуриваю, и оставшиеся пять минут пью, курю и вспоминаю жизнь. А что еще делать? Убежищ нет. Ползти в сторону кладбища?

Лакей. На предприятиях есть убежища.

Наглый. Во-первых, не на всех, во-вторых, только для работающей смены, в-третьих, устаревшие и ненадежные. А остальные? А ночью? Привет гражданской обороне! На что надеемся?

Серый. Система жизнеобеспечения населения в случае ядерной войны является военной и государственной тайной.

Наглый. От кого тайной — от этого самого населения? Ага — тоже мне бином Ньютона. Так вот вопросик: что делаете вы — вы — по сигналу атомной тревоги?

Партбосс. Я?

Наглый. Вы, вы. Ведь ваша жизнь драгоценна, вы — наш слуга. Времени бежать далеко у нас нет. А ядерная зима продлится до-олго. Значит, ваше убежище должно быть прямо при рабочем месте, верно? Вода, еда, воздух, радио, электробатарей. В этом-то подвале долго не продержись, да и велик он слишком.

Откровенный. Послушайте, а на что вам такое убежище? Кем вы будете править? Кто будет работать, обеспечивать вас? Это же пожизненное заключение в тюремной камере. А?

Партбосс. Да нет у меня никакого убежища. Что за байки, слухи!

Недоверчивый. Не может быть. Если б я был начальник — обязательно обеспечил бы себе.

Лакей. Ваши руководители лучше, чем вы о них думаете.

Секретутка. И чем вы того заслуживаете.

Скептик. Чего у них нихватишься — ничего у них нет. Ни чистого воздуха, ни свободы, ни убежищ даже.

Наглый. Для себя-то у них все есть.

Скептик. Вот потому и нет для нас.

Работяга. А вы вспомните получше. Нигде там дверки не завалилось в стене? Небольшой такой, овальной, металлической? С заклепками.

Партбосс. Я вас не понимаю.

Работяга. А вы нас никогда не понимали. Надобности не было. А мы вас понимали. Только слишком поздно поняли.

Серый *(леденяще)*. Вы на что-то намекаете?

Работяга. Да нет, так... напоминаю.

Генерал. Что?

Работяга. Вы там за портрет давно не заглядывали?

Партбосс. Какой портрет?

Работяга *(указывает пальцем)*. Вождевский, какой же еще.

Секретутка. Ваши кошунственные намеки...

Возмущенный. А ну-ка давай снимай эту рожу!

Общий вопль и порыв к движению. Снимай!!

Партбосс. Замахнуться на святое — тут прощения не будет. *(Лакею)*: Если так просят — что ж, снимай.

Лакей *(снимает портрет и ставит сбоку к стене. Обнаруживается дверца)*. Ну, какой-то люк, что из этого.

Недоверчивый. А ты откуда знаешь?

Работяга. Ха. Да я его и строил.

Серый *(презрительно)*. Что еще ты придумаешь?

Работяга. Ха. Да я тогда в этом спецстройбате и служил, в сотом.

Лакей. Вы сказали — пять мест? *(Смотрит на начальство, загибает пальцы, бледнеет.)*

Мент. Пять, говоришь? *(Щурится на президиум, сжимает зубы.)*

Партбосс *(снимает трубку зазвонившего телефона; машинально)*: Первый слушает.

Телефон. На электростанции готовится к пуску аварийный генератор. Ремонтная бригада приступила к работе. Дежурный инженер на пульте.

Партбосс *(потрясенно смотрит на трубку)*. Есть связь! Товарищи, есть связь! Скоро будет пущена электростанция!

Слепой. Не врет. Теперь там говорили.

Народ (*вполголоса, с надеждой*). Ур-ррра...

Секретутка. Вот видите... Вот видите... (*В приливе откровения целует босса.*)

Рассудительный. Кто его знает, то ли они восстановят там что, то ли не восстановят. А пока на всякий случай лучше разобраться тут и составить список. Списочек. Кому идти в убежище.

Партбосс. То есть как?

Рассудительный. Так. Сегодня восстановят, а завтра не восстановят; кто его знает, надолго ли это все. А вы что думали, мы — на восстановление, а вы — под землю, руководить оттуда?

Справедливый. Верно. Все принадлежит народу. Мы и есть народ, неизвестно еще, сколько их там наверху, и долго ли они протянут. Вот и решим, кого мы выделим для спасения.

Романтичный. Для передачи эстафеты в грядущие времена.

Серый. Вы что, не слышали телефон? Отменяется конец света, отменяется!

Священник (*мягко поправляет*). Я бы сказал — откладывается.

Мент (*щелкает затвором автомата*). Предлагаю по-честному — жребий.

Народ. Жребий! Жребий! Судьбе виднее! У кого есть бумага? ручка?

Генерал (*тихо*). Чтоб сгорел этот строитель. Что делать?

Серый (*тихо*). Разрешите, я его изолирую и ликвидирую.

Партбосс (*в снова звонящий телефон*). Первый слушает. Кто докладывает? Как?

Телефон. Четвертый хлебозавод. Сменный мастер Кочетов. Товарищ секретарь, вторая линия готова к работе. Начали готовить замес, хлеб дадим.

Партбосс. А энергия есть?

Телефон. Позвонили с электростанции, что дают нам первым.

Слепой. Ура!

Рассудительный. Да, но уж лучше мы доведем дело до конца. Вот — шапочку мою возьмите под бумажки.

Секретутка. Вот ножницы — нарезать (*смешивает бумажки в шапке*).

Народ (*столпившись, тянет жребии*). Пусто... Тьфу... Эх...

Партбосс. Есть!

Возмущенный. Вот так! и мне досталось!

Священник. Значит, воля Его, чтоб мне выпало.

Слепой (*ощупывает бумажку*). Кажется, мне тоже плюс достался.

Работяга. Надо же. Сам строил, и самому же пригодилось. Рассказать кому, так не поверил бы.

Женщина (*плачет*). Господи, и тут счастья не увидеть. Работаешь, как скотина, и подыхать будешь, как скотина...

Мент. Да ладно убиваться, гражданка, пока еще ничего страшного.

Работяга. На, забери (*сует ей свой жребий*).

Женщина. Вы что? Что вы?

Работяга. А, чего я там не видел. И вообще, не люблю сидеть взаперти. У меня тоже жена была, пока не померла. Кашель задушил. Как вспомнишь... Вам ведь трудней. И работа, и политзанятия, и карточки отоваривать, и дома все. А потом что же — мужики спасаться, а бабы — умирать? Так нельзя все же. У тебя ребенок-то есть?

Женщина. Есть, в Саянах, в интернате. В прошлом году ездила к нему.

Работяга. Ну вот... если что — отсидишься здесь и снова к нему съездишь.

Женщина. Какой вы человек... Какой вы человек!..

Слепой. Девочка, иди сюда. Дай руку... какая теплая. Тебе сколько лет?

Девушка. Шестнадцать.

Слепой. Предлагаю сделку. Я тебе — эту бумажку, а ты меня за это поцелуешь. Только чур не жульничать!

Девушка. Что вы... не надо... вы сами...

Слепой. Такой противный, что ли? Ладно, ладно. Один черт ничего не вижу, и потом мне уже почти сорок, пора и честь знать. А ты поживешь, может, влюбишься там в кого-нибудь...

Девушка. Ну вы скажете...

Слепой. А что. Жить-то надо. Опять же, жизнь без детей не бывает.

Девушка. Ну вы скажете...

Священник. Они люди, Господи, и в сердце их есть милосердие. И в тяжелых испытаниях они обращаются к добру и являют любовь к ближним. И Ты простишь мне, если я передам жребий Твой тому, кто больше нуждается в Твоем милосердии. *(Подходит к менту, которому, оказывается, лет двадцать, и дает ему свой пропуск на спасение.)* Ты можешь жить еще долго, мальчик. И можешь иметь детей. И потом, должен же кто-то и там следить за порядком, верно?

Мент. Спасибо. Не надо. Я не могу взять, что вы. Здесь я нужен, здесь сейчас трудно. Нет, я могу спастись только последним. А вот у нас тут иностранец затесался, ну, из этих, специалистов со стройки, отдайте ему. Все-таки гость... пусть поминает. Опять же, говорят, от смешанных браков дети лучше. И потом, может, его выручат, приедут, и наших заодно.

Серый *(тихо)*. Сейчас я заплачу. О, как благородны простые люди. Сколько чуйств. Как трогательно!..

Генерал *(утирая глаза, тихо)*. Заткнись, стукач вонючий. Они люди, а ты — полицейская тварь, выродок.

Серый. Ты только забыл, что конец света-то пока отменен, и их благородство им сейчас ничего не стоит. Вот и расчувствовались.

Партбосс *(в зазвонивший телефон)*. Первый слушает.

Телефон. Докладывает водозаборная станция. Распечатали резервную скважину. Вода после прокачки труб в пределах предельно допустимых концентраций, соответствует ГОСТу питьевой.

Партбосс. Молодцы! А с энергией как?

Телефон. Аварийная динамомашинка, запитали портативный насос. Для питья должно хватить.

Партбосс (*секретутке*). Забери-ка ты эту бумажку, раз уж все так вышло. Будешь жить... а по выходным я разрешаю тебе видеть меня во сне.

Секретутка (*с печальной нежностью*). Нет уж, милый... с тобой — или там, или здесь.

Спокойный. Кажется, и на этот раз пронесло... выкрутились.

Рассудительный. Ну... вечно проносить не может.

Иностранец. Вы, русские, очень стойкие, мужественные люди.

Еврей. Господи, какого черта родители в детстве не увезли меня отсюда.

Веселый. А что, батюшка, возможен ли конец света в одной, отдельно взятой за жопу стране?

Женщина. Сегодня по карточкам должны были мыло давать, если б еще ненадолго воду пустили, так и помыться можно, вот бы хорошо.

Партбосс. Ну что ж, товарищи, давайте понемножку собираться. Пятеро выбранных могут пока остаться здесь, а мы... (*Сверху по лестнице вдруг сыпается какая-то фигура, встает на полу на четвереньки и бессмысленно хихикает.*)

Актер (*поднимается с четверенек, опять падает и хихикает*). Мы победили, опасность отступила... хи-хи-хи! Город возвращается к нормальной жизни... хи-хи! Р-рапортует майор Пронин, товарищ первый!

Генерал. Эт-то еще что?!

Актер. Хи-хи-хи. Это героическая драма «Спасение отечества», ваше превосходительство!

Серый (*леденяще*). Эт-то еще кто?

Актер. Хи-хи-хи. Шут, презренный шут... шутник-с.

Партбосс. Он тронулся!

Актер. Хи-хи-хи... Так точно, тронулся — отсюда и в вечность. На полпути к Луне.

Лакей. Как ты сюда попал, негодяй!

Актер. Это же элементарно, Ватсон. Вошел в боковой подъезд, прошел вестибюль и спустился по лестнице. Хи-хи!

Партбосс. Так там открыто?! Боже мой, наши порядки...

Догадливый. Так там было открыто? а мы-то!.. кто ж знал...

Любопытный. Ну, и что там наверху?

Актер. А где же рукопожатие? где орден? объятие?

Партбосс. Что?

Актер (*объясняет*). Ну как же, по роли так положено: я докладываю о спасении, вы меня обнимаете. Вы же до сих пор правильно отвечали мне по телефону... почти... вполне разумно... а вы где играли?

Партбосс (*мучительно вслушивается*). Что?.. ты?..

Догадливый. Привет с хлебозавода...

Циник. Браво, электростанция. Вот это шутка. Жаль, что последняя.

3. И мера в руке его — высшая мера

Один. Нельзя больше терпеть, нельзя, нельзя, нельзя!

Другой. Экая новость.

Третий. Не можешь терпеть — застрелись.

Первый. Из чего? Чем? Ведь даже это невозможно!

Третий. Ну так повесся.

Первый. Так ведь и веревок нет!

Второй. Ну так попроси его (*кивает на генерала*), он тебя с удовольствием пристрелит.

Первый (*президиуму*). Сто лет! Сто лет вы измывались!

Партбосс. Над чем это мы, как вы выражаетесь, измывались? Я попрошу вас выбирать выражения.

Первый. Над чем? Над всем! И над всеми! Над здравым смыслом. Над историей. Над народом. Над человечеством.

Памятливый. У вас был шанс. Вы им не воспользовались. У вас был шанс в конце восьмидесятых. Все могло пойти иначе. И ведь вам поверили, поверили! Кооперативы создали, фермы, парламент, по крохам начали жизнь создавать. Но вы и это сломали, и это обманули. А вот теперь мы пожинаем результат.

Партбосс. Это такие горлопаны и экстремисты, как вы, все тогда погубили! Вам говорили — не орите! Говорили — не митингуйте! Говорили — не торопитесь! А вы?! Скорей, сейчас! всего мало, давай больше! А в результате эти гориллы (*кивает на генерала*) подгребли все под себя! Предупреждали вас?! Предупреждали, что дестабилизация государства грозит хунтой, военным переворотом?! Так у вас мозги заело, ничего слушать не желали! Вот и... подышайте теперь. Вам легче будет, если мы подохнем вместе? Ну так подохнем вместе! С чем я вас и поздравляю.

Генерал. Хватит валить грехи на армию! Довели страну до ручки, до гражданской войны! а теперь еще смеете переваливать на нас! Кто довел народ до голода? кто не мог остановить резню? Да если б не мы, вас бы всех на фонарях перевешали! Я был тогда лейтенантом, командиром взвода, я все помню. Только и зачитывали — телеграммы, телефонограммы, телетайпы: спасите! спасите! спасите! пришлите солдат, пришлите танки, пришлите десантников, пришлите черные береты! Вы вечно убираете грязь руками армии, а потом армия вам виновата!

Партбосс. Это когда вы танками разнесли всю Казань — это было по просьбам? по телеграммам?

Генерал. А по-вашему, нам просто повоевать захотелось? по людишкам пострелять соскучились?

Партбосс. А вы знаете, кто провоцировал все эти мятежи? знаете? Кто стоял за Гомельским бунтом — знаете?

Урод. А чего ж тут не знать. Тридцать лет мутаций после Чернобыля — вот что и стояло. А уродам чего терять. Все равно резервация, права на выезд нет, медицинская диагностика засекречена, а газеты: все в по-

рядке! телевидение: все в порядке! а детишки трехногие, безрукие. Вы знаете, что такое мутация? Это когда куры дичают, собираются в стаи и гоняются за лисами, — загоняют и убивают. Долбят, пока не заклюют. А это сразу после Чернобыля появилось.

Серый (леденяще). При чем тут куры?

Урод. При том, что вы преступники. Вы же бандиты. Убийцы. А мы все — заложники убийц. Будь вы прокляты.

Партбосс. Я вас понимаю, но лучше без эмоций, не надо эмоций. Так мы ни к какому конструктивному решению не придем.

Урод. Без эмоций? Ага: кого колышет чужое горе. А кто отдавал секретный приказ: диагноза «радиационная болезнь» не ставить, писать: ОРЗ, вегетососудистая дистония, гастрит? Что, теперь уже концов не найти, архивы сожгли в очередной раз? Собственное правительство приговорило к смертной казни, к мучительной смерти — четыре миллиона человек, ни в чем не повинных, детей, женщин, — зачем? а чтобы самим поспокойнее было, чтоб легче править и сытнее жить. И вы думаете, люди это забыли?

Скелет. Забыли, забыли, успокойся. А когда хлопнула ленинградская станция, что, лучше было? Шар-рах! — и кранты люльке трех революций. Ленинград вообще долго Москве мешал, болтался там сбоку, одно беспокойство. И что, хоть расселили? черта с два, запретили эвакуацию: все спокойно, все меры принимают.

Циник. Ага. Меняю жилплощадь на равноценную в любой зарубежной столице, Хиросиму и Нагасаки не предлагать.

Партбосс. Вы рассуждаете со своей колокольни, а попробуйте подойти к проблемам в масштабах всего государства.

Циник. Мне плевать на такое государство, которое обрекает меня на смерть. Я жить хочу. Я согласен на другое государство, чтоб в нем жить можно было.

Лакей. Не все думают только о своей шкуре. Честные люди всегда были патриотами.

Циник. Все не все, но тридцать миллионов за десять лет от вас свалило. Спасибо вам за гениальное достижение пропаганды — патриотизм тюрьмы.

Серый. Пятьдесят восемь-десять. Десять лет.

Одноногий. Лет-то лет, а куда? а что делать? лес весь срубили, золото вымыли, нефть выкачали, уголь сожгли, цемент развеяли, — что бедным зекам делать? Где работать, что добывать? А то бы по новой всех пересажали, вам не впервой.

Серый. Вы уточните, пожалуйста, вы к чему призываете? К свержению законного строя? Выскажитесь, выскажитесь.

Начитанный. А может ли законный строй устанавливаться незаконным образом?

Партбосс. А что вы на меня смотрите?.. Это что, я вводил Кантемировскую и Таманскую дивизии на Садовое кольцо и в Кремль? Я разгонял Советы? Я объявлял диктатуру? Или, может, границы я закрывал?

Серый. Вы хотите сказать, что надо открыть границы для всей швали?

Начитанный. А вы от кого границы-то охраняете?

Серый. Вы прекрасно все понимаете, не прикидывайтесь!

Начитанный. Понимаю! От счастливых граждан — чтоб не сдрапали все кто куда в проклятый мир капитала. Наглядная демонстрация преимуществ нашего образа жизни.

Серый. Закон есть закон. Государства без законов не существует.

Начитанный. Существует.

Серый. Какое же?

Начитанный. Наше. За сто лет у нас было шесть конституций — в среднем одна на пятнадцать лет. И при этом любое правительство что хотело — то и делало!

Серый. А вы что хотите — чтоб государство затрачивало средства, давало людям образование, профессию, а потом чтоб они уезжали, и способствовали благосостоянию другого государства?

Начитанный. Это ложь. В вашем государстве за три года работы человек рассчитывается за все, что на него было потрачено, — вы ж обдираете его, как липку... рабовладельцы.

Партбосс. Что за неуместные ярлыки! Это политическое обвинение!

Начитанный. Отнюдь. Это констатация факта, не более. Что такое государственный раб? Во-первых, он прикреплен к месту и не может уехать оттуда, где живет. Не только из государства, но даже город сменить! — везде прописка, проверка, разрешение. Во-вторых, он может работать только на государство, и от государства получать средства на жизнь: работа на себя или на частное лицо запрещена, земля, завод, корабль — всё, всё принадлежит государству. В-третьих, за уклонение от работы его суют на каторгу и заставляют работать на государство под автоматом. В-четвертых, если он придумал, как делать что-то больше, легче и лучше, ему все равно не платят больше, а платят столько же, а все произведенное им государство объявляет своей собственностью. Клад, изобретение, сверхплановая продукция, сама судьба — все принадлежит государству! А раба бросается на пропитание, чтоб не подох слишком быстро. А теперь вы ждете от меня благодарности за такое государство?

Партбосс. Я чувю, вы целитесь на место в бункере. Собираетесь сохранить свою ценную личность, чтоб проповедовать в грядущие времена.

Простяга. Не будет этого! Хватит диктата интеллигенции! прослойка хренова, только болтать, а мы их корми, обувай... главное — жизнь трудовых классов: рабочие и крестьяне! вот так вот! так что предупреждаю: одно место — мое! *(Подходит к двери бункера и садится возле нее на пол с мрачным и угрожающим видом.)*

Начитанный. Сто лет, сто лет длится этот бред. Ответь мне, милый: вот, скажем, рабочий — он передовой класс?

Простяга *(напористо)*. Передовой!

Начитанный. А если он учится в заочном институте — он что, еще более передовой?

Простяга (*упрямо*). Передовой. Тем более. Что, рабочий учиться не может, думаешь?

Начитанный. Ну, а если он кончил институт и получил диплом — он сразу перестал быть передовым?

Простяга. Это... чего? в каком смысле?

Начитанный. Начальником цеха стал! Передовой? Или нет?

Простяга. Но в общем... отчасти... раз был рабочим...

Начитанный. Рабочий передовее начальника цеха?

Простяга. Рабочий — самый передовой!

Начитанный. Значит, понеграмотнее — передовой, а пограмотнее — непередовой. Так?

Партбосс. Вы демагог! Вы сбиваете с толка просто рабочего!

Начитанный. Как вы мне надоели, жулик. Чем отличается рабочий от инженера? И тот и другой делают одну продукцию, и тот и другой пролетарии — не имеют ничего, кроме своей рабочей силы, которую продают, один менее квалифицирован и получает двести, другой более квалифицирован и получает сто пятьдесят. Скажите, зачем надо менее квалифицированному платить больше и политически возвышать его над более квалифицированным? А затем, что ему проще заморочить голову. Он меньше знает, меньше читал, меньше умен, наконец. Потому что те, кто умнее, идут в институты! Почему слесарь — передовой, а изобретатель его инструмента — не передовой? Потому что передовых вы принимаете в партию, промываете им мозги и манипулируете ими, сохраняя свою диктатуру. А вот теперь уступите ему свое место в раю, жулик.

Партбосс. Вы пытаетесь вбивать клин между партией и народом!

Злобный. Этот клин — двери в ваши кабинеты. Ваша охрана. Ваши засекреченные дачи и санатории. Ваше засекреченное меню. Ваши полсотни на рыло засекреченных костюмов из Англии и Голландии. Ваши броневики и мерседесы. Ваши столовые с эколо-

гически чистой едой за издевательски символическую плату. Ваши семейные и клановые связи — чужим наверх места нет. И на самый последний случай — ваши убежища, в которых вы хотите пересидеть катастрофу, которую сами вызовете, лишь бы не расставаться с властью, — а народ пускайдохнет. Ну, а теперь расскажите мне еще что-нибудь про клин.

Серый. Вы понимаете, что это уже само по себе — политическое преступление?

Злой. А ты молчи, гестапо. Мы все уже у Боженьки в прихожей, а ты все из себя кобру изображаешь.

Лакей. Хоть сейчас — мы должны сделать вывод, найти общий язык, объединиться!

Злой. Вот когда ты будешь стоять рядом со мной в очереди, и ехать рядом со мной в автобусе, и жрать дерьмо рядом со мной в столовой, и жить рядом со мной в клетушке, вот тогда мы с тобой объединимся. А пока иди лижись со своими дворянами.

Циник. Увы, рядом с тобой он уже не будет ни в автобусе, ни в очереди; все это в прошлом, друг мой.

Иностранец (*поднимает свой билетик*). Так он действителен? я могу иметь место там?

Хор. Хрен ты можешь иметь! Катись в свою границу! Самим места нет! Размечтался!

Иностранец. Но ведь вы сами приняли решение.

Циник. Сами приняли, сами и отменим.

Простяга. И почему это иностранцам всегда живет лучше, чем нам? Хоть у них, хоть у нас.

Еврей. Хотел бы я быть иностранцем.

Циник. Размечтался. В Африке ты будешь иностранцем. Если доберешься.

Умный. Во-первых, иностранец всегда богат — платит деньгами, а не стриженной бумагой. Во-вторых, иностранец — гражданин, за ним всегда стоит его государство с его законами, правами, правительством и прочим, его так безнаказанно, как нашего, не сожрешь. В-третьих, иностранец — свободен, он воспитан свободным, а наш — воспитан холуем, и принимает или барство, или холуйство. И в-четвертых, он-то

пожил у нас и свалил, а своему жить тут да жить, вот и приходится глотать все то, чем потчуют.

Дама. Боже! что они там в углу делают?.. *(Тычет пальцем в парочку.)*

Рокер. Мы? *(Не прерывая своего занятия):* Мы занимаемся любовью, а что? Никогда не видели? Или хотите присоединиться? Милости просим.

Хор. Какой кошмар! Современные нравы! Ни стыда ни совести. Как животные. И это наша смена.

Рокер *(запыхавшись)*. Легко ли быть молодым.

Девушка. Туда-сюда-обратно, как мило и приятно.

Начитанный. Я хотел бы быть сучочком, чтобы тысячи девчонок...

Веселый. И тут я ее за жопу — и на рояль!

Священник. Увы, — еще Адам и Ева...

Начитанный. Вот за это, кажется, их из рая и выперли?

Мент. Нарушение общественного порядка в общественном месте. Развратные действия с особым цинизмом.

Рокер. Нет, они гиганты. Морить собственный народ химией и радиацией — это не цинизм. Врать всему миру — это не цинизм. Жрать взаперти деликатесы — это не цинизм, когда все голодают. А трахать собственную девушку с ее согласия и для ее же удовольствия — это цинизм. С вами не соскучишься, отцы.

Учительница. Вы не понимаете, что сами лишаете себя великого счастья настоящей, чистой, великой любви.

Девушка. Простите, вы часто занимаетесь онанизмом?

Учительница *(убита)*. Что?!

Девушка. Нет, просто я поинтересовалась, часто ли вы занимаетесь онанизмом.

Учительница. Вы... как... боже... я не понимаю...

Девушка. Отлично понимаете. Наука утверждает, что в вашем возрасте все нормальные женщины при отсутствии сексуального партнера, если они не фригидны, регулярно мастурбируют. А половая неудовле-

творенность является причиной женских неврозов в шестидесяти процентах случаев.

Иностранец. Я бы мог привезти вам электрический массажер. Рекомендую размер семь с половиной дюймов, самый ходовой. С автоматической регулищей.

Веселый. Техника на грани фантастики.

Девушка. Конечно, я предпочла бы отдельную комнату с постелью и ванной, да где ж их взять.

Врачиха. А вы не боитесь СПИДа?

Рокер. Мы ничего не боимся.

Девушка. А теперь-то чего уже бояться? Тем более что у меня уже и так СПИД.

Сердобольный. С ума сойти. Бедные дети.

Циник. Нашла чем пугать покойников. Раньше думать надо было.

Начитанный. Сейчас у каждого третьего СПИД.

Злой (*партбоссу*). А ведь вас предупреждали! Это ведь тоже преступление. Элементарное преступление против собственного народа. Денег у них на шприцы и презервативы не было. Для кого не было, а для кого и было. Вам-то ведь это все не грозило, верно?

Нервный. Боже мой, ну скажите, какое еще преступление, какие еще ошибки должна совершить партия, чтобы уйти от власти?

Серый. Нет, по всей этой публике просто плачет концлагерь. Хоть бы человечка три туда законопатить, обработать, как надо, и сразу бы стало тихо!

Генерал. Теперь всем понятно, почему мы вывели танки на улицы? Потому что все митинговали, и никто не хотел работать! Да еще бы два-три года, и страна развалилась!

Циник. А так она погибла в несокрушимом единстве.

Партбосс. Как вы смеете так говорить! Это элементарная провокация, моральный нигилизм.

Циник. Да-а? Разве Москва не была расселена уже пять лет назад? Разве кто-нибудь еще купается в Черном море? кто-то видел такого самоубийцу? Разве продолжительность жизни не сократилась до сорока

восьми лет? Разве нас не осталось сто девяносто миллионов от двухсот восьмидесяти? И этим ста девяноста жить осталось считанные месяцы, потому что пошла реакция, пошла, кончилась окружающая среда. Где помощь? Где походные госпитали, антидоты, санитарные поезда с герметичными вагонами, отряды гражданской обороны, контейнеры с питанием? Где ваши войска, генерал?

Начитанный. Москва будет называться Старые Васюки.

Веселый. Утро красит черным цветом.

Партбосс. К нам уже спешат на помощь!

Циник. Кому мы нужны? Слишком долго мы всех обманывали. Никому не нужна гигантская помойка с полутрусами, которых сто лет учили лакейству, хамству и доноситељству.

Умный. Факир был пьян, и фокус не удался. Проиграли.

Астматик. Что-то дышать трудно становится.

Деловой. Значит, так. Чтобы не было побоища, давайте сейчас разберемся, кто спускается вниз. Остальным больше воздуха останется.

Женщина. Я могу надеяться... женщины...

Сосед (*прикидывающе*). Детей она рожать уже не сможет...

Умный. Значит, так. Три молодые женщины и два молодых мужчины.

Циник. А зачем второй мужчина?

Веселый. А вдруг у первого не будет получаться?

Учительница. Мы не животные!

Циник. Тонкое наблюдение. Уж они-то бы такого не натворили.

Партбосс. Мы действительно не животные.. И главное — мы должны сохранить и донести наши достижения, открытия...

Злой. Это вы-то — наши достижения? Где тот топор, чтоб вырубить эти достижения с изгаженных страниц истории!..

Старый. Предлагаю нашего милиционерика. Юн, здоров, может порядок поддерживать, опять же.

Партбосс. Должен быть один опытный человек, знающий, обладающий информацией, опытом работы с людьми...

Грубый. Отдыхай, дядя. Ты свое откомандовал.

Активный. Конкурс! Конкурс!

Аккуратный. Каждый может выставить свою кандидатуру и пояснить всем, почему именно себя он считает достойным спасения.

Благородный. Но можно предлагать и других.

Дотошный. И демонстрация, демонстрация — пусть дадут всем разглядеть себя.

Циник. Конкурс красоты на кладбище! Очередной кандидат в человеческие консервы обнажает плоть и лезет на стол: смотрите! завидуйте! я — гражданин Советского Союза!

Лакей. Прекратите глумление.

Девушка. Если он разденется, меня стошнит.

Циник. От кого стошнит, того в рай не пускать. Хватит от них нас здесь тошнило.

Злой. Членов партии не пускать.

Справедливый. Без дискриминации! А может, он не виноват?

Дотошный. И надо заполнить анкеты. Вдруг там были наследственные заболевания.

Милиционер (*раздевается, влезает на стол, показывая себя всем*). Родился двадцатого июня тысяча девятьсот девяносто седьмого года. Русский. Образование среднее. Не болел — ну, только там корь, ангина, грипп.

Врачиха. У него плоскостопие.

Мент. Когда в армию брали, вы же сидели в комиссии! И ничего, сказали, что здоров!

Хор. Давай, слазь! Косолапые нам в будущем не нужны! Долой!

Партбосс (*отводит врачиху в сторону*). Слушайте, вы жить хотите? Здесь в аптечке есть снотворные... и другие препараты... сильнодействующие... вы меня понимаете? Так вот, надо наладить... скажете, что для поддержания сил. Ясно?

Врачиха: Какие гарантии?

Партбосс. Сами же будете разливать и давать! Себе и мне в том числе, так что не перепутайте, ради бога.

Врачиха. А кто еще?

Партбосс. Я, вы, моя секретарша и мой помощник.

Врачиха. А он зачем?

Партбосс. Рабочая сила.

Врачиха. Но ведь там пять мест.

Партбосс. Чем меньше народу, тем дольше продержимся. Ясно?

Врачиха. У меня здесь сестра.

Партбосс. Никаких сестер. Сколько ей лет?

Врачиха. Сорок три.

Партбосс. А вам?

Врачиха. Тридцать шесть.

Партбосс. Послушайте, ни вам, ни ей не светит. Принимаете мое предложение? Вам я место гарантирую. Быстрее, здесь скоро кончится воздух. Согласны?

Врачиха. Хорошо. Где ваша аптечка?

Партбосс. Пойдемте (*ведет ее*).

Серый (*перехватывает ее и отводит в сторону*). Жить хочешь?

Врачиха. Что такое, вы о чем?

Серый. Тихо. Здесь есть аптечка, и в ней весьма полезные препараты, но надо правильно рассчитать...

Мент (*со стола, в слезах*). Товарищи, я давал прищипку, и теперь заверяю, что если мне окажут доверие...

Молодой ветеран со шрамом (*завладевает оставленным автоматом*). Не шевелиться! Всем отойти от двери!

Актер. Хи-хи-хи! Я помню — это из пьесы «Награда для героя». Вы тоже актер, я сразу понял.

Ветеран (*угрожающе водит автоматом*). Подальше от двери, все к стене, ну! Я вам покажу, кому положены льготы, а кому нет! Я кровь проливал, а вы тут еще критику наводили! мокрицы. Скажи-ка, свинья в лампасах, за что я кровь проливал? чтоб ты консервы жрал, когда я зачехлюсь, а? Вот так! Светка, иди к двери! Быстрее! Открывай! сейчас мы там закроемся, и пусть они потом здесь делают, что хотят!

Учительница. Молодой человек, но ведь там пять мест!

Ветеран. Была бы ты помоложе, взял бы и тебя.

Циник. Тебе помощник не нужен лампу держать?

Ветеран. Управлюсь! Когда мы в пустыне подышали под огнем, ты мне в помощники не набивался! Иди гуляй.

Врачиха. А врач?

Ветеран. Врач. Ты врач? Так. Ладно, сойдешь еще. Иди к двери тоже. Ну, что вы там ковыряетесь? Быстрее!

Серый (*незаметно передвигается, оказываясь у него за спиной, достает из подмышки пистолет и аккуратно стреляет ему в затылок*). Чека начеку. Социалистическая законность не дремлет.

Мент (*еще почти голый, поднимает автомат и вдруг упирает ствол серому в бок*). Не двигаться! Брось пистолет! (*отшвыривает пистолет по полу ногой*). Будет так, как все решат, понял! (*Всем, водят автоматом*): осталось четыре места. Идет врач. Значит, осталось три места! От меня двое беременели, так что помощник мне не нужен, ясно? Пойдут ты, ты и ты! Все! Остальным отойти подальше. Стреляю без предупреждения.

Девушка. Я не пойду.

Мент. Почему-у?..

Девушка (*подходит к рокеру, закидывает ему руку за шею*). Потому что ты меня не привлекаешь как мужчина.

Рокер. Понял, легавый?

Мент. Ты хочешь, чтоб она сдохла?

Девушка. Лучше сдохнуть с ним, чем жить с тобой. (*Рокеру.*) Слушай, рвем отсюда. Команда такая дерьмовая, и трахаться я при них не хочу, они все старые и слюни пускают.

Рокер. Ну, у тебя вечно прихваты. Как мы там жить-то будем?

Девушка. А здесь как? Ну так так же, как и раньше, может, не так долго, так какая разница. Покрутилка (*на штурвалы выхода*) эту хреноту.

Рокер (*менту*). Выпусти-ка нас, мусор, мы нынче ничего не нарушали. Больше места в твоей камере останется.

Мент (*пожимая плечами, идет к выходным дверям, открывает*). Пожалеешь, курва.

Учительница. Куда же вы, деточка.

Девушка. Спасибо за счастливое будущее, отцы.

Рокер. Я вас даже не ненавижу. Я вас даже не презираю. Я вас в упор видеть не хочу. Вы все — самая большая дрянь, которая есть на свете. И чего я только не понимаю — зачем, если есть Бог, он вас создал.

Девушка (*тяня его за руку, уходит вместе с ним*). А солнце-то как светит! О, валяются... зато никто вонять не будет. Слушай, бежим в гостиницу, наконец она пустая!

Рокер. В люкс!

Мент (*закрывает двери*). Вот-вот, от таких все грабежи.

Веселый. Коль гибнуть во цвете, уж лучше при свете.

Начитанный. В мир, открытый настезь бешенству ветров.

Циник. Ах, мой конь вороной, белые копыта! уж как вырасту большой, нажарюсь досыта!

Учительница. Нет новости печальнее на свете...

Внимательный (*смотрит на дверь в бункер*). Послушайте, а где наши начальники?..

Все (*вспомнив, смотрят на дверь, которая явственно щелкает внутренним замком*). АА!!! ОО!!! Суки! гады, пустите! откройте! ААА!!!

4. Конец — делу венец творения

Один. Как же это все вышло...

Другой. Как же мы все это угробили...

Третий. Как же они нас всех угробили, накололи, выжали...

Начитанный. Да-да, вечные вопросы: как случилось, что делать и кто виноват.

Злой (*лунит в дверь*). А они там внизу выживут, суки!

Антисоветчик. Достукались, паразиты. Это еще в девятьсот семнадцатом всё и заложили. Говорили им: не узурпируйте власть, не разгоняйте демократическое правительство, не устанавливайте диктатуру, не давите всех несогласных, не убивайте без суда: нет! штыками загоним человечество к счастью! А штыками загнать человечество можно только в братскую могилу! где мы с вами и пребываем ныне, с чем я вас и поздравляю.

Умный. Э, братцы мои, это банально. Ну, были сто лет назад демократии. И устроили эти демократии невиданную дотолем мировую войну. И дети работали, и демонстрации расстреливались, и народ голодал — всё было. А в парламентах болтали благополучные ораторы о демократии. Ну, вот и решили — без болтовни, потому что уже сто лет Европа болтала о свободе, равенстве, счастье, — навести порядок, отдать все рабочим, сделать рай на земле — своей рукой, не через тысячу лет, а сейчас.

Образованный. Стрела Ахримана. Пускаешь в цель — а она возвращается с обратной стороны и поражает тебя самого. Нельзя слишком сильно чего-то добиваться, а то как раз получится обратное. Диалектика. Мягче надо, мягче. Постепенней.

Пессимист. А всё одно народ дерьмо и везде всегда жизнью своей был недоволен.

Один. Что за проклятие такое. Имели шанс при Столыпине — не вышло. При нэпе — не вышло. При Хрущеве — не вышло. При Горбачеве — не вышло.

Циник. Ничего, больше неудач не будет, эта последняя.

Другой. Как же это Колычев свалился на наши головы, а?

Умный. Да элементарно. Все разумные люди это предвидели еще при Горбаче. После акции идет что? — реакция. Пропасть нельзя перепрыгивать как? — в два прыжка. Если народу дать свободу критиковать, митинговать, выражаться, ездить и прочее, а в основах ничего не менять, то раньше или позже начинаются демон-

страции и бунты, да раньше-то молчали, а теперь расхрабрились, и мало им уже, что говорить можно и не сажают за это, а надо им уже, чтоб их слушались и делали по-ихнему. Ну, власть себя и защитила. Еще на первом съезде советов говорили им: не рви влево — выйдет вправо.

Усталый. Да уж и не рвали, а все одно — задавили.

Начитанный. Потому что власть держится на трех китах, всегда, в любом государстве: армия, полиция, дворцовый аппарат. Кто из этих трех был заинтересован в перестройке? никто! Потому что она подрывала мощь власти в государстве и армии, и партаппарата, и КГБ. Ну, они потерпели-потерпели, да и посадили своего.

Один. Но они ж не могли не понимать, чем это кончится!

Другой. Наркоман понимает, а без наркотика не может, организм его такой. Так и они — или гибель страны, но чуть позднее, или гибель их, но сейчас. Нормальный кризис государственной структуры.

Усталый. Эх, ничего не поделаешь.

Злой. Говорили им, говорили, говорили!

Циник. А Васька слушает, да ест. Эпоха швейкизма, эпоха васькизма.

Злой. Сначала — армия: сократить, сделать кадровой, кинуть зарплаты, дать квартиры, увольнение в запас в любой момент, поднять престиж — и такая армия за тебя — в огонь и в воду! Ничего для нее не жалеть, эти траты себя окупят. Для генералов придумать должности — пусть тешатся, это не такие гигантские расходы! И тогда, опираясь на нее — прижать гэбэ: раскрыть, сократить, отобрать права, поставить под контроль, продемонстрировать старые подвалы пыток, сменить всю верхушку, — и оно твое. А уже тогда — власть советам, прижимаем и сокращаем партаппарат, бо армия и гэбэ наши и за нами. И проводить полную переделку системы. А иначе — так, косметический ремонт. А народишко волнуется, а экономика разваливается.

Простяга. Так а что кооперативы-то разогнали?

Умный. А им дать жить свободно — так весь совет министров не нужен будет, они сами по уму все сделают и наладят. Разве ж совет министров мог допустить такое?

Врачиха. Самое большое было преступление — когда запретили медицинские кооперативы. Этим приказом миллионы людей приговаривались к смерти. Подыхай! плевать на тебя.

Урод. Тю! тут треть Белоруссии вымерла, и ничего, зато план давали по зараженному мясу, и все его ели. У меня тогда сосед семь лет получил за то, что дозиметром мерил и всем говорил. Дискредитация! — получите наши пять лет, на урановых рудниках и сгнил.

Простяга. Так зачем им уран, уже ведь станции атомные все не работают?

Скелет. Работать не работают, а излучать излучают. Кто их хоронить-то будет по уму?

Циник. Их хоронить. Кто нас-то хоронить будет?

Злой. Нас уже похоронили, можешь считать. А эти сволочи (пинает дверь бункера) опять выкрутились.

Работяга. Да успокойся, ниоткуда они не выкрутились.

Злой. Как это?

Работяга. Да я ж говорил, что я это сам и строил.

Злой. Ну и что?

Работяга. Ну и то. У них там в самом лучшем случае через полгода электростанция откажет.

Злой. Проживут.

Работяга. Не проживут. Ты что думаешь, что контейнеры с продуктами были стерилизованы, что ли? Да там же как везде, давай-давай, там, может, если один ящик из десяти годный, так и ладно.

Злой. Все равно много.

Работяга. Ну ты просто... Там что думаешь, кислород? Ага. Мы на станцию поехали выгружать, открываем вагон, а там баллоны — с углекислотой для автоматов воды, понял? Ну, что делать? А старшина наш говорит: давай, закрашивай это все на хрен, и

пиши — кислород. Ну и что — закрасили, написали. Там и в накладной было — кислород. А там — углекислота, понял? Так что... Ха-ха-ха!.. не, а он говорит: закрасивай, говорит, на хрен, пиши — кислород, пускай, говорит, дышат сколько влезет, жаловаться, говорит, будет уже некому.

Все (*ошеломленно*). Так что?.. там?.. Без воздуха?.. И не выжить?

Работяга. А вы что думали, я так и стану свой пропуск в рай отдавать, что ли? Я-то знал, что там. Вот пусть теперь подышут, а то один, значит, строй, а другие, значит, спасайся.

Один. А сколько переживали-то...

Другой. Не надо суетиться перед смертью...

Третий. Ах ты, Господи... как крысы под землей... а туда уж, наверное, и вовсе выйти невозможно...

Священник. Господи, настал ли День, о котором Ты говорил...

Циник. Экая дурацкая история...

Астматик (*задыхаясь, в страхе*). Жить хочется... жить... жить!..

Начитанный. Но какой же все это тогда имело смысл?.. Зачем?..

Умный. Всё, что имеет начало, имеет конец. Даже история. Даже мы.

Богатый. Ведь любые бы деньги отдал, всё отдал, ну... в монастырь ушел бы!

Пьяный (*стучит кулаками*). Выпить хоть дайте! гады! выпить дайте! выпить!

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗБИВАТЕЛЬ СЕРДЕЦ

МИМОХОДОМ

Паук	5
Легионер	7
Эхо	10
Разные судьбы	15
Идиллия	19
Думы	21
Мимоходом	25
Котлетка	28
Святой из десанта	33
Апельсины	35
Не думаю о ней	38
Нас горю не состарить	42

ИСПЫТАТЕЛИ СЧАСТЬЯ

Правила всемогущества	51
Испытатели счастья	78
Разбиватель сердец	111
Шаман	123
Карьера в никуда	148

БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА

История рассказа	199
Бермудские острова	219
Возвращение	225
Миг	232
Ни о чем	235
Свистульки	238
Цитаты	242
Старый мотив	253
Зануда	256
Муки творчества	258
Ворожея	260
Ничего смешного	264
Кто есть кто?	267
Нам некогда	269
Сестрам по серьгам	271
Кентавр	273

ПАМЯТНИК ДАНТЕСУ

Памятник Дантесу	281
Казак-атаман	316
Мы не поедем на озеро Иштуголь	331
Тест	341
Нежелательный вариант	348

ISBN 5-94966-008-0



Литературно-художественное издание

Веллер Михаил
Разбиватель сердец
Сборник рассказов

Верстка
А.Р. Вальского

Компьютерный дизайн:
С.В. Шумилин

Корректор
Н.В. Фатеева

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Издательство «Фолно»
141300, Московская обл.,
г. Сергиев Посад

При участии ООО «Харвест».
Лицензия ЛВ № 32 от 27.02.2002.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман,
д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие
«Полиграфический комбинат имени Я. Коласа».
220600, Минск, ул. Красная, 23.

«Ты не хотел заходить далеко?
Ушедшие за любовь – не возвращаются».

Этельред